

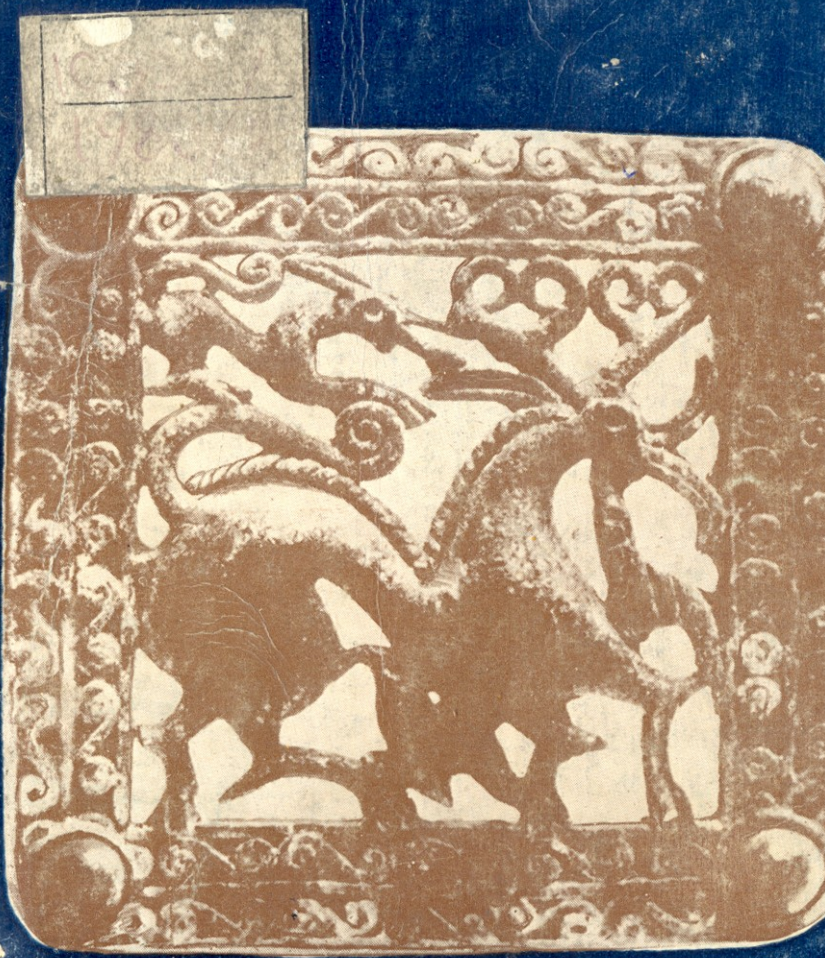
ISSN 05130-36

საქართველოს
ლიტერატურა

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1980

2



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. «Свидетельствует вещей знак...»	3
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. «...Облик Грузии любимой»	9
Н. ТИХОНОВ, П. АНТОКОЛЬСКИЙ, К. СИМОНОВ, Б. ПАСТЕРНАК. Письма грузинским друзьям	15
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ	41
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ	42
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ	45
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ	47
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ	51
АЛЕКСАНДР КУШНЕР	55
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ	58
ЭММАУИЛ ФЕЙГИН. Девяносто. девять вопросительных знаков. Новые рассказы	60
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Архивные заметки к поэме «Андрей Полисадов»	74
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ	77
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ 80, 81, 83, 88,	92
ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ	81
БОРИС РЕЗНИКОВ	82
ЯН ГОЛЬЦМАН	86
ЕКАТЕРИНА КВИТНИЦКАЯ	89
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ	94
МАРИНА КУДИМОВА	96
ВИКТОР ШИРОКОВ	98
НАТАЛЬЯ ГЕНИНА	101
ПАВЕЛ НЕРЛЕР	102
АЛЕКСАНДРА ИСТОГИНА. «Вначале было слово...»	104

2

1980

ГЛАН ОНАНЯН	107
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА	111
ГЕОРГИЙ ЛОРИЯ	113
ВЕРА КОСТЫЛЕВА	115
ИННА КОМОВА	118
АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ	119
ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН	120
ВЛАДИМИР ТЕРЕЛАДЗЕ	121
ПАОЛА УРУШАДЗЕ	122
СТАНИСЛАВ ЛАКОБА. Ночь и глаза дождя	123
А. ШЕКИН-КРОВОТА. Художник Роберт Фальк (к выставке в Тбилиси)	129
С. КРАСИЛЬЩИК «...Что пишут мои грузины?»	135
НИКОЛАЙ ВИРТА. Я летал вместе с ним бомбить Кенигсберг	137

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО-ДЕСНЯК. Человек на берегу уходящего моря	140
ЛАДА ФЕДОРОВСКАЯ. «Жить — это устоять»	154

СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ — 59 ЛЕТ

ИГОРЬ ЛЕЙБЕРОВ. Легендарный дядя и его племянник	165
--	-----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ОЛЕСЬ СИНИЧЕНКО. Летописец героических свершений	177
--	-----

НАУКА

ЮРИЙ ЗЫЦАРЬ. Введение в баскскую современность	192
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

НОДАР ПОРАКИШВИЛИ. Периодическая печать Грузии в русском литературном процессе во второй половине XIX века	217
ХРОНИКА	222

«СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЕЩЬ ЗНАК...»

648.411

Время, истекшее после публикации последней нашей традиционной подборки, вписало в летопись грузинско-русского духовного содружества не только радостные, но и горестные страницы. Достаточно назвать тяжелые потери, которые понесла советская литература со смертью Николая Тихонова, Павла Антокольского, Константина Симонова... И так уж получилось, что «лебединой песней» Николая Семеновича Тихонова оказался двухтомник его сочинений, посвященных Грузии — стихов, переводов, прозы, статей. А одним из последних литературно-общественных свершений Константина Михайловича Симонова было издание — у нас же в «Мерани» — составленного им сборника «Если пелось про это» — замечательного свода посвященных Грузии произведений русских советских поэтов. Ведь именно как ответный отклик на эту книгу готовится ныне русское издание грузинских стихов, запечатлевших образ России. И до сих пор живы в нашей памяти Дни советской литературы в Грузии, участие в которых Константина Симонова было таким деятельным и плодотворным. И еще. Одной из последних радостей Павла Григорьевича Антокольского было издание в Тбилиси монографии И. Богомолова о нем — о «грузинских страницах» его литературной биографии.

Естественно поэтому, что новые свидетельства «Вещего знака» открывают материалы, непосредственно связанные с именами Тихонова, Антокольского, Симонова, — выступления, письма, адресованные грузинским дру-

зьям. В этот же ряд становятся публикуемые нами письма Бориса Пастернака, 90-летие которого отмечается в нашей стране и к которому приурочена и наша публикация, являющаяся своего рода продолжением или дополнением к той переписке, которая еще в 1966 году была опубликована нами на страницах «Вопросов литературы» и «Литературной Грузии».

Письма Б. Пастернака не требуют особых комментариев. В большинстве случаев они дополняют или продолжают мотивы уже знакомой нашим читателям переписки поэта со своими грузинскими друзьями. Исключения составляют письма, адресованные Ладо Гудиашвили и членам его семьи. С семьей Гудиашвили Бориса Пастернака связывала давняя дружба. Еще в 30-х годах Ладо Гудиашвили прекрасно оформил первую книгу его переводов из грузинской поэзии. Но особо тесными стали их дружеские связи в конце 50-х годов, во время последнего гостения Бориса Пастернака в Грузии. Можно с уверенностью сказать, что в непростой, драматически напряженной жизни большого русского поэта общение с Ладо и Нино Гудиашвили и их дочерью Чукуртмой было одним из самых светлых озарений.

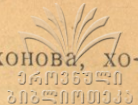
Своего рода «воспоминательную» тему в нашей подборке заключают стихи П. Нерлера, посвященные Александру Цыбулевскому, и обещанная ранее читателю рецензия А. Истогиной на последнюю его прижизненную книгу — «Владелец шарманки». Здесь же следует отметить статью о выдающемся советском художнике Роберте Фальке, работы которого недавно экспонировались в Музее искусств Грузии благодаря вдохновенным усилиям сотрудницы музея Лии Долаберидзе и, конечно же, вдовы художника А. Щекин-Кротовой (она же автор предлагаемой заметки) с благословения и помощью директора музея Т. Саникидзе. Читатель «Вещего знака» знаком с перепиской сухумской художницы В. Бубновой с А. Твардовским. В отличном очерке С. Лакобы дан ее выразительный портрет.

Страничка воспоминаний Николая Вирты о Викторе Гольцеве предварена заметкой автора этой публикации С. Красильщика. Проза представлена в подборке циклом рассказов Эммануила Фейгина. Это проза мастера. Но подчеркнуть хочется иное: нравственное напряжение рассказов, где в самых разных обстоятельствах — от

крымского фронта до цирковой арены, от горного пастбища до чиновничьего кабинета, от учительской до писательского стола писателя — раскрываются тайники человеческой души, ее сокровенные ценности, нанизываясь в этой новеллистической цепочке на ниточку мысли, вынесенной автором в эпиграф цикла: «Все дал этому человеку бог, а совесть велел приобрести в земной своей, обыденной жизни».

Поэзия. Когда настанет пора переиздать упомянутую выше симоновскую антологию «Если пелось про это» и когда она, естественно, будет расширена и дополнена новым поэтическим материалом, то и в нашей подборке найдутся еще для нее прекрасные русские стихи, посвященные Грузии. Якову Хелемскому и Елене Николаевской, Андрею Вознесенскому и Юрию Ряшенцеву, Александру Кушнеру и Владимиру Леоновичу, Марине Кудимовой и Илье Дадашидзе, Виктору Широкову и Наталье Гениной, так же как некоторым другим поэтическим «гостям» нашего номера — каждому из них по-своему — «поется про это». И здесь не только ни одной неверно взятой ноты — нет даже вполне объяснимой инерции или, хотя бы, невольного стереотипа в воплощении этой темы. Со стихами о Грузии тесно переплетены в подборке и иные мотивы — тут нас вновь радуют любимые голоса Арсения Тарковского, Владимира Соколова и Олега Чухонцева. Читатель «Литературной Грузии» уже знаком с опытами тбилисцев Глана Онаняна и Веры Костылевой. В нашей подборке — их новые стихи. Посмертным приветом доносятся к нам взволнованные строфы Павла Григорьевича Антокольского. И мысленно адресуясь к образу героини этого восхищенно-влюбленного обращения, мы невольно повторяем строки из него — вослед перегнавшему нас вещему голосу автора — «наверно, в юности моей ты в нашу гавань, в шторме яростном, причалила из-за морей и просияла белым парусом...» А вот один из стихотворных разделов нашей подборки, в котором представлены поэты, принявшие деятельное участие в готовящемся к юбилею Георгия Леонидзе новом русском издании его стихов, — Юрий Ряшенцев, Илья Дадашидзе, Борис Резников, Ян Гольцман, Екатерина Квитницкая. Подборки их стихов включают также и по одному переводу из Георгия Леонидзе. И

вновь, по следам Николая Семеновича Тихонова, хочется повторять немеркнущие его строки:



Грузино-русских слов отряды
В примерном встретились бою...

Мы уверены, читателя обрадуют стихи Тарковского, Чухонцева, Соколова, сказавших и на этот раз то, что им хотелось сказать. А их взгляд на жизнь, на ее течение и изгибы нас никогда не оставлял равнодушными. Андрей Вознесенский, недавно блеснувший в «Новом мире» новой своей поэмой «Полисадов», предлагает читателям «Литературной Грузии» своеобразное прозаическое (хотя и вполне поэтичное) послесловие к поэме, в котором поведана история ее создания. Вот он опять побывал у нас в Грузии — и для архивных поисков сведений о своем далеком грузинском предке, которому и посвящена поэма, и для подготовки издающегося в Тбилиси сборника, организующим ядром которого будут стихи, связанные с Грузией, и переводы из грузинской поэзии. Профиль этой книги, однако, значительно шире, но она, по удачному выражению самого Андрея Вознесенского, задумана, как своего рода творческий отчет поэта перед грузинским читателем. Это книга «не о, а для Грузии».

Удивительную свежесть воскресила в своих стихах Елена Николаевская — столь свойственную более ранней ее лирике. Ни с кем не спутаешь ее голоса, ее интонации, ее ритмического, почти заклинательного, напора. У Юрия Ряшенцева как бы открылось второе дыхание — такая свобода и раскрепощенность появились в его стихах в сочетании со зрелостью мысли и точностью ощущений. А Александр Кушнер, как истинный ленинградец, не бросается, раскрыв объятия, к понравившемуся ему новому знакомцу, но дружески подает ему руку, даже чуть иронизируя над своей слабостью, внимательно, но деликатно вглядывается в него, и лишь в каких-то обертонах его речи ловим мы пробудившийся в нем интерес, тягу, увлеченность. И он не забывает, что у него были предшественники, что это тоже к чему-то обязывает. А поэтическая стенограмма всех этих движений души обернулась у него прекрасными стихами, которые восхищают все больше и больше — по мере их перечитывания. Пленительно-искрометную, волнуемую грустноватым юмором форму лирического монолога нашел на этот раз

Владимир Леонович своим постоянным и настойчивым раздумьям о поэтическом переводе как об акте творческого преобразования, а не копировальной прыти толмача. К этой же теме с иного края подступает и Марина Кудимова, заглянув даже через край — представив себе заветный город и его жизнь подстрочником, постижение и воспроизведение коего в своей душе требует не меньшего душевного напряжения, чем любое творческое свершение. А на помощь этим ее усилиям приходят такие подспудные силы русской речи, такие мышцы играют на ее поэтической «деснице» и «шуге», что остается перекреститься — с благодарностью и «испугом» одновременно. И с каким чувством облегчения окунаешься после этого штормового вихря в освежающую стихию поэмы Екатерины Квитницкой, где даже весьма серьезные чувства и перипетии драмы переданы с природным артистизмом своего рода русской комедии дель-арте. И опять — стоп. Опять другая музыка. Ян Гольцман. Раздумья и наблюдения в полном уединении, наедине с природой — озером, лесом и их обитателями. Внутренний монолог склонного к отшельничеству человека. Но когда этот человек — поэт, то и отшельничество приобретает иной смысл и назначение, оно само становится благородным средством общения, сообщения, человеческой общности... Исконная ностальгическая нота звучит в чистых и ясных по рисунку строчках пейзажной миниатюры Бориса Резникова, давно разлученного с родным Тбилиси годами и расстоянием, что не помешало ему недавно прекрасно перевести и одну из лучших поэм Отара Чиладзе «Световой год», и его роман — «Каждому, нашедшему меня».

А вот и новые для читателей «Литературной Грузии» имена. Среди них поэтесса Нина Владимировна Комова — ей далеко за восемьдесят. В свое время она работала в Лито Наркомпроса, была знакома с Н. Крупской, А. Луначарским, В. Брюсовым. Пишет она всю жизнь, но никогда и нигде не предлагала что-либо в печать. Главный труд ее жизни — поэтическая хроника «Шмелевы», где прослежена история одной семьи, одного рода от фольклорно-легендарных времен — через Ивана Грозного, петровские, екатерининские и последующие эпохи — до времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Рукопись ныне дорабатывается с тем, чтобы быть предложенной к изданию. Это очень яркое и сильное

произведение. Но мы предлагаем читателю отрывок из другой вещи Н. Комовой — может быть, и не такой художественной силы, но и он вполне имеет право на внимание читателя, а главное, послужит бодрящим стимулом и добрым предзнаменованием для автора, проявившего столь редкое долготерпение.

Очень молод Георгий Лория. И судьба у него — «молодая». Отец его в 1955 году из Сухуми по комсомольской путевке поехал на целину, строил железнодорожные пути в Актюбинской области. Через два года в Актюбинске же родился Жора Лория, окончил там среднюю школу, потом филфак пединститута и работает ныне в родном городе корреспондентом областной газеты. В Тбилиси приехал в 1978 году по приглашению Грузтелерадио для участия в передаче, посвященной четвертьвековому юбилею освоения целины. Тут-то и обратила внимание на способного юношу заливтвещанием телевидения Марика Бакрадзе, рекомендовавшая нам его стихи. За короткое время Георгий Лория уже стал частым и влюбленным гостем Грузии. Стихи его подкупают юношеской непосредственностью и свободой, легкостью поэтического душеизлияния. О большем пока рано судить.

Особую группу составили в нашей подборке стихи Александра Леонтьева, Леонида Замятнина и Паолы Урушадзе. Ученый-физик, альпинист-инструктор, филолог-преподаватель. В большинстве из перечисленных случаев мы видим, как первая, основная профессия не только не мешает поэтическому изъяснению, но как бы сама вызывает потребность в нем, направляет перо пишущего и питает стихи незаменимой «пищей» жизненной конкретности. Так Леонид Замятнин и в стихах остается мужественным альпинистом, а Паола Урушадзе — тонко чувствующей читательницей и знатоком хороших книг, что не мешает ей подмечать и помнить мелочи быта. Лишь крупный ученый А. Леонтьев находит в поэзии своего рода отдохновение и своего рода отвлечение от известной истины о первичности материи и вторичности духа. На путь вящей профессионализации вступил Владимир Тереладзе, за короткий срок сделавший скачок от любительских опытов к довольно слаженному стихотворству, но главное, конечно, в нем — живой и трепетный поэтический порыв, благодаря которому и нашли его стихи прибежище под сенью Вещего Знака.



«...ОБЛИК ГРУЗИИ ЛЮБИМОЙ»

(Из выступления по тбилисскому радио 16 мая 1972 года)

— Сегодня мы находимся в преддверии большого исторического события. Это юбилей — 50-летие создания Советского Союза. Это праздник братства народов, это триумф Великой Октябрьской революции. В эти дни все республики и все края нашей Родины невольно подытоживают пройденный путь, свои большие достижения, и, конечно, всюду одним из основных впечатлений является картина грандиозных перемен, которые произошли в самых отдаленных местах Советского Союза.

Вот если отнести это к Грузии, то я бы сказал так, что я давным-давно — действительно, чуть ли не пятьдесят лет прошло с той поры — познакомился впервые с этой удивительной, чудесной, сказочной страной. Но я ходил тропами, понимаете! И конечно, тогда еще многое было непривычно, оригинально, особенно для взгляда человека, пришедшего с севера и впервые видящего этот край. Но с другой стороны, это мало что пока говорило о новых больших переменах и завоеваниях.

Например, в двадцать четвертом году я присутствовал при таком, большом тогда созидательном процессе, когда вставала плотина ЗАГЭСа, и она являла сама по себе зрелище, приковывающее внимание. То, что там над всем этим стоял Ленин, действительно, как-то очень гармонировало с тем трудовым процессом, который объединял всех людей, живших на территории Грузии. Мне как поэту и писателю, ищущему такие особенности, бросилась в глаза одна чисто литературная деталь. Я удивился, что там работают молодые люди в каких-то черных одеждах, которые уже порвались о камни. Но что это такое? Мне сказали, что это мцыри — ушедшие из монастырей молодые послушники, которые бросили свой быт и включились в этот созидательный процесс. Вы сами понимаете, какая была у меня удивительная ассоциация, потому что над всем этим возвышалась гора, значит, именно здесь стоял еще Мцыри лермонтовский! И вот это соприкосновение времен и их, так сказать, другая окраска просто поражали, потому что с одной стороны вставал в памяти тот Мцыри, который искал свободы, боролся с барсом в этих диких лесах и вдруг сегодня этот мцыри — строитель социалистического общества! Понимаете?

И это все было живо и впечатляло. Но, конечно, не было еще того большого размаха, тех гигантских возможностей, ко-

торые мы видим сегодня. Вот стоит бросить взгляд на современную Советскую Грузию, чтобы перед вами предстала большая пестрая толпа героев нашего времени, характеры заново рожденные, богатая событиями и явлениями жизнь наших дней. Это и металлурги Рустави, и шахтеры Ткибули и Чиатура, и ферросплавных дел мастера в Зестафони, и строители машин в Кутаиси, и создатели плотин — таких, как ИнгуриГЭС.

Наконец, жизнь такого центра страны, как Тбилиси, города современного и передового, предстает перед нами как неизведанный край возможностей для новых тем и сюжетов. Современный грузинский человек — хозяин всех природных богатств, окружающих его. Он коммунист, понимающий свою интернациональную ответственность. Он патриот, сохраняющий все доблестные традиции прошлого. Он романтик, остро чувствующий современность. Он добавил к своему национальному характеру все лучшее, что дала великая борьба за свободу и независимость и борьба за Советскую Социалистическую Грузию. Он может сегодня производить многое, вплоть до электронно-вычислительных машин и самых сложных станков; он же усовершенствовал такие древние культуры, как культура виноградарства, плодородства, сельского хозяйства. Неутомимый труд грузинского крестьянина преобразил и деревню так же, как трудящиеся города изменили весь вид и быт городов. А сохранив воинственную славу гордых предков, грузины приумножили ее, показав свое мужество и бесстрашие, защищая достижения Октября, сражаясь с нашествием варваров-фашистов на Советский Союз. И разве не ярким символом боевого братства всех народов Советского Союза был завершающий подвиг последних дней войны, когда советские витязи Михаил Егоров и Мелитон Кантария в ночь на 1 мая 45-го года водрузили знамя победы над зданием рейхстага в Берлине! Но вместе с боевой славой умножалась и слава коммунистического труда, сделавшего республику передовой и готовой продолжать дальнейший рост производства и культурной жизни Грузии. Мы не можем не отметить, что она является и родиной выдающихся героев и деятелей-революционеров, чей неоценимый вклад в революционную борьбу народов Страны Советов и в историю человечества незабываем. Славные имена борцов за лучшее будущее человечества всегда будут жить в сердце освобожденных народов. Многие уже стало достоянием истории, и перед нами жизнь и деяния современника, того, который ведет электропозы, катера на подводных крыльях, работает на башенных кранах, усовершенствует чаесборочные машины, наблюдает за движением светил, растит хлеб, делает вино, производит цитрусы — вот таким образом мы присутствуем сегодня при том преобразении, о котором написано уже много и в стихах, и в прозе, и изображено на сцене, в кино и так далее.

И вот почему сегодня наша благодарная, как говорится, память, наше сердце полно приветом этим мастерам-труженикам, создавшим и созидующим новую Грузию.

А вот теперь я могу прочесть и стихи, не так ли?

Весь облик Грузии любимой,
Он стал другим в сознание жить,

И тучи мчатся мимо, мимо,
Чтоб небо жизни не затмить.

Легли широкие дороги
Там, где тропа меня вела,
И среди дней счастливых многих
Моей попутчицей была.

Я счастлив был над речкой бурной
Увидеть после гроз ночных
Небес грузинских блеск лазурный
На листьях в каплях дождевых.

Где домики, подобно сотам,
Лепились дружно по горе,
Я рад был людям и высотам,
Пылавшим в снежном серебре.

Прохладе векового леса
И вихрю пляски огневой,
И первым выступам ЗАГЭСа,
При мне встававшим над Курой.

Я видел стены в древней славе,
Грузинской новой славы дни:
И цехи первые Рустави,
Тбилиси новые огни.

Твои дела, твое величье
Высоких, знаменосных дней,
Где самый воздух был насыщен
Огнем поэзии твоей.

Незабываемой весною,
В полях идущей под Москвой,
Он вновь горит передо мною,
Весь обновленный облик твой!

А теперь несколько слов о недавно изданной антологии. Я считаю, что издание антологии грузинской советской поэзии — это большое, выдающееся событие. Оно тем более имеет особое значение, что в этом году мы празднуем 50-летие образования Советского Союза, и все народы нашей Родины так или иначе во всех областях показывают свои достижения. И вот здесь богатство поэзии, отражающей новый расцвет грузинской культуры.

Замечательно, что в этой антологии представлены все поколения. От старейших поэтов, которые являются классиками, и до поколения, которому, скажем, тридцать лет. Иначе говоря, эстафета времени громадного охвата, она показывает и многообразие тематики, которая охвачена поэтами, и новые лирические направления, новое развитие стиха. И, кроме того, видно родство с поэзией других народов, их дружеская переключка. Эти стихи, прежде всего, пронизаны советским гуманизмом. Во-вторых, тут очень хорошо отражено и боевое сотрудничество

во, то есть участие поэтов военного поколения в нашей победе над фашизмом. И, кроме того, тема интернационализма здесь звучит во весь голос.

Все это, вместе взятое, говорит о большой проделанной работе (собрать в такой антологии стихи за полвека и отобрать лучшие — дело не простое), показывает громадные достижения грузинской поэзии даже на фоне поэзии всесоюзной.

Мы знаем, что Грузия — издавна страна поэтов и что наследие, которое получили поэты советского времени от своих предшественников, не разменено, а приумножено, потому что оно приобрело глубину нового времени, приобрело характер особенный, свойственный всем революционным событиям и росту человека нового социалистического общества.

Кроме того, здесь очень хорошо отражен, я бы сказал, именно грузинский момент, потому что эта поэзия сохраняет, несмотря на то, что она в антологии представлена по-русски, все качества грузинской поэзии. А количество выдающихся поэтов так велико, что доставляет любителям поэзии особую радость. В одной книге сосредоточено такое поэтическое богатство!

Но, кроме того, я бы сказал вот еще о чем. Ведь это все звучит здесь по-русски, хотя, конечно, грузинский оригинал не потерял своих главных качеств, перевод донес до широкого читателя, всеобщего, особенности грузинской поэзии, ее звучание, ее тематику, одним словом, все, чем, так сказать, жила эта поэзия за последние полвека!

И русские поэты, они тоже, собственно говоря, трудились, старались эти полвека. Когда-то давно потому и пошло так быстро это дело, что русские поэты, при знакомстве с грузинской советской поэзией, были сразу поражены и увлечены этим замечательным явлением. Я и себя не исключаю из их числа; мы тогда с Борисом Пастернаком начали, может быть, первыми вот такое, до этого невиданное дело. Мы не могли не делать этого, и мы работали, так сказать, в четыре руки, работали для того, чтобы дать хотя бы первое представление об этой поэзии. Этот труд себя действительно оправдал. И когда состоялся вечер наших переводов в 1934 году, перед первым съездом писателей, то этот вечер, вечер этих переводов, произвел очень большое впечатление на всех собравшихся, а собравшиеся были поэтами со всех концов Советского Союза. Они не ожидали в такой собранности, в такой концентрации встретиться с незнакомой до этого поэзией. Мы очень старались сохранить дух оригинала и вложили в это дело свою любовь, и знание страны, и народа, и свое уважение, и свое какое-то, я бы даже сказал, желание во что бы то ни стало пробиться к этому новому поэтическому громадному истоку. И нам кое-что удалось. Тогда вышла книга наших переводов в Тбилиси. После этого, к нашей радости, в эту работу, включились очень многие поэты.

Со временем все более и более расширялся круг переводчиков, и вот эта книга свидетельствует уже о многом. Если вы возьмете ее оглавление и посмотрите, кто кого переводил, то увидите, что здесь далеко не исчерпаны все переводы, а только избраны из существующих, так сказать, лучшие.

И вот эта самая большая работа, которая продолжает сегодня, к нашему удовольствию, расширяться, не только сви-

детельствует о достижениях современной грузинской поэзии, но она говорит и о взаимообогащении, потому что, конечно, все мы, которые участвовали в этой работе и так знакомимся с поэтами, и с их биографией, и с их творчеством, и с жизнью народа, и с жизнью республики, это все вместе, конечно, нас взаимно обогащало. Таким образом, мы тоже получали от этого богатства известное удовольствие и радость и именно обогащались, потому что мы писали стихи о Грузии. Почти все, кто участвует в этой антологии, русские поэты; если взять их творчество, мы увидим, что они почти все писали о Грузии — целые книги или отдельные циклы, или отдельные стихотворения, невольно перенося даже темы, которые были, так сказать, сердечными темами грузинских поэтов, в свое собственное поэтическое творчество, в свою собственную поэтическую жизнь.

И вот перед нами стихи, которые подошли уже к сегодняшнему дню, и мы видим все изменения, которые происходили в жизни народа, и изменения, которые происходили в характере современного человека, потому что этот характер тоже менялся. Если вы возьмете начало этой истории, первые годы Советской власти, это будет ощущение революционного порыва, революционных взлетов, а теперь это уже уверенная поступь строителей социалистического общества. Здесь уже поэты выступают как современные люди, обогащенные всем богатством эпохи, как участники всех ее исторических событий, вплоть до боевого сотрудничества, которое скрепляет уже кровью этот союз поэтов.

Все это вы можете найти в большой и такой продуманной антологии, которая издана очень кстати, сегодня, потому что предстала перед широким читателем в год 50-летия образования СССР, а прошлый год — это был год 50-летия образования Грузинской Советской Социалистической Республики! В данном случае эта большая книга подытоживает путь развития современной грузинской, а значит, советской поэзии и, я бы сказал, блестяще открывает новые перспективы для ее развития.

А теперь я прочитаю из этой антологии несколько своих переводов. Я прочту стихотворение известнейшего и замечательного нашего друга и поэта Георгия Леонидзе. Я прочту его стихотворение «Поэту».

Лишь тебе это скажет страна твоя:
Ты пустой мечтой дни растягивал,
Звал ли пляски рог — ты плясать не мог,
Шел ли песни вал — не подтягивал.

Твое время есть повесть юности.
Что ж твой стих умолк, словно раненый?
Стих и юность — их разделить нельзя,
Их одним чеканом чеканили.

Если ж сердце в песке схоронил сполна,
Вся трава стиха в нем задохнется.
Есть примета одна: это юность — она,
Как надетый шлем, не шелохнется.

Мы прекраснейшим только то зовем,
Что созревшей силой отмечено:
Виноград стеной иль река весной,
Или нив налив, или женщина.



Все, что дышит сейчас на путях земли,
Все, что жизни живой присуще:
Облаков ли мыс, человек и лист —
Ждут улыбки стихов цветущей.

И в стихи твои просится рев, грозя, —
Десять тысяч рек в ожидании.
Стих и юность — их разделить нельзя,
Их одним чеканом чеканили.

Должен сказать, что одной из забот переводчиков служило, конечно, внимание к каждому поэту, внимание к его особенностям. Так, чтобы можно было читать или на русском языке отличать характерные особенности голоса, языка поэтов, чтобы это не было, так сказать, уравнение грузинского стиха, чтобы, наоборот, отдельные поэты своими личными качествами предстали перед читателем. В стихах Симона Чиковани, естественно, другой голос, не похожий на голос Леонидзе. Я прочту его стихотворение «Кто сказал».

Кто сказал, что будто бы мала
Моя отчизна, Картли дорогая,
Что словно малый диск она легла?
Кто выдумал: мала земля родная?
А ну, поставь-ка скалы сверху скал
В их серебре, в туманной пене,
Орлиных крыльев шелест у виска
Послушай-ка и трубный крик оленей,
И крепостей на всех вершинах мощь
Измерь-ка мастера глазами,
Все собери ты краски наших роц.
Их в тьме времен уже сиявший пламень.
Измерь-ка крылья ураганов гор,
Ущельями зажатых и ревущих,
Измерь-ка рек клокочущий костер,
Льда купола, вонзившиеся в тучи.
Рукою, что в бою закалена,
Коснись ворот Дербентских, взятых в сече,
Тогда откроется она —
Моей отчизны бесконечность!
Кто сказал, что будто бы мала
Моя отчизна, Картли дорогая,
Что словно малый диск она легла?
Кто выдумал: мала земля родная?

ПИСЬМА ГРУЗИНСКИМ ДРУЗЬЯМ



Николай
Тихонов



11 февраля 1951 г.

С. и М. Чиковани

Дорогие друзья, Симон и Маринчка.

Давно, давно мы не виделись. А времена идут так быстро, что не успеваешь следить за полетом дней.

Прошлый год выдался у меня «на колесах». Как начался с января, когда мы путешествовали по Польше, так и продолжался уже «на крыльях» и кончился 2 Всемирным Конгрессом.

Тем не менее я успел соскучиться и по милому Тбилиси и по милым друзьям.

Теперь на меня навалилась такая груда дел, что я не знаю, когда я из-под нее выберусь.

То Комитет по Гос. премиям, где я проводил дни с утра до вечера, то особый доклад по срочному вопросу дела мира, то всякие другие союзные дела.

Сейчас еду к избирателям в Минеральные Воды. Хоть Северный Кавказ, но Кавказ.

Рад был услышать результат по литературе, где можно, я думаю, поздравить и нашего Ило Мосашвили, и Белиашвили,

—
Публикация Г. Маргвелашвили.

и Григола Абашидзе. Как будет дальше, не знаю, но вероятно тут уже ничего не изменится.

Ждали Симона нашего дорогого в Москве, как члена секретариата, в январе, но он не появился. Теперь будем ждать дальше. Как с юбилеем республики?

Думаю этим летом все-таки добраться до Грузии — Рондели снимает горный фильм, как никак. Впервые в советском кино на экране будут грузины-альпинисты и всякие сказочные красавцы и красавицы, вроде Ушбы и Тетнулда, Шхелды и т. д...

...Как, Мариичка, дорогая, протекает тбилисская жизнь? Ужасно скучаю по этому чудесному лабиринту. Прочел у Белиашвили о старом Тбилиси, и еще больше потянуло.

Обнимаю Вас обоих и Мария Константиновна тоже.

Желаю вашему дому благополучия и счастья.

Очень хочу видеть Вас у себя в Москве и Вас у Вас дома — в Тбилиси.

Привет сердечный всем друзьям,

В дым заработавшийся

Ваш неизменный Николай Тихонов.

Черкните строчку-две о себе.

18 октября 1956 г.

Дорогой Симон, милая Мариичка!

Приветствую Вас и все наши тоже. У нас хорошая осень. Тихо. Тепло. Очень жалею, что не могу с Вами вместе съездить к нашему дорогому Ликанскому отшельнику, Жан Жаку Бажану. Свое уединение он разделяет, надеюсь, со своими новыми вдохновеньями. Я часто тоже вспоминаю наше путешествие по Украине и чудесные киевские дни, где мы так по-человечески, по-доброму проводили время.

Спасибо, что мои рассказы устроены и хорошо переведены. Передай, пожалуйста, мою глубокую признательность Р. Джапаридзе. Таким образом они увидят свет впервые на грузинском языке в Тбилиси. Я буду этим гордиться как начинающий автор. Посылаю тебе переводы Важа Пшавела, как ты просил, но они в чем-то правильны, в чем-то... им, словом, чего-то недостает. Посмотри сам.

Ты обещал приехать в октябре в Москву? Как на сегодня твои планы? Я сижу на даче и совсем, совсем кончаю давно начатую книгу о Востоке. Осталось только предисловие. На этой неделе вчерне все будет готово.

Я тоже сижу отшельником в Переделкине. Никакие соблазны не могут выманить меня в город. Бегаю по лесам, как дикий кот, и наслаждаюсь тишиной.

Поцелуй Мариичку и сердечный привет Нике. Пусть присылает свои фото украинские. Я буду ими хвастаться и его хвалить, как мастера советского фото.

Кренко обнимаю, Маруся тоже

Николай Тихонов.

20 сентября 1957 г.

Симон, дорогой друг.



Снова на дворе у нас на Севере то время, о котором шумно выразался Александр Сергеевич Пушкин:

Пылай, камин, в моей пустынной келье,
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук...

Писали же старики!

А я тружусь до седьмого пота, и трудно, братец, ох, как трудно. Правда, я мысленно в горах, в ущелье Асеп, то у ингушей, то у хевсуров. Я пишу о нашем чудесном чрезвычайном комиссаре Серго Орджоникидзе целую поэмищу. Первую часть сдал в «Знамя» — не знаю, что будет. Вторую и последнюю должен сдать к 10 октября. Времени в обрез. Бросить ее невозможно, прервать нельзя. Это-то обстоятельство перевернуло все мои планы.

Во-первых, я не попал в Грузию в сентябре, как предполагал, во-вторых, я приеду на юбилей Ильи Чавчавадзе только к самому празднику, если мои хворости меня отпустят.

Болезнь моя, собака — по кличке «радикулит», вцепилась мне в ляжку и не пускает. Но я думаю одолеть этого мрачного зверя или привести его на веревочке укрощенного.

Как поживаешь ты сам? Что наша милая Мариичка? Как Никуша, гений фотографических этюдов?

Мне хочется до визгу в Тбилиси. Но если все пойдет хорошо, то я прибуду с целой процессией славных поэтов и переводчиков к юбилею Ильи, но если мой радикулит взбесится, то буду приветствовать юбиляра только в Москве.

Но я надеюсь на лучшее. В Переделкине я живу, как святой в пустыне. Тут такая тишина, только дождь стучит по крыше, да иногда заглядывают разные восточные народы. Были арабы, после них чехи и болгары. Как-никак — они тоже восточный вопрос.

Что нового в Тбилиси? Как живут друзья — ничего не знаю. Написал мне такой юный тбилисец, как украинский поэт Олекса Новицкий, которому Тбилиси очень понравился.

Черкни, пожалуйста, о себе несколько строк. Поцелуй Мариичку и Никушу от меня и от Марии Константиновны, обнимаю

Николай Тихонов.

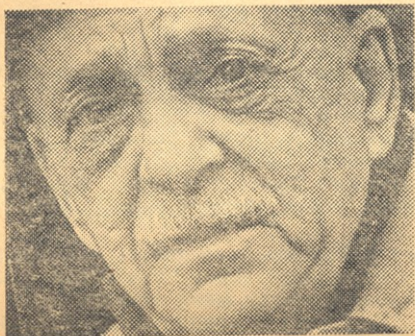
Э. Н. Гугушвили
(за месяц до кончины)

Дорогую Этери сердечно поздравляю
с Новым Годом!

Шлю лучшие поздравления, пожелания хорошего здоровья, счастья, всякого благополучия, во всех областях творчества в том числе — Вы ведь неустанный борец за мир и дружбу народов!

Я был свыше двух месяцев в больнице — сдало сердце!
80 лет оно служило мне и теперь чуть устало и дает знать об
этом. Но мы еще пройдем немного вперед!

Сердечно Николай Тихонов.



Павел Антокольский

23 апреля 1963 г.

Б. Жгенти

Дорогой Бесо!

Очень мне обидно и досадно, что не застал тебя уже в Москве. Прежде всего потому, что хотелось послушать рассказ о парижских впечатлениях — твоих и твоей милой жены, а затем пожать тебе руку и от всей души поблагодарить за чудесное вступление к моей грузинской книге¹. Это большой подарок для меня! Не говоря уже о широкой осведомленности твоей (в которой у меня никогда не было оснований сомневаться), статья дорога мне и как знак настоящей, сердечной благожелательности, внимания ко мне, к моему долголетнему пути. Еще раз спасибо и обнимаю тебя. Да и вообще книге этой (пока — сигнальному экземпляру) я очень обрадовался: значит, не даром так долго (и нетерпеливо) ждал ее. Ее очень не хватало на той — довольно маленькой полке, где стоят мои книги за сорок лет.

Недавно говорил по телефону с Симоном и даже с Марикой. Телефон — да еще междугородный — обманчивая штука. Так или иначе, но мне показалось в голосах, в интонациях их обоих что-то обнадеживающее, утешительное... Может быть, это надо приписать замечательному их мужеству, умению держать себя и владеть собою, — не знаю. Но дай бог, чтобы такое впечатление не обмануло! И еще раз — дай бог.

Скажу прямо — для нас обоих, для Зои и для меня, Симон и Марика не только ужасно близкие и дорогие друзья, но сверх того и образцы того, чем должны быть люди на этой планете.

¹ Речь идет о книге стихов П. Г. Антокольского «Побратимы», вышедшей в издательстве «Литература да хеловнеба» в 1963 г.

Вот, милый Бесо, чем мне хотелось поделиться с тобою особенно потому, что ведь всем известно, как ты связан с Си-моном — и человечески и товарищески, и по совместной борьбе с юности. Обещай, что когда будешь в Москве, дашь обязательно знать о своем приезде; пора, давно пора встретиться по-доброму — есть о чем припомнить, о чем помечтать, о чем «потрепаться» о самых разных областях жизни.

Еще раз благодарю и обнимаю крепко. Сердечный привет от Зои и от меня твоей жене, а что касается твоей дочери, то даже без разрешения отца целую ее много раз!

Твой Павел (Антокольский)

30 мая 1968 г.

Дорогой друг Бесо!

Несколько дней тому назад я отправил Ревазу Маргиани (в ответ на его письмо) необходимую статейку, посвященную семидесятилетию Тициана. Наверно, он получил ее и напечатает в Вашей литер. газете («Литературули Сакартвело» — кажется, так?)

О Тициане я писал уже неоднократно, так что по части воспоминаний о нем исчерпал свою память, и в этой новой, небольшой статье должен был ограничиваться общими, не личными словами и мыслями.

Спасибо тебе, Бесо, за приглашение, за внимание, за память. Будь я немного моложе, сел бы в самолет и через несколько часов был бы 10 июня в благословенном, трижды любимом городе на берегу Куры, среди старинных друзей...

Но увы! Старость — это, брат, серьезная штука. Иногда мне кажется, что я уже расту корнями в подмосковную землю — с каждым годом все глубже и глубже.

Крепко обнимаю тебя, дорогой! Дай бог тебе и семье твоей много всякого добра, здоровья и счастья.

Всегда твой Павел.

7 октября 1967 г.

Г. Маргвелашвили

Дорогой и драгоценный Гия!

Большущее Вам спасибо за Ваше безоговорочное признание, за отклик на стихи в «Лит. России»! По правде, я очень боялся этой — не слишком мне нужной — публикации! У меня было такое впечатление, что вывесил для публичного обозрения свое грязное белье, ей-богу! Ведь стихи-то (за исключением первого) пятидесятилетней (!) давности. Ваша доброта тем более восхитила меня. Вы приписали этим стихам свойства той, давно миновавшей поры, когда они были написаны, а не мои личные. Но тем больше и тем глубже я благодарен Вам. Да и вообще надо признать раз навсегда: в Грузии умеют быть прощательнее, нежели у нас, — особенно в отношении поэзии.

И Ваши слова — это не только Ваши — но и Тициана, и Симона... Дело не в том воспитании, которое Вам досталось по наследству, а в качестве уже родовом, генетическом, общем для всего Вашего поколения. И за это дай бог Вам здоровья и счастья!.. Очень хорошо помню Вашу статью о Мандельштаме. Она лучшее из всего, что сказано о Мандельштаме.

Крепко Вас обнимаю
Ваш П. Антокольский.



Константин
Симонов

8 января 1979 г.

Э. Н. Гугушвили

Милая Этери!

Простите, что только сейчас отвечаю на Ваше письмо. Был в больнице и всего три дня как вышел оттуда. Разумеется, если Вы сочтете возможным соединить текст моего выступления с тем, что я написал в «Лит. газете», если то, что в результате получится, покажется Вам достойным памяти нашего дорогого Бесо — сделайте так, как покажется Вам лучше.

Вы напомнили мне в своем письме о выставке «20 лет работы Маяковского». Конечно же, в дни, когда мы провожали Бесо, я не мог не вспомнить о том, что его подпись стояла одной из первых среди фамилий в той тетради в списке посетителей выставки Маяковского, которая была заведена на выставке в первый же день ее открытия. В жизни случается по-разному. Могло бы, конечно, случиться и так, что Бесо не оказалось бы в этот день в Москве. Но представить себе, что Бесо был в

Москве и не был на этой выставке, не пришел бы на нее, — не возможно.

Бесо любил Маяковского, любил то, что делал Маяковский. Это общеизвестно. Но любовь, даже самая преданная, бывает активная и пассивная. Бесо любил Маяковского активно, не просто любил, а жадно интересовался тем, что делает Маяковский, как он это делает. Интересовался этим ради будущего нашей поэзии, и русской и грузинской. Я думаю, он никогда не простил бы себе, если бы не побывал на этой выставке «20 лет работы Маяковского». Многие и не пришли на эту выставку и свое отсутствие там не считали для себя вознаграждаемой потерей. А Бесо, если бы не пришел туда, считал бы, что он потерял нечто вознаграждаемое. Он был человеком любопытным и жадным на впечатления. Он не только не умел, а просто не мог пройти в литературе мимо чего-то по-настоящему интересного. Я вспомнил о тридцатом годе, но так это было с ним не только в тридцатом году, а и раньше и позже, всю его жизнь. Неравнодушие — вообще одна из самых дорогих черт человеческих, что же говорить о значении этого качества в жизни литератора, в жизни критика. Тот, кто лишается где-то даже по середине жизни этого качества, продолжает только якобы жить в литературе, а на самом деле перестает в ней жить. Тот, кто обладает этим качеством неравнодушия до конца, до последнего дня своей жизни, продолжает существовать в литературе и после своей физической смерти. Что-то отмирает у сошедших в прошлое, некогда злободневных литературных текстов, что-то продолжает жить, что-то перемещается или ощущается по-другому, но взрывчатая сила неравнодушия к жизни и литературе остается навсегда, как звук эпохи, как невынимаемая из него часть минувшего исторического времени.

Если, дорогая Этери, Вам покажется, что эти размышления, связанные первоначально с выставкой Маяковского, будут к месту в той книге, которую Вы делаете, — имеете полное право присовокупить их ко всему остальному, сказанному мною и написанному мною о Бесо.

Желаю Вам здоровья, доброй работы. Когда я был совсем молодым, я писал, может быть, неуклюжие, но правильные строчки:

«Но работа опять выручает меня, как всегда.

Человек выживает, когда он умеет трудиться.

Так умелых пловцов на поверхности держит вода».

Знаю, в каком Вы горе, тем более вдвойне-втройне хочу пожелать Вам доброй, большой, напряженной работы.

Уважающий Вас Константин Симонов.



Борис Пастернак

(к 90-летию
со дня рождения)

2 мая 1951 г.

Н. А. Табидзе

Дорогая Ниночка!

В последнее время, в тех редких случаях, когда я пишу Вам, я пишу не свои, какие-то холодно-философские письма. Это оттого, что я был отвлечен общемою темой, поездкой наших к Вам, пребыванием детей в Грузии, и параллелями и сближениями, которые это во мне подымало.

И за этими дурацкими письмами Вы могли забыть, как я люблю Вас, и что Ваши права на меня безмерны.

Сегодня пришла телеграмма от Ш. Гловели с благодарностями за подарок. Если это не за переданные ему скверные фотографии, то очевидно за что-то, что сделали Вы своими золотыми руками, милая моя, чудная Нина.

Ах, Нина, Нина, как прикусываю я всегда язык, лишь только берусь за письмо Вам. Вы, громадный Вы человек, сливаетесь для меня с целым миром горьких тайн, впоенных кровью сердца и омытых слезами, начиная с Гивиного дедушки и кончая этой бедной и безумной, которая так много мне прощала и при которой никакая шея не заболела бы у меня или прошла бы в три дня. Нина, иногда мне кажется, что Вы — это моя душа, в образе женщины отброшенная в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой.

Майские и пасхальные дни. Мне хотелось написать туда, но наверное лучше не надо, и эти ноты звучат в письме к Вам. Вы их слышите?

Я с Симоном и Марикой отправил Вам кусок прозы. Прочтите и напишите мне.

Крепко, крепко Вас целую: Благодаря фотографиям Вас сказам и завязавшимся между детьми связям Нита, и Гивик больше, чем это бывало раньше, вошли в мое и жизнь. Кланяйтесь им.

Ваш Б.

Милая Нина, ангел мой, целую Вас.

5 октября 1951 г.

Дорогая Нина!

Сегодня позвонил Фатьме Антоновне, чтобы узнать, что с Вами и отчего Вы не пишете, и оказалось, что она в Тбилиси. Здоровы ли Вы? Вероятно, Вы в разъездах по сбору материалов для работы, и вот чем объясняется Ваше молчание? Или, может быть, Вы на меня почему-либо в обиде? Я действительно так немногословен и молчалив последние годы, что это может показаться холодом и сухостью. Но ведь Вы так хорошо меня знаете, что едва ли эта видимость может Вас обмануть. Не случилось ли какой-нибудь неожиданности с кем-нибудь в близком Вам круге, не отвлекает ли Вас какая-нибудь новость, радостная или неприятная?

Я в конце августа сдал огромную и головоломную 2-ю часть Фауста. Но ведь написать или перевести что-нибудь бессмертное и вековое — меньше чем полдела, безделица. Главное — чтение редакторов, и бог их ведает, сколько месяцев они будут копать в работе.

С конца августа все эти чудные осенние дни я ничего не делал, кроме того, что с 9 ч. утра до 4-х часов дня возился на огороде, вскапывал всю территорию на будущий год под грядки, пересаживал деревья и пр. и пр. За это время я очень отдохнул. Боли в левой части спины и шеи очень уменьшились, хотя не исчезли. Весь сентябрь я таким образом прожил один на даче и переехал в город лишь позавчера.

Наверное, к Вашей обиде присоединились обиды Леониде и Чиковани, недовольных тем, что я им так бледно, мало и бессодержательно написал?

Как здоровье Ниты? Зина предприняла большой ремонт нит за квартиры, отнявший у нее много сил по переноске книг и вещей из помещенья в помещенье, по надзору за окраской комнат и их уборке после окончания малярных работ. Помнит ли еще Гивик Переделкино? На днях маленького Сашеньку Смирнова спросили, кого из своих сестер он больше любит, Лидочку, или Тоню, и он ответил: «Гивика». Все наши, включая Галю и Стасика, Вас и Гивика крепко целуют и шлют Ните и Алексею Николаевичу неисчислимые поклоны. Милой Фатьме Антоновне мой сердечный привет. Ваш Б.

10 ноября 1951 г.

Дорогая Нина!

Простите, что с таким опозданием благодарю Вас за посылку и за три приложенных письма. Я опять был огорчен тем, что Вы хлопотали и потратились. Но я так редко выхожу

из дому, что иметь цель съездить на вокзал было для меня развлечением. Поезд шел с постепенно нарастающим опозданием и вместо пяти часов дня прибыл в 1 час ночи. Ожидание его было для меня непредвиденным отдыхом, я на вокзал поехал за два надцатом часу, шел легкий снежок, начиналась вьюга. Этот заснеженный поезд и в особенности вагон № 7-й вплыли в темноту зимнего перрона как еще неостывший кусок яркого, горячего Тифлиса. Трудности взаимного распознавания облегчил Гурам Асатиани, случайно приехавший в этом поезде и оказавшийся в том же купе и коридоре. Я от всей души просил извинения у зятя Серго Квдиашвили, что был поводом, отчего его так затруднили. Огромное Вам спасибо за варенье, особенно от меня — за кизиловое, за орехи, каштаны, чачу и винные ягоды. Спасибо и за аргументацию посылки, что посылаете, чтобы мы Вас вспоминали, когда будем есть и пить, это тоже меня растрогало. Но как ужасно, наверное, Вам работать на войне, и как, наверное, вредно!

Я себя хорошо, в общем, чувствую. Против последних месяцев на даче я в первое время в городе не так был здоров, как там, стал ощущать свои внутренности, в поисках причины отыскал утолщение и затвердение под ложечкой, Зина его тоже нащупала, и мы с нею значительно переглянулись. К тому же по собственной охоте меня должен был осмотреть один доктор, к которому в порядке обследования или диспансеризации всех прикрепленных к поликлинике меня назначили. Он все справлялся, когда я буду свободен. Он осмотрел меня, наше утолщение оказалось мечевидным отростком, который должен быть у всех людей, но не найдя у меня ничего особенного, он мне назначил диету, очень сходящуюся с моими привычками (черн. хлеб, овощи, гречневая каша и др.). И совершенно запретил пить. Я его слушаюсь в нормальные дни дома, когда же попадаю в гости или когда гости бывают у нас, то срываюсь с цепи, вознаграждаю себя за все упущенное и чудесно себя чувствую на другое утро.

Я хотел дать резать жировик проф. Очкину, когда он вернется из отпуска, но он сам приехал больным. У него болели бок, спина и грудь, он решил, что это невралгия, что вслед за ним повторяли и врачи в Цхалтубо, куда он поехал после месяца в Гаграх. Оказалось, что это гнойный плеврит, с которым он купался на обоих курортах.

Понемногу я пишу для себя самого. Бывают у меня полосы уныния и самоуничтожения, бывают и другие, когда я спокойно и ясно вижу, что я пожил и потрудился не понапрасну. Фауста я сдал уже 3 месяца назад...

...Я Вам много еще хотел написать, но письмо лежит уже неделю, ожидая продолжения. Так лучше уж пошлю его неоконченным, чтобы хотя бы моя благодарность дошла до Вас.

Крепко Вас целую

Ваш Б.

4 января 1952 г.

Дорогая Нина!

Спасибо Вам, Гивик, Ните и Алексею Николаевичу за телеграммы, поздравления, пожелания и память. В Вашей посылке было ореховое печенье (подковки) такого свойства, что Зина и Леня не могли от него оторваться и два дня питались только им одним. Спасибо Вам за все, за чурчелы, орехи, изюм, за кизиловое варенье! Но, дорогая Нина, какими словами заклясть и упросить Вас, чтобы Вы больше ничего не возили и не посылали, кроме себя самой! Никогда не тратьте больше на это сил и времени, не накладывайте меня таким бременем на Ваших друзей и знакомых. Пить больше нельзя даже Погодину, не говоря уже обо мне. Я очень любил чачу и хвалил ее, пока сам был еще вреден и бессмысленен, как она. Но с тех пор так много переменялось. Ее крепость и аромат пропадают даром. Судьбе было угодно, чтобы мое прощанье с ней сложилось символически и ни одна капля ее не попала ни в чье горло. На встрече Нового года, когда в заключение всего боржомная бутылка с ней оказалась в руках Ливанова и он за что-то привязался к Рихтеру, он каким-то образом расколол бутылку о каменный подоконник и чача взорвалась и фонтаном обдала потолок. Я не знаю, как это случилось (я вышел на пять минут зачем-то наверх, и это произошло в мое отсутствие), но неделю комната (столовая) пахла виноградом.

Мы очень хорошо встретили Новый год. Сначала мы хотели его встретить с обоими Чиковани и Лундбергами и соответственно тихим обществом. Но в последнюю минуту те и другие нас надули, и была опасность остаться в дураках с расстроившимися расчетами в виде новогоднего предзнаменования на целый год. Но за час или два до полночи мы все перепланировали, а я встретил год именно так, как хотел: в шуме, имевшем источником не только мое горло, среди многолюдства, получившегося естественно и свободно, без истерически торжественного и фальшивого напряжения. У нас было 24 человека, разошлись в 8 час. утра, были Чагины, Ливановы, Ивановы, старшие Нейгаузы, Журавлевы, Рихтер и Дорлиак, художник Ходасевич (племянница В. Ф.) и многие другие. Я Вам все так описываю, потому что в мыслях моих были у нас и Вы, и я должен описать Вам обстановку, чтобы Вы знали своих соседей. Зина, я, Леня и все наши Вас, Ниту, А. Н. и Гивика крепко целуем и обнимаем.

Ваш. Б.

3 июня 1952 г.

Дорогая моя Ниночка!

Я вам собираюсь написать с того самого дня, как Вы звонили по телефону. Ваш голос был так слышен, в нем было столько огня и задора, того самого, с которым Вы плясали лезгинку, когда мы все вместе жили в ленинградской гостинице у вокзала; в этом голосе так были Вы вся, со всею лихорадкой жизни, что я невольно улыбнулся, говоря с Вами: в звуке этого

голоса передо мной было полное объяснение того, отчего я так люблю, так люблю Вас.

Я тотчас сказал об этом Фатьме. Я не мог перестать удивляться тому, как в звуке речи передавалась так просто, полно и стремительно Ваша сущность.

Мы очень хорошо прожили эту зиму. Болезни иногда занимают больше внимания и времени, чем они занимают места в жизни, потому что обращаешься к врачам, делаешь исследования, и это становится темой, не будучи ей. Я уже не помню своих несчастий в середине зимы.

Мы жили хорошо, не знали нужды... Я пересматривал для печатания переиздаваемого Шекспира и только что сделанного Фауста и понемногу писал продолжение... Недели три или месяц тому назад я узкому кругу друзей, в котором были бы и Вы, если бы тут гостили, обещал почитать немного дальше на прощание, перед отъездом на дачу. Дав это обещание, я связал себя им, и тут только сел по-настоящему писать, потому что до этого были только черновые подготовительные заметки. Я снова, как несколько раз в жизни, заболел работой, ничем не существовал, как только ею, преспокойно пропуская раздававшиеся телефонные звонки и не подымая трубки. Чтение было назначено на вчерашний вечер (2 июня), срок подходил, а у меня еще не все было написано, и последние дни я вставал в 5, в 6 час. утра, чтобы поспеть к сроку, точно его нельзя было перенести. В это время приехала Евфимия Александровна, мне об этом сообщила Фатьма Ант., но я ей признался, что до чтения у меня считанные минуты и пусть значит, что я этого не знаю, пока я не вздохну свободно.

Я Вам пишу это, и у меня слипаются глаза от усталости. Я делаю то, что мне подсказывает крайнее мое разумение, и все без цели. Но я ничего не могу переделать, и это никогда не будет по-другому.

Леня вчера в первый раз был среди слушающих, в первый раз вообще получил понятие о том, что я делаю, как пишу и чем живу, не потому, что он был мал для этого, а теперь вырос, а потому, что всегда, чем я больше кого-нибудь любил, тем больше старался быть источником свободы для этого человека, и в доме никто никогда не должен был быть одних мыслей со мной и признавать меня. Кроме того, никогда я не считал себя таким потрясающим классиком или авторитетом, чтобы навязывать себя детям или рекомендовать.

И вот, для меня было не безразлично, как отнесется современный пионер и завтрашний комсомолец, воспитанный и на другом понимании некоторых хронологических полос и на другой манере описания природы, действительности и всего на свете, к передаче всего этого у меня... И обычное — ревниво-критическое отношение у детей-подростков к своим близким среди чужих, в обществе, еще больше затрудняло для него восприятие.

Но чтение происходило наверху, у него в комнате, и, естественно, он оказался среди приглашенных.

Для меня было большой радостью, что на мой вопрос, понравилось ли ему, он, преодолевая свою обычную застенчивость и густо покраснев, сказал: «Очень, очень!» А потом в:

другом конце стола он, я слышал, уже возражал Зине, нашедшей, что этот кусок не так лаконичен, как прежние.

Дорогая Нина! Я по породе ломовая лошадь и могу жить только в постоянном напряжении. Только миновала утренняя спешка, и я день или два ничего не делаю, как уже мой внутренний аппарат никуда не годится, и так все противно мне в самом себе, что, воспользовавшись уходом всех из дому, я принял для очистки души касторки (когда видят, не позволяют). Простите за такой конец. Приезжайте поскорее.

Ваш Б.

18 сентября 1953 г.

Дорогая Нина! Спасибо Вам за дорогое письмо Ваше. Вот и месяц одиночества прошел, которого я так боялся! Счастливый, счастливый месяц, как и предшествующие. Он был холодный и последнее время весь сплошь дождливый, около трех недель. А сегодня прояснилось, и, кажется, простоят несколько хороших солнечных дней...

...Дорогая Нина, не думайте обо мне плохо. Я живу очень чистою жизнью, у меня нет ни минуты бездеятельной, не претворенной работой во что-нибудь реальное, осязательное. Как я моюсь каждый день, я не мог бы вынести никакой душевной грязи.

Я попрошу Вас передать кое-что в два знакомых дома. Первое — Чиковани. Скажите им, пожалуйста, что я долгое время носился с мыслью написать Симону про мой с Вами разговор о Фаусте. Я даже написал две страницы этого письма, но это выходит страшно тяжело и многословно. Письмо лежало, лежало, и сейчас я его уничтожил. И я писал Симону о том, как много дало мне Ваше пребывание у нас летом и как я молчаливо люблюю всегда со стороны красотою Вашего умного, нелегкого, талантливого существования. А бесконечными лекциями о Фаусте я становлюсь просто назойлив и смешон. Скоро выйдет книга, и Симон сам прочтет и лучше моего поймет, в чем там дело, сколько там новой свободы и как много важного сказано в ее формах.

Я не знаю, не забыл ли Георгий Николаевич рассказать у себя, что когда у нас заговорили с ним о Евфимии Александровне, у женщин сорвались голоса и на глазах у всех появились слезы, как бывает при упоминании чего-нибудь высокого, значительного и волнующего. Как это было замечательно. Это было гимном ей, величанием и многолетьем.

Так же точно плакали на днях у нас Ливановы и Федин, когда я читал им новые стихи. Нина, за что это мне, это упоение работой, это счастье. Иногда я себя чувствую точно не в своей власти, а в творящих руках господних, которые делают из меня что-то мне неведомое, и мне тоже страшно, как Вам. Нет, неправда, — не страшно. Крепко, крепко целую Вас.

Ваш Б.

27 октября 1953 г.

Дорогая Нина!



Спасибо Вам за письмо к Зининым именинам, как всегда у Вас, полное души через край. В нем нашел я много такого, в чем как раз нуждался тогда, заездивши себя разными видами самобичевания и недовольства тем, что делается со мной и что я делаю. Спасибо, спасибо. Веянье Вашего голоса разогнало тучи с моей беспокойной совести. Мне стало опять легко и хорошо, как было летом.

И в другом отношении Вы правы, осуждая мой взрыв против Г. и советуя с ним помириться. Так я и сделаю. В «Гамлете» в самом конце, перед поединком, королева просит Гамлета помириться с Лаэртом, и Гамлет говорит лицу, передающему эту просьбу: «Королева учит меня добру». Эти слова прозвучали у меня в сердце, когда я прочел Ваши строки по поводу моих придинок к Г.: «Нина учит меня добру».

Можете себе представить, что я испытал, когда Зина рассказала мне о Вашем с нею разговоре по телефону. Я смотрю на ответ, полученный Вами, совершенно так же, как Вы. Он может означать все, что хотите, и может не означать ничего. Однако путь к окончательной ясности или к каким-нибудь переменам может все-таки быть через такой ответ, и лучше, что он уже есть, чем если бы его не было.

Нина, я еще много хотел написать и рассказать Вам в письме, но лучше сделаю это устно, когда увижу Вас. Не приедете ли Вы зимой на встречу Нового года? Как бы мне этого хотелось! Все хорошо у нас, но летом я был прилежнее, потому что совершенно был отделен от городского телефонного разврата, который заражает даже и меня. Нет-нет да и подойдешь к какому-нибудь звонку, для того, чтобы кто-нибудь пощекотал похвалами твое тщеславие. Какая гадость! Правда, так низко опускаюсь я очень редко, только не выспавшись, когда не жалко времени и не веришь, что придешь к чему-нибудь путному в работе. Крепко целую Вас. Спасибо за чудесные подставки. Зина и Леня шлют Вам выражения тех же чувств, что и я.

Ваш Б.

16 ноября 1953 г.

Ниночка золотая моя! Как крепко, как по-одинаковому крепко мы любим друг друга с Вами, неправда ли? Вы чувствуете? Прямо можно приложить руку к письму и ощутить ладонью, чем слова горят. Как хорошо! Это я о Вашем письме говорю, конечно, которое Ваша милая девушка привезла.

Ну что Вы опять наделали, сумасшедшая Ниночка! Горы Ваших даров загромождали квартиру и своей красотой они соперничают с отцовскими картинами в столовой...

Напишите мне скорее, как идет Нитино лечение. Как мы огорчены и напуганы! Бедная, бедная! всю жизнь мучится то тем, то этим! Зина говорит, что у нее не осталось рецепта на гомеопатическое средство против печени, которое ей было прописано, и что наверно опасно, не посоветовавшись со специалистом, лекарство, рекомендованное в одном случае, повторять в

непохожем другом. Она обещала нарочно для этого и, кстати, для собственного осмотра вызвать к себе своего томеопата и расспросить о Нитиной болезни.

Спасибо Вам за все, что Вы пишете о стихах. По сравнению с романом, к которому они служат гарниром, это вздор и пустяки. Я Вам скоро пришлю несколько новых. Беда, что я, как уже писал Вам, посылаю их Вам преждевременно, неотлежавшимися. Потом они претерпевают значительные изменения и становятся лучше. Георгий Победоносец уже называется «Сказкой», а не «Колыбельной» и весь конец (четвертый кусок с этим дурацким баюшки-баю) откинут, а вместо него перед третьим вставлены две строфы, объясняющие положение (что пленница принесена в виде откупной дани в жертву дракону во избавление страны).

В прозе главное вчерне уже написано... Так насквозь, не задерживаясь на частностях и откладывая их до общей отделки, я писал только раз в жизни, «Детство Люверс», а потом случаи такой свободы, непосредственности и радости не повторялись. Крепко целую Вас, лучший и самый дорогой друг мой.

Ваш Б.

26 декабря 1953 г.

Дорогая Нина!

Ю. В. мне все рассказал. Какие сказочные возможности, какое счастье! Представьте, я верю, как это ни невероятно!!

Вот о чем и зачем я пишу Вам. Соберите все силы сердца и всю свою, столько испытаний выдержавшую волю, и перестаньте временно об этом думать. Найдите опору в привычном напряженном течении Вашего трудового дня, в героической Вашей дисциплине, работайте, если возможно, еще больше, гдушите себя усталостью, но не забегайте удивительным, горячим Вашим воображением вперед, подавляйте натиск мечты и ожидания. Я даю Вам эти неисполнимые советы не потому, что боюсь за Вас и за Ваше здоровье. Ничего с Вами не будет, не сойдете Вы с ума, как пишете, и ничего с Вами не сделает волнение. Но я знаю, как может себя измучить такую душевную бурей человек такого огня и одухотворения, как Вы, и хочу уберечь Вас от этой муки. Постарайтесь (Вы уже столько нечеловеческих усилий сделали в жизни!), постарайтесь временно стать тупым бесчувственным животным, чтобы как можно больше сохранить себя к этому непредставимо огромному часу и дню. Я страшно люблю Вас, Нина, и впервые за все время, рядом с нуждой моею собственного сердца в Тициане, стало представление о нем, как о Вашей жизни и счастье, которые я должен увидеть и пережить.

Простите что я так нетактично и много говорю о деньгах, вместо того чтобы просто безмолвно послать их. Я это мог бы сделать и сейчас, но еще легче будет в середине января, но если Вам надо неотложно, не стесняясь дайте мне об этом знать, и все будет моментально исполнено.

Больше ни о чем не пишу, главное, что я хотел, сказано выше. Желая Вам встретить Новый год спокойною, сильной и здоровой. То, что мы на протяжении стольких лет все с мень-

шею верой всегда желали друг другу в этот вечер, так близко к осуществлению! Удивительно. Целую Вас. Берегите себя.

261935740
Ваш Б

6 марта 1954 г.

Дорогая Нина! Спасибо за письмо с описанием снежного бурана и Вашего опоздания на похороны. Я тут же должен был бы успокоить Вас, что причина и побуждения Ваших разговоров мне ясны, и я не могу винить Вас за них, но до сих пор не успел Вам написать об этом.

Нина, милая, дорогой друг мой! Ваш ум, блеск Вашего внимания, Ваше сердце и все Ваше существо бросились бы мне в глаза и так же привязали бы меня к Вам и в другие, более светлые и легкие времена, а тут еще вдобавок мы попали с Вами вместе в одну общую дорожную катастрофу жизни, сдавлены крушением рядом, и наши стены смешались. Как же мне не любить Вас?

Все у нас хорошо, все здоровы, ничего не изменилось ни в какую сторону, ни в хорошую, ни в дурную.

Крепко Вас целую.

Ваш Б.

7 мая 1954 г.

Дорогая Нина!

Получил то письмо Ваше, которое Вы писали ночью о готвящемся издании Паоло и Тициана. Милый друг мой, возьмите себя в руки. Мне так важно, чтобы Вы жили и были здоровы.

В каком-то смысле Вы самый близкий человек мне. Вы выражение какой-то стороны моей души, моей совести и моего воображения в таком умном, прекрасном и любимом облике. Откуда Вы взяли, что я сержусь на Вас? Но я так привык верить Вам во всем, что наверное Вы правы, хотя сам я об этом ничего не знаю.

Нина, не бередите самой главной раны... Ах как мне хотелось бы Вас успокоить, Ниночка! Крепко люблю Вас и крепко целую.

Ваш Б.

15 октября 1954 г.

Дорогая Нина!

Нита наверное давно сама рассказала Вам о двух-трех часах, которые она провела с нами на даче. Какое счастье, какое чудо, что Шатилова вылечила ее! Мы только несколько минут поговорили с ней наверху, позвали вниз обедать и завершился обычный переделкинский день, который к тому же был воскресный, с гостями. В прошлый раз Нита была тут 2 года тому назад, и этим вторичным свиданием и промежутком между обоими я измерил гигантские перемены, происшедшие и на земле и в нашей жизни за это время. И какой печальной тенью, как затянувшаяся дурная погода, ложится на ее течение глупое

старанье представить дело так, будто ничего особенного не изменилось.

Я по-прежнему очень занят. Сейчас пришлось перебить мне работу над прозой пересмотром Фауста, для переиздания. Все здоровы. Все целуют Вас.

Ваш Боря.

11 июня 1958 г.

Дорогая Нинуша, спасибо Вам за заботы, за письмо, за открытки. Я чувствую себя хорошо, нога болит гораздо меньше, но все-таки болит, когда я засиживаюсь. Мне кажется, я осенью, даже если боль совершенно пройдет, покажусь Чаклину и, может быть, попрошусь на операцию, там все-таки что-то сидит в колене и при малейшем неловком движении, боюсь, может вызвать все эти надолго растягивающиеся ужасы снова. Но самочувствие у меня очень хорошее и зевать некогда, надо пользоваться здоровьем и свободой и что-то делать! Напоминаю о том, что в мире творчества все держится не правилами, а только исключениями, а все остальное, как бы оно ни было хорошо и почтенно, ни к чему, таким напоминанием был здесь у нас пианист Клиберн (да, ведь Вы застали его еще здесь). Банникову и многим кажется, что мне надо писать сейчас стихотворения, в моем последнем духе, прерванном болезнью. Я кое-что записал, но не только не уверен, что они судят правильно, но убежден в обратном. Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стойвший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней.

Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность... Передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить. И откуда мне взять на это сил, а заменять это, единственно нужное, старыми мелочами — близоруко и бесцельно. Поэтому меня не радует возобновившееся мое стихописание, да и слабо это все, что я Вам посылал. Наверное, если уже на то пошло, требуется более резко разграниченный, новый, объединенный сильно отличным, новым признаком, раздел стихов. Может быть, я и приду к нему, но все же я их Вам посылаю. Я записываю их Вам от руки. Разберете ли Вы их?

Крепко целую Вас.

19 марта 1959 г.

Дорогая Нита, я себе простить не могу, что когда мы шли пешком на вокзал, я, в силу привычности этой минуты, так похожей на приготовления к обычной прогулке, забыл проститься с нянею и Маней. Попросите от меня прощения у них, я так помню все, что они нам сделали, и так им признателен!

Вот с какой я к Вам просьбой, не откладывайте, пожалуйста, ее исполнения, сейчас же возьмите телефонную книгу и списывайте просимые адреса (тех, у кого есть — телефоны, а других узнайте как-нибудь другим путем).

Сообщите мне, пожалуйста, точные адреса¹ (почтовые, для писем и посылок): Марины Мицишвили, Медеи Яшвили, Этери Николаевны Какабадзе, Гудиашвили.

Наверное так же, как и Фауст, у Вас в семье должно быть (у Гивика, наверное?) и все, что я переводил из Шекспира.

Я продолжаю в воображении без конца гулять с Вами и разговаривать. Мы таким образом давно оставили за собой границы Тбилиси. Если это будет продолжаться так дальше, мы скоро обойдем пешком с Вами земной шар.

Я здоров (как и все у нас), и те личные огорчения и страдания, которых я опасался по возвращении, места не имели, слава богу...

Крепко обнимаю и целую Вас, Алика, Гивика. Маме напишу тут же несколько слов. Позвоните Чукуртме. Когда я получу ее адрес, я пришлю ей Фауста.

Всем бесчисленные поклоны, Раисе Константиновне и ее дочерям, Тине Асатиани, музейной подруге Марины, знающей древнегреческий.

Дорогая Нина, Вы однажды спросили меня об одном собственном имени из Тицианова стихотворения², но наверное с тех пор Вы давно от других получили эти требующиеся справки. Если нет, для меня было бы счастьем, если бы все-таки в конце концов Вы это разъяснение получили от меня. Не было ли это имя Авиафар? Я на эти сведения напал сейчас случайно. Первыми обращенными к Христу св. Ниною в 315 г. во Мцхете были еврейский раввин **Авиафар** и его семья. Его дочь Си-

¹ Б. Пастернак просит сообщить ему адреса некоторых тбилиских друзей, чтобы послать им книги своих шекспировских и шиллеровских переводов. Однако в конце марта 1959 года я был в Москве и Борис Леонидович попросил меня отвезти в Тбилиси эти книги. Мною были переданы они дочери П. Яшвили — Медеи Яшвили, Ладо Гудиашвили с супругой и дочерью — Чукуртмой Гудиашвили, дочери Н. Мицишвили — Марине, художнице Этери Какабадзе-Андроникашвили — вдове выдающегося грузинского художника Д. Какабадзе, Р. К. Микадзе и Т. К. Асатиани. Книги эти снабжены дарственными надписями — Г. М.

² Имеется в виду стихотворение Т. Табидзе «Еврейская мелодия».

дония была потом сподвижницей Нины, участницей совершенных ею чудес и проповедницей.



Крепко Вас целую. Когда Вы к нам приедете?...

Г. Н. и Е. А. Леонидзе

2 августа 1951 г.

Дорогие друзья Евфимия Александровна и Георгий Николаевич!

Вот опять счастливы мы были провести недолгое время с Ниной Александровной, за ее бесконечными рассказами о Вас и частыми поминаниями Вас обоих. Все ли у Вас благополучно? Как здоровье Ваших детей и Ваше? Очень радостно слышать, с какой свободной, ниоткуда не инспирированной похвалой, с разных сторон отзываются о Вас, как высоко ценится поэтическое имя Леонидзе. Кстати, не шутя, когда задумают писать книгу о Вас, незаурядного ценителя или биографа Вы имеете в лице Нины, которая с упоением, захлебываясь, но кроме того и со знанием дела говорит о Вашей музыке и языке, — Нина, прекрасно умеющая отделять дружбу от дела.

Да, но ради самого создателя, когда Вы перестанете пристыжать меня своими частыми и огромными посылками? — Опять водки, вина, баклажаны, сладости и орехи в сказочном количестве и такой незаслуженности, что если бы моя любовь к Вам обоим это позволила, я бы эти сокровища счел тонко прикрытым упреком.

Будьте здоровы и приезжайте к нам скорее в гости в Перedelкино. У нас ничего любопытного, как подтвердит Вам свидетельница нашего существования, Нина. А Вам обоим с детьми самые горячие приветствия мои и Зины, к голосам которых с нынешнего года присоединились восклицания Лени, Гали и Стасика в такой живости, что почти нашу преданность заглушают.

Ваш Б. Пастернак.

Ф. А. Твалтвадзе

22 июня 1952 г., воскресенье

Дорогая Фатьма Антоновна!

Что ж Вы не приехали сегодня с Евфимией Александровной, как я смутно надеялся? Из разговоров с нею я знаю, что Георгий Николаевич с дочерью только выехал и не может быть еще в Москве. Надо было приехать без него, чтобы потом, 29-го, возобновить нам это удовольствие, с ними в придачу.

Вот четыре стихотворения Церетели. Хотя он получился лучше, чем вещь Леонидзе (о Бараташвили), это все-таки никуда не годится... И все же Церетели не оставлен мною в такой плачевной неопределенности, как Леонидзе. Пусть это не обижает Георгия Николаевича. Дело не в том, что в одном

случае поэзия классическая, а в другом современная, а в том, что Леонидзе я переводил в городе, а Церетели в эту неделю на даче, где прелесть и тишина.

И хотя я Церетели больше приблизил к какому-то мнимому определенности (может быть, ценою частичного непонимания и некоторых неумышленных отступлений), все равно, и это ужасно, и Вы и Маргвелашвили различите в приложенном тот отвратительный стук барабанно-ремесленной приподнятости, который вообще отличает стихию стихотворных переводов. Я не думал, когда все же взялся за это, что ничего не добьюсь и так разочарую Вас¹.

Вот, во всяком случае, условие. Если они в таком виде не подходят, клянусь Вам самым святым, что меня не обидит, если Вы их забракуете и Георгий Георгиевич передаст подстрочники кому-нибудь другому...

Это не то же самое, что я писал Леонидзе. Там случай ясен, и как бы меня ни уверяли, я понимаю, что перевод безнадежно плох, так что если Г. Н. заупрямится и захочет его где-нибудь печатать, я сам попрошу перевод назад, для приведения его в мало-мальски человеческий вид.

Здесь (Церетели) несостоятельность сделанного не так мне ясна, и я сделал, кажется, все, что мог.

Простите за бесконечность этого трактата. Поклон всем Леонидзе. Если Вы не приедете в следующее воскресенье, 29-го, я приму это за объявление вечной вражды. Если Вам хочется, и это не нарушит с Леонидзевской стороны гармонии, привезите с собой Г. Г. Маргвелашвили.

Безобразие, что я вдаюсь в письмах в такие теоретические импровизации. Человеку, дорожащему впечатлением, которое производят его привычки, это не полагается. В позорности происшедшего повинны уважение и любовь, которые я к Вам питаю!

Ваш Б. П.

¹ Как это часто случалось с Борисом Леонидовичем Пастернаком, он по окончании той или иной работы склонен был недооценивать ее достоинства. В частности, переводы из Акакия Церетели явились истинными шедеврами переводческого мастерства. Позднее сам Б. Пастернак признавался в письме к Г. Бебутову — редактору подготовленного в Тбилиси сборника его стихов и переводов: «Лет пять назад Маргвелашвили издал в Москве избранное Церетели... И мои указания о Церетели и Леонидзе вызваны тем, что оба случая запомнил, один — вследствие значительности «Песни песней» Церетели, другой — ввиду сопутствующих обстоятельств». Симон Чиковани писал по этому же поводу: «С наименьшим вдохновением (вслед за поэзией Н. Бараташвили — Г. М.) перевел Б. Пастернак лирические стихотворения Акакия Церетели. Особый мой восторг вызывают его переводы «Песни песней» и «Головушки мой»... «Песнь песней» вообще является шедевром поэтич. перевода» (Г. М.)

30 июля 1952 г.

Дорогая Фатьма Антоновна!



Я очень неудачно надорвал край конверта Маргвелашвили, как раз тот, на котором был его адрес, и должен по необходимости писать опять Вам. Очень глупо, что я не прочел письма вчера вечером при Вас, тогда никого не надо было бы утомлять перепиской, и обо всем можно было бы договориться устно: Георгий Георгиевич или Вы восполнили бы остающиеся до сих пор незамещенными для меня (и непонятными), несмотря на письмо Г. Г., пробелы разорванного, недостаточно связного логического хода Церетели. Но об этом, может быть, потом...

Вы спросите: зачем же, если я текста подстрочника не понимаю, если считаю, что задача перевода некоторых вещей, недостаточно стройно и связно изложенных в подстрочнике, по подстрочникам невыполнима, зачем, если я не гонюсь за деньгами и за славой, зачем, следовательно, я предлагаю другой, далекий вариант стихотворения?

Отвечу: с единственной целью, чтобы Вы и Георгий Георгиевич не подумали, что я обиделся или ленюсь, или отступил перед трудностями задачи и т. д. и т. д. Я именно для того посылаю другой перевод, чтобы освободить Вас от себя в отношении этих стихов, чтобы, обращаясь к кому-нибудь другому, Вы знали, что в этом вопросе не осталось ничего затаенного и пр. и пр.

Теперь о другом. Если у Вас будет случай снестись с Ниной Александровной (м. б. через Леонидзе), надо, чтобы она знала, что мы всегда с радостью ждем ее, но что умоляем не везти с собой чехмоданов с дарами. Во-первых, у нас тут все есть, и у Зины самой по себе есть тенденция заводить излишние, угрожающие своей сохранностью запасы, если же кто-нибудь пустится соперничать с нею в этом направлении, то с очень большой вероятностью обнаружится та именно точка, на которой я когда-нибудь сойду с ума.

Ваше общее посещение оставило в нас наилучшие воспоминания. И семье Леонидзе мы были рады, как родным, о чем тоже у нас дома был разговор. Только я несколько раз осекался, заговаривая о Е. А., потому что улавливал взгляды, которыми Нестан обменивалась с отцом, из которых явствовало, что я веду себя как дурак. Это огорчительно.

Будьте здоровы. Больше ни на какую подстрочную тему мы в жизни не будем разговаривать.

Ваш Б. Пастернак.

P. S. До моего осеннего возвращения в город пусть Г. Г. и Анна Захаровна не беспокоятся о деловой стороне этих пустиков, они мне не стоили труда, я о них забыл и в отношении сделанного оба они совершенно свободны.

Дорогие Нина Осиповна и Ладо!

Простите меня, что я до сих пор не ответил на Ваше письмо, невероятное и далекое от действительности, как какое-нибудь сновидение во время свадебного путешествия. Оно ничем не оправдано с моей стороны, и я рад, что по недоразумению Вы его адресовали мне, и таким образом я прочел эти яркие строки, полные такого благородного чувства и такого высокого воображения.

Я его получил на даче. Как раз тогда происходило известное литературное землетрясение. Почва колебалась, и мне делали упреки... как это я ничего не замечаю, продолжаю ходить ровной походкой, не падаю.

Тогда меня убедили переехать в город, чтобы не раздражать... своим пребыванием на лоне природы, как на картинах Мане или Ренуара, в такое (!) время. Я уступил... и переехал в город. Ваше письмо с Вашим обратным адресом осталось на даче с остальными бумагами и частью книг. Отсутствие адреса задерживало мой ответ. Вы будете иметь должное представление о моей догадливости, если я скажу Вам, что только сейчас пришло мне в голову послать Вам это письмо через любезное посредство... через милую Марику Чиковани.

Я предсказывал Симону, что ему попадет потому, что он достаточно талантлив и интересен, чтобы заслуживать проклятия. Так же совершенно неумеренно, чересчур деятельно и успешно пользуется своим умом и вкусом Бесо Жгенти, это безобразие. Судя по Вашим данным, Вас должны были колесовать и, так как Вы сошли живыми с плахи, позвольте теперь задуть Вас в своих объятиях.

Целую Вас и обе руки Нине Осиповне. Она из тех замечательных женщин, в которых очень много определенности, т. е. велика и сильна печать личности и человека, но существенна в ней индивидуальность и гуманность.

Всего лучшего.

Ваш Борис.

1 октября 1956 г.

Дорогие Нина Осиповна и Ладо Гуднашвили!

Благодарю Вас за письмо и бутылку Вашего волшебного вина. Я принял и познакомился с Вашим милым и образованным другом Александром Васильевичем Масхулия.

При воспоминании о Вас, Вашем доме и о том, с каким вкусом и широтой обставляет его Нина Осиповна, Ваш друг сказал, что она продолжает украшать его и в этом отношении пошла еще дальше.

Я так распространяюсь об этом, потому что в моем воспоминании ярко стоят Вы сами, Ваша чудная жена и дочь, Ваша мастерская и Ваша длинная и узкая столовая, а также часть города, прилегающая к Вашему дому и по мере прибли-

жения к Вам и Нине Осиповне все более превращающаяся в кусок живой природы, в парк и сад.

С радостью узнал о Вашей предполагающейся выставке. Вероятно, она вызовет Вас обоих в Москву, и я Вас у себя увижу.

Если Вам, правда, любопытно, что я делаю и чем занят, а также есть время читать длинные вещи, попросите у Нины Александровны Табидзе рукопись... прочтите.

У Нины Александровны попросите, чтобы она меня простила, что не пишу ей, замечательной женщине и лучшему моему другу. Но она и сама, наверное, на меня не сердится и знает, как я занят.

Те же извинения и выражения любви и преданности передайте, пожалуйста, семьям Чиковани и Леонидзе.

Еще раз благодарю Вас.

Ваш Б. Пастернак.

8 марта 1959 г.

Дорогая Чукуртма!

Вы меня взволновали. Нельзя, чтобы это осталось так без следа, чтобы Вам осталось неизвестным, как дороги мне Вы и Ваше отношение. Но я не хочу говорить Вам глупостей, не хочу ничем смешным и неуместным нарушить серьезности Вашей и моей жизни. И, однако, я должен что-то Вам сказать.

Если к тому времени, как я умру, Вы меня еще не забудете и я Вам чем-нибудь еще буду нужен, помните, что я поместил Вас в первом ряду моих лучших друзей и дал Вам право сожалеть обо мне и думать, как очень близкому человеку.

В Вашей жизни будет много радостей помимо моих желаний.

Я Вам желаю еще больше, без конца.

Б. Пастернак.

28 марта 1959 г.

Дорогая Чукуртма!

Мне очень хочется написать Вам, но в Вашем лице я также обращаюсь к Вашим родителям, к Вашему дому, ко всем людям, выделенным мною в Вашем городе, в этот приезд, ко всем дням, проведенным в нем.

Как я однажды сказал, что не могу отделить картин Вашего отца, висящих по стенам, от людей, сидящих под ними вокруг стола, и от жизни, протекающей в этих стенах, так богато и тесно увешанных картинами (точно это деревья в лесу, постепенно разросшиеся), как вечернее освещение комнаты как бы подхватывает и продолжает тепло коричнево-телесных красок, преобладающих в его живописи, так сливаетесь для меня Вы и мама Ваша и Ваше жилище и история и деятельность Вашего отца с тем уголком города, с улицей, где помещается Ваш дом, с узкою и стройной Кашуэти (как бы сделавшей несколько шагов по направлению к Вашей квартире, чтобы Ваш отец рас-

писал ее алтарь) с выходом из-под кипарисов городского сада в узкую улицу, где бывает много тени и на некоторых домах фронтонные украшения над подъездами и окнами.

Внешность места, где Вы были ребенком и работал Ваш отец, давно и в прошлый приезд связались у меня с образом Вашего отца и его особенным миром. Для меня имеет значение какого-то особняком стоящего, необычного начала: лето в городе, как явление, как фактор. Для меня присутствие летнего солнца и летней растительности на городских улицах имеет более волнующее, загадочное и драматическое значение, чем прелесть природы на воле за городом. Как происшествия у чужих, куда сбегаются смотреть и о чем рассказывают, служат напоминанием, что кроме привычек и налаженного течением времени, еще есть жизнь, к которой никогда нельзя привыкнуть и которая никогда не становится вполне знакомой, так действует на меня это явление, это вырастание кипарисов и тополей у изгородей городских летних садов, а тень, которую они бросают за ограду, кажется мне их деятельными проявлениями, их поступками. Вот Вам пример. Вы любите музыку? Для меня больше всего, бездонно много по сравнению с другими сделал в ней Шопен. И я его произвожу не из вздохов и слез, пролитых им в жизни (я не люблю романтизма и слова романтизм), но из особенностей парижской городской жизни тридцатых годов прошлого века, из деревьев парижских бульваров.

И Вы и Ваша семья живете у порога такого садового листовенного вторжения.

Не смею подсказывать, но на месте Вашего отца, в ряду его исторических композиций (как напр. с царицей Тамарой и пр.) с какой-то мерой вольности, которую он допускает в своей фантастической графике, я бы написал полотно маслом, семейную или домашнюю симфонию, где обязательно, вместе с его жизнью, и Вами, и мамой был бы клочок уличной достоверности, с перекрестком и воротами городского сада, с темнотою тени на улице, с кипарисами и Кашуэти. И чем эгоцентричнее и полнее он подчинил бы Вас и маму деревьям и зданиям и вымыслам, чем больше перемешал бы Вас с ними, тем было бы лучше.

При первой возможности я пришлю Вам кое-что из моих работ для чтения. Только это будут переводы, у меня нет ничего своего. Фауста прочтите (не сразу, небольшими частями в свободные минуты) обязательно. Но и в Марии Стюарт — Шиллера, где потрясающее множество опечаток, самых неприличных, часто нарушающих ритм, хороший конец (5-й акт).

Будьте здоровы, милая моя девочка. Желаю от души победы и удачи Вашим мечтам и стремлениям, Вашей гордости, Вашему самолюбию. И поцелуйте, пожалуйста, маму и Вашего легендарного отца.

Ваш Б. Пастернак.

15 января 1960 г.

Дорогие Нина Осиповна, Ладо и Чукуртма!

У меня все хорошо и в видимой и невидимой части жизни. Вещи, ее составляющие, давно переросли ту область, где что-то могут сделать и что-то изменить глупость, влияние случайно-

195940
1110933

сти, сплетня и слепота. Эти силы мне больше не грозят. Моя новая работа сейчас в том состоянии, когда художник начинает любить свой новый замысел и ему кажется, что его медленно развивающееся произведение больше и важнее его самого, что если бы пришлось выбирать и уступать, жить скорее должно оно, а не он. Так было и раньше, когда все было так ясно. Так теперь и с этой новой работой. Но как медленно она подвигается! Как далеко еще до конца. Это будет некоторый отрывок русской истории девятнадцатого века, протяжением лет в шестьдесят, в драматической форме. Насколько она будет сценична, где и когда ее будут играть, меня даже не занимает. Меня подчиняет и держит в своей власти надежда, что это будет своего рода сжатое и напряженное творческое свидетельство подлинности или достоверности внутреннего порядка. Больше ничего мне не надо.

Я бы, наверное, не мог писать эту драму с такой охотой, если бы весь день был мой, если бы я был свободный. Но, по счастью, мне мешает куча посторонних дел и забот, которые я беру на себя, чтобы подделаться под общий тон, чтобы огонь мой оставался моей тайной, чтобы кругом ничего не знали и не замечали.

Я, как Вы сами хорошо знаете, всем сердцем люблю Вас тронх и крепко целую.

Ваш Б. Пастернак.

25 января 1960 г.

Дорогая Чукуртма, милый друг мой!

Почему папа и мама наговорили мне в телеграмме столько трогательного и лестного? Что случилось у Вас дома или что они узнали? Если у Вас есть время, сделайте мне большую услугу, сходите к Нине Александровне Табидзе, но не раскрывайте ей, что Вы это делаете по моей просьбе.

Узнайте, как ее здоровье. Пусть Ал. Ник. скажет Вам правду, что с ней. Потом заведите разговор вот на какую тему. Нина Ал. вообразила что я раздружился с ней, что по какой-то причине я стал к ней относиться хуже и холоднее.

Это невозможно, этого никогда не будет.

Если со своей точки зрения она и вправе этого опасаться, то есть, если сознает, что своим косвенным вмешательством в некоторые стороны моей жизни, в которые она не должна была бы вмешиваться (потому что не имеет о них понятия), она затрудняет мои обстоятельства, и без того не всегда простые, то все равно она меня, может быть, очень огорчит, очень повредит мне, но меня против себя не восстановит. Меня печалит ее предположение, о котором она мне пишет, будто я отказался от своей долгой и постоянной преданности ей и благодарности за ее долгую дружбу. Надо избавить ее от этой ложной мысли. Зачем она думает, что моя жизнь не удалась и мою судьбу следовало бы исправить с помощью ее и некоторых старых знакомых...

Милая Чукуртма, дорогая девочка! Мне опять страшно хочется написать что-то очень сжатое, сильное и серьезное в драматической форме, я сейчас бьюсь над этим и верю, рано или поздно этого достигну. Но сколько души и труда это стоит! Природа этого сумасшествия хорошо известна Вам и Вашей маме, но лучше всего знает ее Ваш замечательный, дорогой и удивительный отец.

Искренне и всем сердцем Ваш

Б. Пастернак.

5 февраля 1960 г.

Дорогая Чукуртма!

...Очень грустно, когда вещи всю жизнь рассматриваются с дружески семейной точки зрения. Кружки, в которых мы состояли в молодости и приобрели имена, не были целой вселенной. Были другие кружки, к которым мы не принадлежали.

Потом пришла войны, и вихрем налетели десятилетия, поглотившие половину наших сверстников и близких... А потом какие-то благодатные силы вплотную придвинули меня к тому миру, где нет ни кружков, ни верности юношеским воспоминаниям, ни юбочных точек зрения, к миру спокойной непредвзятой действительности, к тому миру, где, наконец, впервые тебя взвешивают и подвергают испытанию, почти как на страшном суде, судят и измеряют и отбрасывают или сохраняют; к миру, ко вступлению в который художник готовится всю жизнь и в котором рождается только после смерти, к миру посмертного существования выраженных тобою сил и представлений... Мне не нужно было никому изменять. Все не существовавшее или существовавшее слишком слабо отлипло, отстало, забылось, отпало само собой...

...Извините, что я надоедаю Вам этой темой. Больше я не буду возвращаться к ней.

И не думайте, что произошло что-нибудь внешнее, в форме, доступной глазу. Нет, нет, ничего такого не случилось.

После такого широкого отрицания всех устоев, которые Вы найдете в письме, мне хочется повторить Вам, что я иногда говорил Вам о Вашем доме.

Я не знаю тайн Вашего дома, и мне не нужно их знать. Я не знаю, счастье или горе живет в нем и хорошо ли в жизни Вам или Вашей маме, и в свете того, что я скажу Вам ниже, я не боюсь признаться, что мне это кажется почти несущественным.

Но я люблю Ваш дом потому, что Ваш отец считает естественным долгом каждый день с утра наполнять его делами и движениями своего видящего духа, точно так же, как каждый день обедают, или ночью спят, или зимою отапливают дом печами. Вот за что я люблю Вашу семью, а не за то, что на свете есть дружба или праздничные столы, или тосты. И как часть этого мира я люблю и целую Вас.

Ваш Б. Пастернак.

Б. А.

Кому, как не тебе одной,
Кому, как не тебе единственной,
Такой далекой и родной,
Такой знакомой и таинственной.

А кто на самом деле ты?
Бесплотный эльф? Живая женщина?
С какой надзвездной высоты
Спускаешься и с кем повенчана?

Наверно, в юности моей
Ты в нашу гавань, в шторме яростном,
Причалила из-за морей
И просияла белым парусом.

ХУДОЖНИКИ -- ПОЭТУ



Л. Гуднашвили. «Пушкин в Грузии».



Я каждый раз, когда хочу сундук
мой отпереть...
«Скупой рыцарь»

* * *

В магазине меня обсчитали,
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравненных печалей
Не дарили мне в жизни моей.

В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались,

Хорошо мне изранили тело
И не взяли за то ни копыя,
Безвозмездно мне сердце изъяла
Драгоценная ревность моя,

Клевета расстилала мне сети,
Голубевшие, как бирюза,



К. Гурули.

«Портрет Мужчины».

Наилучшие люди на свете
С царской щедростью лгали в глаза.

Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы
Мне в моих сундуках не беречь.
Не гадал мой даритель лукавый,
Что вручил мне с подарками право
На прямую свободную речь.

22 февраля 1977 г.

* * *

Двор заполонила сорная,
Безнадзорная, узорная,
Подзаборная трава,
Дышит мятой и пасленом,
Шелком шитые зеленым
Простирает рукава.



Г. Очиаури. «Муза».

На дворе трава некошена,
С похорон гостей непрошено,
И бобыль один в избе
Под окошком с крестовиной,
Заплетенным паутиной,
Спит с цыгаркой на губе.

Видит сон про птицу райскую,
Про свою вину хозяйскую
Перед богом и женой,
Про невзбитую подушку,
Непечатую чекушку
И про тот платок цветной.

4 августа 1978 г.



Л. Шенгеля «Муза».

* * *

А как же — Петра отречение,
Что сразу простилось ему?..
Простилось? Пускай! Но значенье
Прощенья того не пойму.
Отрекся... Словами другими —
Не предал ли? В чем — существо?
Отрекся во имя... Во имя..
Не знаю, во имя чего.
Еще до петушьего крика
Отрекся — до пыток и мук,
От светлого божьего лика
Мгновенно, не думая, вдруг.
И это — в вину не вменялось
Ему... Не вменялось в вину,
А время спешило. Менялось.
Стонало. Рыдало. Смеялось.
На плахе. На воле. В плену.
А Петр... Он остался поныне
Хранителем веры живой,
Незыблемым камнем, твердыней,
Оплотом, опорой, главой.

* * *

Терпенье надежды
Безмерно,
Безбрежно оно и отважно,
Порою оно легковерно,
Но не легковесно — что важно..
Бывает, что вдруг обреченно,
Бессильно, в отчаянье странном,
Готово упасть бездыханным —
Но к утру — вздохнет облегченно,
От смутных восстав сновидений,
Живое дитя пробуждений..
И вновь, с очевидностью споря,
Оно утверждает: «А все же»..
Оно ни на что не похоже —
Терпенье надежды..
Быть может,
Сродни лишь предчувствию горя.

Приснилось мне:
Сижу я на полу.
И вот — во сне —
Я завожу юлу.

К чему б оно
Такое? Не пойму!
Но все равно,
Все жму, и жму, и жму.

И все сильнее
Кружит она волчком,
Я перед ней
Молчком —
Лежу ничком.

И завожу.
Вот не было забот!
И все слежу —
Не кончился б завод...

Вступив в игру,
Все кружится кля.
И вновь к добру
Спешит она от зла.

Во сне — без сна —
Я завожу юлу.
Спешит она
От холода к теплу.

Все, что на стенках
Изображено —
Цвета, оттенки —
Все слилось в одно...

Передо мною
Кружится юла
Судьбой земною —
Вот и все дела.

Во сне юла?
Наверно, добрый знак!
Мне хочется,
Чтоб это было так...

* * *

Троп хлесткие прутья,
Гор замкнутый круг...
Разречья,

Распутья,
Как символ разлук.

Но так ли,
По сути,
Задумал их бог?
А, может, распутье —
Сплетенье дорог?

Разречь
Под кручей —
Слияние рек,
Как знак неразлучья
С тобою навек!



Владимир СОКОЛОВ

Надо дать отдохнуть глазам,
Словно дать отдохнуть округе.
Я закрою глаза, а сам
Буду видеть лицо подруги.

Надо дать отдохнуть глазам,
Словно сумеркам в хлопьях белых,
Словно серым стволам, кустам
С палисадниками в пробелах.

Надо дать отдохнуть глазам
И куртинам, и тротуарам,
И карнизам, и голосам
За углом в переулке старом.

Надо дать отдохнуть домам,
Их скамеечкам и оградам,
Окунающимся в туман,
Прибегающим к снегопадам.

Надо дать отдохнуть листам
С желтизною неотвратимой.
Надо дать отдохнуть глазам,
Как родному лицу любимой.

Так смежить их, в такую тьму
Беззаветно и безоглядно,
Словно дать отдохнуть всему,
Что так мило и ненаглядно.



* * *

Вот уже и зима, а меня не позвали
На пустой перекресток, в садовую глушь.
Не окликнули даже ночные трамваи,
Отражаясь в дрожанье нечаянных луж.

Я пошел бы на зов в самом снежном завале,
Вышел в самый зальдевший запутанный путь,
Вот уже и зима, а меня не позвали,
Чтобы новое слово тихонько шепнуть.

* * *

Сырое зеленое небо.
Сугробы зеленые тож.
Прозрачно зеленое утро.
Деревьев незримая дрожь.
Как все это тихо и мудро.
Снежинки слегка мельтешат.
Осеннее раннее утро.
И люди куда-то спешат.

КАРТИНА (ВАЛЬС)

М. Р.

Вот — замок, цветы и оркестр.
И усадьба.

Извечный сюжет.
Картина. Картинка.
Там вечная свадьба..
Там вечный сонет.

Там нет ни гармоника и ни гитары.
Забывтого нет.
Там вечно кружатся красивые пары...
Кружится багет.

Пусть не было замка, цветов
и оркестра.
И право же — не беда,
Что не были мы женихом
и невестой
С тобой никогда.

* * *

Замело заледенелость
На тропинках у домов.
Только чья же это смелость —
Ранним утром, тьма следов.

В ранней сини, в ранней дымке
Тают в тающей дали...
Словно это невидимки
По делам своим прошли.

Так и мнится, что снегами,
Покрывающими льды,
Сами вдруг перед шагами
Появляются следы.

* * *

Растаяло. Все стало грязным.
Машинам ехать тяжело
По этим кочкам непролазным.
А было так белым-бело.

Да и проходим просто грустно
На эту невидаль глядеть.
Клянут и молча, и изустно
И не хотят такого впредь.

Одна лишь души мучит малость:
Вдруг снова заморозь найдет —
И все, что так иль сяк мешалось,
В один собьется гололед?

* * *

Мальчишка с глазами искателя
Застыл, не дойдя до угла —
Там птица на ветке из капелек,
Как первый градус тепла.

Как нечто громоподобное,
Для мальчика звук возник —
Ликующее, бесподобное,
Чуть слышное «чик-чирик».



06.1935920

2025000000000



С. Кобуладзе. «Портрет Пушкина».

КОГДА ЗАПЕВАЕТ БОР

Когда под лучами солнца
в подлеске трещит роса,
а в кронах синичьих бьется,
свища на все голоса,
как Мстера течет с Мещерой
щебечущий размахай, —
что это, не пенье ль бора? —
нет, это ликует май.

Когда корабельным строем
сосновый скрипит народ,
и волны бегут по хвоям
и валят верхи вразмет,
и валятся шишки оземь,
и шум с поднебесных бездн, —
что это, не пенье ль сосен? —
нет, это еще не песнь.

Когда ж частокол скрипучий
поствольно в снегах зажат,
и тучи листвы колючей
на утреннике дрожат,
когда не поют и птицы,
когда, как топор, остер
мороз-колотун дымится, —
тогда запевае бор.

Мы сосны, но мы как люди
стеною встаем живой,
суками — руками — грудью —
порукою круговой,
и если нас точит стужа
пилою и топором,
мы тянем струну все туже,
нас валят — а мы поем.

Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вынянчивать в колыбели
мелодию в холода,
и слаженней нет артели:
пошатываясь едва,
вынянчивать в колыбели
и музыку, и слова.

А за полночь на мгновенье,
как весть, по ветвям пройдет

не шелест, не дуновенье,
но трепет, как будто Тот,
Кто в дебрях провеял белых
каким-то предвечным сном,
дыханьем своим одел их
в безветрии ледяном.



1979

БАЛЛАДА

— Привезли листовое железо.
— Кто привез? — Да какой-то мужик.
— Кто такой? — А спроси живореза.
— Сколько хочет? — Да бабу на штык.
— И хорош? — Хром на оба протеза.
А язык пулемет. Фронтовик.
— Да пошел... —

— Привезли рубероид.
Изразцы привезли и горбыль.
— А не много? — Да щели прикроет.
Ты вдова, говорит, я бобыль. —
А глазами так и буровит.
— Ну-ка, дьявол, держись за костыль,
а не то..! —

— Привезли черепицу.
— Убирайся! — Задаром отдам.
Разреши, говорит, притулиться
инвалиду ко вдовым ногам.
Я не евнух, и ты не девица,
ан поладим с грехом пополам.

• • • • •
Дом стоит. Черепица на крыше.
В доме печь: изразец к изразцу.
Кот на ходиках: слушайте, мыши.
Сел малыш на колени к отцу.
А дымок над трубою все выше,
выше, выше — и сказка к концу.

Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? — Как бы не так! —
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака — и воет во мрак.

И прости! И попутного форта!
Сам ты в темные воды отплыл.
И зияет двухдулая карта
со свищем где-то возле Курил...

1979

И кафель и паркет — а где уют?
 дома, дома — но я не о жилищах,
 мы строим их — они нас создают, —
 вот я о чем — о доме, церкви нищих,
 о доме как семейном очаге,
 а он* один, и — хорошо ли, худо —
 в каком бы ни носило далеке,
 я никогда не уезжал отсюда;
 вот ваня-мокрый в банке у окна,
 замазка и висячие бутылки
 под окнами и в глубине видна
 недужная сирень. — и мы любили! —
 вот двор с конюшней — как же, узнаю, —
 а дальше сад — но до другого раза;
 что главное? — не впасть как в колею
 в чужую интонацию рассказа,
 в повествование; получил на днях
 письмо я от профессора Адмони,
 в котором он на дружеских правах
 мне пишет, что находит общность в тоне,
 хотя повествовательность меня
 и заедает — вот она, забота! —
 люблю я ленинградцев — мы родня:
 у них болота, и у нас болота,
 хотя, как знать, не в пику ль нам взошли
 из той же зыби, из того же теста —
 и Медный конь и Пузыри земли,
 Кунст-камера, Шалаш, Адмиралтейство;
 завидую собрату: в этот час
 он гоголем шатается вдоль Мойки,
 а у меня, увы, не тот пейзаж:
 сарай, огороды да помойки,
 но есть прогресс, однако, и у нас:
 бывало, мы дровами печь топили,
 теперь гудит за изразцами газ,
 и что же? — ни поэзии, ни пыли,
 зато тепло и, сев к колоснику,
 взгрустнул бы, вспоминая про поленья,
 да не к лицу грустить, как барчуку,
 интеллигенту в первом поколеньи
 или, как Слуцкий говорит, полу-
 интеллигенту, родом из Посада,
 который мог бы развести пилу,
 а мог бы и чернила — да не надо,
 поскольку газ, а перейди порог —
 и школьные товары по-соседству,
 где вот он, вот — заветный пузырек,
 и — нежный дух... и, повернувшись к детству,
 острее зренья — погрузи перо,

как в реку шланг и знай кропи тетрадки
живой водой, и возвращай добро —
сравнение продолжу — как на грядке
редиску, а она во сне растет,
как красны девки, белая как бабы...
о чем я, дай бог память?—да, так вот:
не все ж от печки танцевать, пора бы
от батарей, что ли, но какой,
какой арап возвел коробки зданий
взамен домов и обозначил строй? —
нет, не творцы мы наших начинаний,
все под копирку, все как у людей:
упадок дел и оскуденье мысли,
подъем труда и шахматных идей,
и так вся жизнь на ветхом коромысле,
вся эта новизна...

ЗИМОЙ В ТБИЛИСИ

Иностранная речь всего лучше, если
Не понятно ни слова; тогда нисколько
Не мешает она; утопая в кресле,
На нее обращаю внимање только
Как на шум посторонний, допустим, птичий;
Впрочем, птицы, оставив свои корзины
На ветвях, улетели; зато обычно
В большинстве своем — дома зимой грузины.

Я за несколько дней, что живу здесь, понял,
До чего мы угрюмы в сравнении с ними.
В моем номере тесном диван — в попоне
С кисточками нитяными, смешными.

Город, я бы сказал, кое-где уклончив,
Кое в чем уступчив; на третьи сутки
Я заметил: иду — напеваю, точно
В моем горле очнулись рожки и дудки.

Я приехал к шапочному разбору.
Все поэтами вытоптано другими.
Мне писать о Грузии — словно к хору
Прислонять свой голос, сливаясь с ними.

Я не думаю, чтобы мой случай редким
Был; живешь и живешь, а потом метаться
Начинаешь; грудной не хватает клетке
Воздуха — и не знаешь, куда податься?

Умереть под пальмой грузинской чахлой
Приблизительно так же, как под забором,
Соблазнительно; в виде грузинки дряхлой
Под накидкой — смерть предстает пред взором.
Ничего старушка, да мы на разных
Говорим языках: не поймет, отпустит.
Эх, Тбилиси, лестниц веерообразных,
Красных крыш столичное захолустье!

Прислониться к чужому гнезду, втереться,
Присоединиться к жизни; на бланках, пачках
По-грузински читать; успокоить сердце
И посвистывать, как этот малый в бачках.

* * *

Я в Грузии. Я никого не знаю.
Чужая речь. Обычаи чужие.
Как будто жизнь моя загнулась с краю,
Как будто сплю — и вижу голубые

Холмы. Гуляет по двору сорока.
Когда б я знал, зачем, забыв гнездовье,
Ума искать и ездить так далеко,
Как певчая говаривала Софья.



Ах, видишь ли, мне нравится балкончик,
Такой балкончик, длинный, деревянный.
Прости меня, что так ответ уклончив,
Как этот выступ улочки гортанной,
Не унывай. Ведь то, что с нами было,
Не веселей того, что с нами будет.
Ах, видишь ли, мне нравятся перила,
А все хотят, чтоб здания и люди.

Само собой, и здания, и люди!
Но погибать я буду — за балкончик
Я ухвачусь — и выскочу из жути,
И вытру пыль, и скомкаю платочек.
Меня любовь держала — обвалилась.
Всех тянет вниз, так не сдавайся ты хоть,
Ах, Грузия, ты в этой жизни — милость,
Пристройка к ней, прибежище и прихоть!

ГРУЗИНСКАЯ РЕЧЬ

Речь грузинская где-то глубоко в горле
Зарождается, словно орлиный клетот.
Камни, речку, бегущую с гор, затерли.
Есть ли смысл в этой пенной и хриплой склоке?

Есть, да мы им, неловкие, не владеем.
В этом вспененном тоне водовороте.
Это мы свою речь на губах лелеем
И зубах, а у них — вся гортань в работе.

Но когда мы вблизи толчен и схватки,
Оглушенные, топчемся скромно с края,
Вдруг — стремительной мимики мостик шаткий
Возникает, над пропастью провисая.

СОН О ГРУЗИИ

Это море с его покровом
Малахитовым, бирюзовым.
Это Грузия под крылом,
Словно гурия в голубом
И лиловом.

Это жизнь не моя — другая.
Это клетчатый, засыпая,
Мну и в складки сбиваю плед,
Глажу, что-то ищу в нем с края.
Может, Грузии вовсе нет.

Может, Грузия только снится?
У России в глазу ресница
Подвернулась — и сквозь туман
Вереница
Гор заполнила дальний план?

Может, Грузия только фраза
О граненых снегах Кавказа?

Может, Грузия не страна,
А метафора? Как турбаза,
За ночь свернута, снесена?

Может, Грузии винный воздух
Все хмельней?
Ты хотел к ней прижаться? Поздно!
Может, Грузия ближе к звездам,
Чем к земле, и рассталась с ней?



Л. Замбахидзе. «Пушкин в Тбилиси».

* * *

Солнце начинает накаляться,
Полдень вызревает постепенно.
Рядом с улицею Николадзе
Есть в Тбилиси улица Родена.

Старые терраски и балконы,
Новые вместительные здания.
Постигает мир многооконный
Родственных названий сочетание.

Имена ваятелей на стенах,
Отзвуки воспоминаний давних...
Николадзе — ученик Родена.
Гостем будь, почтеннейший наставник!

Благодарной верности примета —
Уличные скромные таблички.
Сколько вкуса, доброты и света
В непрестанной этой переключке.

Вечное грузинское радушьё,
Щедрое и мудрое наследство.
Скоростное время не разрушит
Двух имен достойное соседство.

Двух кварталов близкие названия,
Вписаны в пространство городское,
Праздничные, словно изваянья,
Созданные памятью людскою.

Здесь, у друга своего бывая,
С ним блуждая по булыжным спускам,
Новые широты открываю
В переулке перевозданно узком.

Старых крон струящаяся крыша
Осеняет эти тротуары.
Схожие с платанами Парижа,
Шепчутся тбилисские чинары.



М. Кахидзе. «Пушкин в Тбилиси».

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ

*«Все дал этому человеку бог, а совесть велел приоб-
рести в земной своей, обыденной жизни».*

Из частной, столетней давности, переписки.

ЖИВУЛЬКА

Сведения о допенсионной жизни Николая Петровича Симанова у меня весьма скудные, почти анкетные. Знаю, что на цирковой манеж он пришел из любительского спорта. Было тогда Симакову 20 лет. Знаю, что последующие 18 лет он развлекал и удивлял цирковую публику, «играя» штангой и гириями, а затем, трезво оценив перспективу, — возраст и жанр — главные факторы, — попросился на курсы административных работников, по окончании которых стал директором передвижки. Без малого 9 лет колесил Николай Петрович по стране, — где только не побывала его передвижка, — и занимался бы этим делом до сих пор, если бы... С утра был только насморк, головная боль, ломота в костях, озноб, но день выдался трудный: на пустыре у городского парка уже завершали установку шашито, на железнодорожную станцию прибыл вагон с реквизитом и аппаратурой иллюзиониста, уже... да мало ли дел у директора передвижки, когда до начала представления осталось всего 70 часов. Ни минуты свободной, не то что болеть, и дыхнуть некогда. Из больницы он вышел на костылях. Что он пережил тогда — не знаю, не было у нас об этом разговора, было только сказано: «В сорок девять лет на пенсию — с ума сойти можно». И это все — без продолжения. И ни слова о том, почему он бросил якорь в нашем городе. Возможно, потому, что у нас есть стационарный цирк? Возможно.

Теперь Николаю Петровичу 52 года, но выглядит он лет на десять старше, из-за веса, — 115 кг., — ему теперь уже совсем трудно передвигаться на костылях, он больше сидит дома, один сидит, поскольку вдов и бездетен, и гонит, гонит чай. Чаехлеб он отчаянный и, надо сказать, знает толк в этом напитке и умеет его приготовить, в чем я, как ближайший сосед Николая Петровича, — наши квартиры на одной лестничной площадке, дверь в дверь, — не раз убеждался.

На кухню, где идет приготовление чая, Николай Петрович меня обычно не пускает, я сижу в комнате и терпеливо жду,

пока чай настоится, пока дойдет до кондиции. А чтобы я не скучал, Николай Петрович кладет передо мной альбом с фотографиями цирковых артистов. Альбомов этих у него много, и количество их все растет — Николай Петрович сам их изготавливает. Не желая обижать хозяина, я делаю вид, что мне очень интересно разглядывать эти фото, хотя, если честно... В последний раз я был в цирке лет 30 тому назад — пишу об этом с горечью, понимая, что я многое и безвозвратно потерял, но возбудить в себе сейчас интерес к цирку выше моих сил. Иногда Николай Петрович рассказывает о людях, изображенных на фото, что-нибудь забавное, но не настолько... Ситуация, в общем, ясна, и много говорить о ней нет нужды.

И на этот раз мне был предложен новый альбом, огромный, тяжелый и, как прежние, ничем не заинтересовавший. Поначалу. Но вот на пятой или шестой странице большое цветное фото... Я даже не сразу понял, чем меня привлек портрет незнакомого. На нем традиционный четырехцветный клоунский костюм, рыжий парик, размалеванная, как абстрактная картинка, физия и огненно-рыжий, с малиновым гребешком, петух на плече. Того и гляди, закукарекает цирковой Петька. Сила! Но не это же... И тут я понял: глаза. Глаза клоуна, единственно живые на мертвой, неподвижной маске, в которую клоун превратил свое лицо, — настолько живые, что я даже пожегился, так внимательно, с таким интересом смотрели они на меня. «А фото с фокусом», — подумал я и, так как не склонен к мистике, хотел уже перевернуть смутившую меня страницу, но тут вошел хозяин, глянул из-за моего плеча и сказал:

— Из клоунов клоун. — Николай Петрович назвал ничего не говорившую мне фамилию и, заметив это, явно опечалился. — Громкая была фамилия. На весь Союз. Ну, а для меня он дядя Леша. Поскольку многие годы рядом. И всегда с восторгом. Да разве я один — люблю публику в лежку. Двадцать лет на манеже, и всегда гвоздь программы.

Некоторое время Николай Петрович, стоя за моей спиной и подавленно, — чтобы я не услышал, — вздыхая, разглядывал фотографию клоуна с петухом. Он клоуна, а клоун меня. Мне это было неприятно, и я сказал первое, что — пришло на язык (вот именно на язык, не на ум же).

— Красивый петух.

Николай Петрович вздохнул, теперь уже открыто, затем обошел стол и, приставив костыли к спинке стула, сел напротив меня:

— В натуре, помню, еще красивее был.

— Цирковой?

— Да нет, супный, — улыбнулся Николай Петрович. — Купили мы его утром на базаре. Для супа купили. Квартирная хозяйка сказала: «Принесите петуха, только не очень старого, а я лапшу домашнюю приготовлю». По дороге с базара зашли мы на минутку в цирк, у дядя Леша дело было, а там фотограф из управления орудует, как раз рекламу обновляли. Вот дядя Леша и снялся с петухом на плече. И смотрите, какой снимок получился.

— А я думал, он дрессированный.

Николаю Петровичу не очень понравилась эта моя репли-

на, и он сказал, правда, не совсем определенно, что петухов не дрессируют, не слышал он о дрессированных петухах, но, будь такая возможность, дядя Леша сделал бы из рыжего Петюки такого артиста...

— У дяди Леша, знаете, белая мышь была, Живулька. Я, по правде говоря, к мелким животным не очень. Одно дело слон или лошадь на манеже, а другое морская свинка или мышь. Но Живулька эта, ну просто прелесть. Принесу ей что-нибудь вкусненькое, а она лапками, — ну, просто человечьями, пятипалыми лапками, — аккуратненько так к ролику угощение и так по-человечьи аккуратненько ест и с благодарностью поглядывает на тебя розовыми своими глазками. Одно удовольствие на нее в такие минуты смотреть. Дядя Леша Живульку всяким уморительным штукам научил и уже собирался ее на манеж выводить, да не судьба...

...До сорока двух лет ходил дядя Леша, король цирка, в холостяках, а в сорок два, считай, в сорок два с половиной, когда передвижка работала в небольшом, но знаменитом приморском городке, взял да и влюбился. В прекрасную даму. В замужнюю. В мать двух детей. Нет, не из цирковых, — из библиотечных работников. В старину прекрасная дама могла бы называться профессоршей — муж ее изучал жизнь рыб и много достиг в своей науке. Но она была сама по себе, наша дама, очень сама по себе, — сама занимала должность не то старшего, не то главного библиографа, и на столе у нее лежала уже на две трети готовая кандидатская с дальним и верным прицелом. В общем-то, была во всех отношениях замечательная дама, и Николай Петрович, излагая мне этот роман, несколько раз назвал героиню Королевой: Да как же иначе он мог назвать возлюбленную Короля? Николай Петрович нарисовал любовь взаимную, сулящую счастье и Королю и Королеве, но... жизнь есть жизнь, говорят в таких случаях многоопытные, знающие люди. У прекрасной Королевы семья, — муж, дети, старенькая мама, — положение в обществе, чувство долга. У прекрасной Королевы самоанализ, взвешивание всех «за» и «против», а отсюда страх перед неизбежными потерями и весьма неясными перспективами. А Король, тот и вовсе впал в отчаяние: квартирохозяйка, добрая старушка, однажды ночью хотела скорую вызвать — бегают человек по комнате, сам что-то невнятное бормочет, а что ему говорят, не слышит и, того гляди, начнет головой об стену биться. Положение влюбленного циркача осложнялось еще тем, что передвижку передвинули, а самого клоуна перевели в другую программу. Он вымолил отпуск, который еще задолго до любовного пожара был запланирован на другое время, и остался в городе у моря ждать (чуть перо само не вывело «ждать хорошей погоды», которую согласно пословице неудачники и несчастливцы всегда ждут именно у моря). И дождался. Королева, наконец, сказала «да». Решили так: он приобретает билеты на теплоход — отчалить, поскорее отчалить от этого берега и в открытое море, и там начать новую жизнь. Из отпускных дней у Короля цирка осталось только двенадцать, но Королеве понадобился еще день, чтобы уладить кое-какие домашние дела — старенькая мама и двое ребят, правда, уже не маленьких, но все же, и хорошо еще, что муж на каком-то симпозиуме, она ему ос-

тавит письмо. Король взял с Королевы слово, что она придет к нему завтра вечером, накануне дня отплытия — ровно в 8 он будет ждать ее на углу Феодосийской и Сеченова.

В половине восьмого, когда в комнате был наведен ^{неви} данный порядок — еще бы, ведь любимая впервые войдет в этот «шалаш», — а сам Король уже был в полном параде — двадцать минут, не меньше, только брился-молодился, — он вдруг встревожился: «А Живулька?». Многие женщины панически боятся мышей, а он так и не успел сказать любимой о Живульке. А что, если и любимая?.. Он отчетливо представил себе, что может произойти, ведь Живулька такая общительная. Что-то надо придумать. Но это потом — любимая уже, наверное, ждет на углу Феодосийской и Сеченова, — потом. Он хотел сказать Живульке «извини», но не сказал, язык не повернулся, и потому все сделал молча — за шкуру и в ящик письменного стола, а ключ от ящика в карман.

Свихнулся человек от любви, не иначе.

Утром, когда прекрасная Королева еще спала и видела прекрасные сны, Король — на цыпочках к столу, открыл ящик и обмер: билеты на теплоход и все деньги — и те, отпускные, и те, что ввиду чрезвычайных обстоятельств занял у друзей, — Живулька изгрызла. С обиды на дядю Лешу. А может, из ревности к разлучнице.

Судя по тому, что Живульку, продолжая, а вернее, заканчивая свой рассказ, Николай Петрович больше не упомянул, ее поступок не сыграл сколько-нибудь заметной роли в дальнейшей жизни дяди Леша. И тем более решающей, роковой. Рок тут действовал напрямую — не через мышшь, а через женщину. (В этой части рассказа Николай Петрович больше не титуловал ее Королевой, не называл ее прекрасной дамой, а называл просто женщиной и уж, конечно, не с большой буквы, а наоборот, с уничижающе-уменьшенной). Через год с чем-то женщина вернулась к своему первому мужу, профессору, изучающему жизнь рыб, а дядя Леша, который ради нее в расцвете творческих сил, когда он вот-вот стал бы обладателем Золотой Маски Грока, бросил цирк (я женщина оседлая, — сразу заявила она, — путешествовать, пожалуйста, бродяжничать — никогда) и застрял в том приморском городе, где по сей день руководит самодеятельным эстрадным коллективом клуба пиццевиков. Говорят, его ребята получили несколько премий на каких-то конкурсах, что вполне возможно — дядя Леша работник добросовестный, и все-таки эстрада, и к тому же самодеятельная, не его призвание.

...Дома я раскрыл на чистой странице тетрадь, чтобы записать рассказ Николая Петровича Симакова о странностях любви, — такое желание у меня возникло, когда я слушал соседа, но вот сел за рабочий стол, и желание это сразу исчезло. Даже на таком небольшом отдалении — всего час прошел, — история, рассказанная мне бывшим циркачом, как-то потускнела, посерела, что ли. Вот именно посерела. И что самое главное — я вдруг понял, что мне очень и очень не по душе ВСЕ участники ее — и женщина, которая не любит мышшь, и мышшь, которая невзлюбила женщину, и клоун, который занер мышшь в ящик стола... Возможно, конечно, я не очень

справедлив, подумал я, но как раз в этот момент спохватился: почему же я не спросил Николая Петровича о дальнейшей судьбе Живульки? Почему? Впрочем, тут и спрашивать нечего и так ясно, что несчастную ревнивицу просто-напросто угробили. Хороши! Нечего сказать — все хороши! Рыжего Петьку в суп, а Живульку — кошке! Жаль, разумеется, мышь, да ведь и она виновата, — сердито подумал я (не знаю, не знаю, у кого теперь просить прощения за это), а рука тем временем сама, ей-богу, сама, без спроса, без приказа вывела на чистой странице, по диагонали, с левого нижнего угла в правый верхний — совсем не сердитые, нисколько не сердитые слова:

«Эх, Живулька, Живулька, и ты, глупенькая, туда же...»

Перечитал я эту запись дважды, махнул рукой и захлопнул тетрадь.

Напрасно потраченные слова, зря потраченная бумага.

Ну, а если все-таки не зря, если все-таки не напрасно? Ведь бывает же... Да и что говорить — и не такое еще бывает на белом свете.

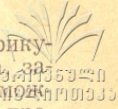
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ РАССКАЗ ДЖЕМАЛА

«...выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?»

А. С. Пушкин «Выстрел»

...Джемал окапывает деревья, старательно окапывает, аккуратно, но с такой заданной, рассчитанной медлительностью, будто решил на недели и месяцы растянуть это удовольствие. Одно окопает, полюбуется своей работой, лопату в сторону и перекур. Кейф. Минут на десять, а вернее, ровно на столько, чтобы выкурить самокрутку из тонко нарезанного здешнего табака — покупных, машинной сработанных сигарет и папирос Джемал не курит, даже если его угощают, — и ровно на столько, чтобы, покуривая, рассказать мне, или другому охотнику до всяких былей и небылиц, очередную историю. Очередную и не совсем очередную, — потому что Джемал никогда не повторяется, нет у него стремления попасть в «струю», выдать что-нибудь на тему, уже прежде предложенную, заведенную им самим или его слушателями. Каждый новый рассказ Джемала ничем не продолжает предыдущий и никак потом не стыкуется с последующим: там, где у его короткого рассказа должно быть начало, — там, действительно, начало, а там, где у его короткого рассказа конец, — там, действительно, конец, такой конец, окончательней которого не бывает.

Вы, конечно, заметили, что я как-то особо подчеркиваю краткость джемаловских произведений. Скажу больше — они такие короткие, что в них легко, не прибегая к бумаге или к счетной машинке, сосчитать не только слова, но и буквы. Пока извлекается кисет с табаком и курительной бумагой и пока отмеряется порция темно-коричневых лапшинок, выдается нагору первая треть рассказа, так сказать, вступление и завязка. Уходит на это слов пятнадцать-двадцать. Затем перерыв на то,



чтобы лизнуть край курительной бумажки, склеить ее и прикурить от сигареты слушателя или от своей зажигалки (а она, за жигалка эта, почти музейная, сделана из винтовочного, военного, но даже стреляного, в бою стреляного, красноватого с прозеленью, патрона — прозелень эта у гильзы, как у нас с вами седина, отметка времени, его, ушедшего времени, печать). Ну, а затем глубокая затыжка — пауза, и пых-пых — Джемал выпускает дым. И это тоже пауза. И снова пятнадцать-двадцать слов, и опять затыжка и пых-пых. И вот уже конец истории. Да, да, конец, даже если это не рассказ и не повесть, а целый роман. Потом, когда я в своей комнате записываю услышанное от Джемала, у меня получается длинней, и, в чем я убежден, значительно хуже. Но тут уж ничего не поделаешь.

Этот, двадцать третий по счету, рассказ Джемала я записал тогда так:

...Человек тот, которого Джемал назвал Георгием, жил в Батуми, на одной из старых улочек в районе порта. У отца с матерью жил, в большой, дружной и в ту пору еще вполне благополучной семье. Словом, все у него было, что бывает в счастливой, ничем не омраченной юности: интересная, многообещающая работа, хорошие парни-друзья и хорошие девушки-подруги, а одну из них он так полюбил, что назвал невестой, и плотники уже готовили во дворе отцовского дома свадебные шатры. Вот тут и пришла беда: самый близкий из друзей, с детства, со школьной скамьи друг, которого Георгий любил, как родного брата, продал, предал, оболгал, оклеветал его.

Этот человек — Джемал назвал его Василием — еще и надсмеялся над растоптанным Георгием, женившись через год после предательства на его бывшей невесте.

Георгий, понятно, не клялся, что отомстит своему бывшему другу, какие для этого нужны клятвы...

Десять лет — это и много и мало. Если человек счастлив — это одновременно вечность и миг, а если человек несчастлив, если он не на свободе... Понимаете? (Это «понимаете» — Джемала слово. Он спросил, а я подтвердил. — «Понимаю»). С горечью, отравляющей кровь, с нетерпением мучительным, как нескончаемая пытка, считал Георгий минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы — и каждый миг был тогда слишком дорогим, разорительно щедрым подарком человеку, который, совершив предательство, уже и секунды не должен был жить на свете.

Георгий так свыкся с мечтой о мести, что иногда словно наяву виделся ему час возмездия. И вот они прошли, эти десять лет, эти три тысячи шестьсот дней, невольных подаренных врагу, и настал, наконец настал, вожделенный час.

Георгий, как вы уже знаете, не раз и не два представлял себе, как это все произойдет: он войдет к предателю утром (то будет яркое солнечное, праздничное утро), направит на него дая наган и скажет: «Я пришел убить тебя», а тот поблдеет, падет на колени, взмолится: «Не убивай». Но грянет выстрел. Грянет.

Вначале было почти все так, как мечталось: праздничное утро было, солнечное, прекрасное весеннее утро, и револьвер был направлен на предателя, и Георгий произнес свои раскаленные на десятилетнем огне слова: «Я пришел убить тебя».

0619350410
30250010933

Но Василий почему-то не побледнел и не заплакал, а сказал, глядя Георгию в глаза:

— Если можешь, прости меня, Георгий. Если можешь!

И все это он так тихо сказал, так спокойно, так обыденно, словно просил о каком-то пустяковом одолжении. И Георгий ответил ему тоже тихим, обыденным голосом:

— Не могу я тебя простить, Василий. Не могу, — сказал Георгий. И грянул выстрел. И упал Георгий. Но только не вперед упал неумолимый мститель, а назад, на спину.

— Вот так он выстрелил, — сказал Джемал и, приложив два пальца к своему виску, щелкнул ими. Громко щелкнул, а может, мне только показалось, что громко, но я вздрогнул и у меня сразу начали холодеть сердце, руки, ноги, грудь, щеки — будто и я, одновременно с Георгием, выстрелил. В себя. В себя, а надо было... Да, надо было, но уже спущен курок. — поздно. После выстрела, после такого выстрела — умирают. И я умер. Тогда умер, и вот до сих пор, хотя почти два года прошло, все не могу понять, как, почему и для чего я через мгновение после смерти воскрес.

ПАМЯТНИК НЕВЕСТЕ

Снайпер Полина Гридасова погибла 8 февраля 1942 года, ровно за десять дней до своего восемнадцатилетия. 18 февраля 1979 года день рождения — пятидесятипятилетие — Полины Гридасовой торжественно отметили в школе, которую Полина покинула в первую военную зиму, сказав на прощание подругам: «Отвоюю и снова за парту». Ученики 8-го «А» класса внесли предложение установить на школьном дворе памятник Полине Гридасовой. Одна девочка, правда, сказала: «Памятник — это очень дорого». С ней не стали спорить, а просто решили: «Будет памятник. И это ничего, что дорого, не маленькие, зарабатываем, сколько нужно». И заработали: младшие собрали рекордное для этой школы количество металлолома и макулатуры, а старшие проработали все лето на совхозных полях и на строительстве консервного завода. И учителя внесли свою лепту, и родители. Собралась значительная сумма, и можно было начать переговоры со скульптором и архитектором, но тут у ребят возникла идея провести сначала внутришкольный конкурс на проект памятника. Около сорока проектов представили ребята на суд двух жюри — жюри самих школьников и жюри родительско-учительского. Это «взрослое» жюри собрал в своем кабинете молодой, очень увлекшийся этим делом, директор школы.

На большом полированном столе — папки с рисунками ребят. Почти все участники конкурса, а особенно мальчики из младших классов изобразили Полину в военной форме, с оружием, — снайперской винтовкой — в руках. И только на одном рисунке, автором которого был тринадцатилетний Гриша Андреев, снайпер Полина Гридасова была изображена иначе: ее, в подвенечном наряде — фата, длинное белое платье, — художник поставил на овальное возвышение — пьедестал, а у ног

ее нарисовал коленопреклоненного мужчину, лицом и одеждой — на нем был комбинезон, а это одежда и танкиста, и десантника, и летчика, и тракториста-пахаря, и токаря, и сталевара — похуже одновременно и на солдата и на мирного труженника. Весь его облик, — опущенные плечи и низко склоненная голова, — говорили о том, что мужчина преклонил колено перед невестой (которая так и не стала ничьей женой, ничьей матерью) с чувством большой вины. И не только своей, а вины всех, во все времена живших на земле и ныне живущих на ней мужчин, за то, что не уберегли они ее, юную невесту, от военной смерти, и еще большей вины за то что не уберегли ее, девушку, от необходимости убивать.

Рисунок этот произвел сильное впечатление на членов жюри и они попросили директора познакомить их с автором этого проекта памятника погибшему в бою снайперу. И несмотря на то, что был он, Гриша Андреев, с виду мальчик как мальчик, — и рост его вполне соответствовал годам, не то что у акселератов, и разговаривал он так, как обычно разговаривают со взрослыми мальчики его лет — некоторым членам жюри виделся он не мальчиком, а Мужем, — в том стародавнем смысле этого слова «Муж», говорящем не столько о возрасте (или вернее, не только о возрасте) человека, сколько о достоинствах его ума и сердца. Перед жюри стоял несомненно Мудрый Человек, с мудрым, пронизательным сердцем.

— Ну, как вам наш Андреев? — явно гордясь своим учеником, спросил молодой директор школы, когда художник был отпущен на урок.

Ответили члены жюри не сразу, много хотелось им сказать об Андрееве, но подумать все же надо: как бы не перехвалить — непедагогично, и как бы недохвалить — совестно. Только Фаина Петровна Дятлова, сравнительно молодая еще, но весьма и весьма строгая, сорокапятилетняя бабушка прелестной, смешливой, озорной, беспечной, доверчивой второклассницы Зиночки, сказала сразу, о педагогике, понятно, не думая, сказала то, что, видимо, не могла не сказать:

— Вот бы моей внучке такого жениха.

ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ

Сорок второй год, февраль, Крымский фронт, хутор Алибай. Я в отряде «спешенных» моряков. Ужин в оставленной хуторянами хате. Стол покрыт белоснежной накрахмаленной скатертью, салфетки в кольцах, словом некое подобие корабельной кают-компании (скатерти, салфетки, кольца — все это сняли они с разбитого своего эсминца). Хозяин стола — благовоспитанный, лет 26-ти, капитан-лейтенант, командир этого разведподразделения. Очень красивый, лицо молодого Блока. И сам, возможно, стихотворец. Во всяком случае любитель поэзии — прочитал нам по памяти, и недурно прочитал, Кишлинга и Тихонова. Выпили по две рюмки — норма. Потом пели под гитару. Играла на гитаре девушка лет 19-ти, блондинка с рыжеватыми веснушками на симпатичном личике. Наком-то еще очень детском личике. Играла и пела она

хорошо, мы ей аплодировали, а капитан-лейтенант несколько раз поднимался со своего хозяйского места и, склонив кудрявую блоковскую голову, галантно целовал ей руку, вернее кончики пальцев. И этому мы тоже аплодировали. Хорошо мне было за тем столом — светло, чисто. И когда сосед, лейтенант, шепнул мне доверительно: «Валька эта пэпэже нашего командира», я сердито оборвал шептуна: «Да ну вас». В 11 встали из-за стола. В 12 командир с группой в 15 человек ушел на задание. Вернулись они в 5 утра. Потеряли почти половину. Полная неудача. Погибла и Валя. А вечером опять ужин в саманной степной «кают-компани». Водка на этот раз не по норме. Командир, слетка захмелев, рассказал о ходе ночного дела. И между прочим о гибели своей «пэпэже»: «...сиську у нее оторвало. Левую. Шикарные у нее были сиськи — было за что держаться, когда я ее...» И уже со всеми подробностями, со смешком и под смешки собутыльников о том, как он ее... У меня было желание застрелить красавца. Мой друг, фотокор Л. Я. увел меня: «Этого еще не хватало». Через несколько дней капитан-лейтенант погиб. В остатках командирского кителя нашли фотокарточку Вали с ее застенчивой надписью и его припиской: «Точка! Никого так не любил и не полюблю».

Господи, что все это значит?!

ЗАИГРАЛСЯ

Работал одно время, — правда, недолго, — на нашем заводе директором человек по фамилии... Ну, да ладно, не в фамилии дело, не хочу я сейчас, когда человек этот стар и немощен, говорить о нем плохо, хорошего же он не оставил в моей памяти. Ничего. А с виду, скажу вам, был он вполне приличный, более того, приятный. Голоса никогда не повышал, даже на провинившихся, потому шли к нему в кабинет люди безбоязненно, и по служебным делам и по своим личным. Поговаривали, что у него большие связи в верхах, что он одноклассник нашего республиканского министра и еще некоторых влиятельных товарищей, и что стоит ему снять трубку специального телефона, — на директорском столе два обычных телефона, внутренний и городской, а сбоку на отдельном столике этот самый специальный, волшебный, у которого даже деревянная панелька с розеткой для включения была отдельная, специальная. Так вот, стоит только снять эту трубку и, пожалуйста, — перед вами скатерть-самобранка с новым оборудованием для нового цеха, с новыми станками для старых цехов, с новыми почти неограниченными кредитами и другими мыслимыми и немислимыми дарами. Когда директор разговаривал по этому аппарату, — а разговаривал он по спецтелефону только в крайних, «пожарных» случаях, «нельзя же злоупотреблять», — присутствующие в кабинете затаивали дыхание — шутка ли, какой вопрос и с кем решает сейчас директор... Лично я в этом кабинете бывал редко, и потому, как там все происходило, знаю больше с чужих слов, а люди иногда, даже бескорыстно, из чистого любительства привирают. Но об этом случае знаю я все точно и достоверно, поскольку такой товарищ рассказал, который и по принуждению четверть слова неправды не скажет, а не то

что добровольно. Работал у нас этот товарищ по фамилии Зауташивили монтером на коммутаторе — специальность, конечно, на таком предприятии не ведущая, но Зауташивили нашего ценнили. Скромный и, можно сказать, даже застенчивый, он никогда ничего не просил у завода и тем более не требовал, как некоторые иные, но тут прижало его, до отказа прижало, и решил он пойти к директору, благо все только и говорили о чуткости, доброжелательстве и всемогуществе этого руководителя.

Встретил его директор прекрасно, усадил, предложил хорошую папиросу, сам поднес огня и чуть ли не просительно: «Ну, что у тебя, друг, выкладывай». Зауташивили выложил: так, мол, и так, до сих пор все было в порядке, но старший сын — вы его знаете, он у нас на заводе работает — вернулся из армии с молодой женой, а старуха моя с ней на третий день поцапалась... С тех пор все прахом пошло в нашем доме. И не потому, что тесно, хотя двух комнат на пять душ маловато, — а потому, что с утра до ночи воюют меж собой две женщины. На смерть воюют». «Надо было сразу прийти», — сказал монтеру директор и снял трубку волшебного телефона. Поздоровался он со своим другом министром и сразу, с ходу о деле, о беде, постигшей самого лучшего, самого уважаемого на заводе рабочего... Говорил он минуты две без перерыва и такое выдал о Зауташивили... Ни один поэт такого не выдает — фантазии не хватит... Потом, наморщив лоб и погрузнев, послушал, что ему министр говорит, потом стал уговаривать министра, и когда, наконец, уговорил, с сияющим от счастья лицом повернулся к монтеру: «Воспринял и обещал. По мере возможности». Зауташивили вздохнул, покачал головой и поднялся. И тут директор вспомнил, что этот самый монтер Зауташивили и установил ему этот самый «фальштелефон» с «фальшпанелькой». Вот так накладочка! Как же он забыл? Замотался, заработался, заигрался, не до монтера было директору. Бить тебя надо за это, директор, бить! Вспомнил директор и о том, какими словами, внушительными, намекающими на некую чуть ли не государственного значения тайну, он предупредил тогда монтера — «Никому ни слова». Теперь он, конечно, растрезвонит по всему заводу... Директор догнал монтера у самых дверей, схватил за руку: «Послушай, будет тебе квартира. Из-под земли достану», но монтер так и ушел, не сказав ни слова. Тихо, в общем, ушел, поскольку был, как я уже сказал, человеком скромным, не скандальным. В тот же день тихонько сняли этот «спецтелефон». А через месяц и самого директора сняли, правда, на повышение сняли — дали ему под начало другой завод, не из гигантов, понятно, но все же вдвое больше нашего... Точно не знаю, но наверное, и там он установил в своем кабинете «специальный» телефон, по которому можно звонить куда угодно... Только в никуда, говорите? Вот именно — в никуда.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

«Париж становится фантастическим. Эти omnibus без лошадей. Кажется, что живешь в царстве теней. И мне в голову приходит такая мысль: а что, если мы в самом деле уже умер-

ли, не заметив этого? В этом шуме, в этих вспышках света, в этом тумане ходишь со страхом, боишься не того, что тебя раздают, а того, что уже больше не живешь».

Эти слова записал в начале нашего века, а если точнее, 12 декабря 1905 года, в своем дневнике французский писатель Жюль Ренар. Чувствуете, каким он объят страхом? Страхом за душу свою человеческую, страхом перед разлукой с ней, насильственной разлукой, разлукой по воле Века, который еще в том младенческом возрасте своем, имея и другие имена, — как только его не именовали, как только не величали, — сам назвал себя Железным, а следовательно и неумолимым и беспощадным.

Жюль Ренар написал об этих страхах своих в начале века, а я читаю его дневник уже в конце семидесятых годов, а если точнее — 18 октября 1979 года. Читаю, сочувствую честному, правдивому писателю, да и как не посочувствовать, если и я... Но тут звонок телефона отрывает меня от ренаровского дневника — звонят из редакции, просят прийти, срочное дело. Идти недалеко, но у человека, который меня ждет, билет на самолет, и через двадцать минут он уедет в аэропорт. Спешу, но, как всегда, задержка у светофора на перекрестке, где сходятся и расходятся четыре улицы, а по-теперешнему — четыре автомагистрали, — где мне, пешеходу, почти невозможно разобратся в желтых, красных и зеленых командах светофора, потому что, если светофор командует автомобилю «Нельзя прямо», то ему в это же самое время можно налево или направо, а что делать в это время мне? Этого, наверное, и сам светофор не знает, хотя он, как утверждают, является весьма осведомленным автоматом.

Стою на этом перекрестке, ругаю себя за то, что не пошел другой улицей, более тихой, более спокойной (тишина и спокойствие эти весьма условны — в городе всего три тысячи улиц и около сорока тысяч автомобилей). Стою и чувствую, как растет моя неприязнь к этому заколдованному, что ли, месту (в последнее время всегда тут застаиваю, почти всегда), а прежде ведь любил. Стою и почему-то вспоминаю, что на плане города (для туристов их в каждом газетном киоске продают, эти планы) перекресток этот похож на большой крест... Приду домой — если бог даст прийти, — и непременно пририсую к этому кресту на плане пешехода, которого распял автомобиль... Не знаю, что я еще насочинил бы, стоя на перекрестке, потому что автомобили бежали и бежали, а пешеходы, в том числе и я, маялись у светофора, о котором я вдруг подумал сочувственно, как о живом: «У него, наверное, в трехцветных глазах рябит»... Кто-то легко подтолкнул меня сзади — пешеходы быстро, а некоторые и бегом, двинулись на ту сторону... И вот я на той стороне, а лучше сказать на том берегу — ощущение такое, будто я не улицу перешел, а вплавь или вброд преодолел бурную горную реку. И рубаха на мне вдруг стала мокрой, и ноги подрагивают. И то, что я это чувствую, немного успокаивает меня. Похоже, что жив. Но тут вспоминаю только-только прочитанную страничку Ренара, жуткие его слова о царстве теней и невольно оцепываю себя — плечи, грудь, живот. Слава богу, не тень я, цела, цела моя плоть. А вот уцелела ли душа моя? И как это

узнать — ее ведь пальцами не ощупать. Некоторое время стою неподвижно — надо собраться с силами, надо утихомирить нервы — а мимо идут и идут люди: вот прошла высокая светловолосая девушка, ах, как хороша она, какие ноги, какие покатые, трогательно нежные плечи, а вот не старая еще бабушка провезла в нарядной коляске пухлощекое, ясноглазое младенца, а вот проковылял, скрюченный в три погибели, старик, которого я знал еще сравнительно молодым и стройным. И оттого, что мне приятно смотреть на девушку и младенца, и оттого, что мне больно смотреть на больного старика, возникает во мне робкая, пока еще робкая надежда, что душа моя со мной, что она вроде бы еще не покинула меня: И чтобы эту робкую надежду не вспугнуть, я тихо, чуть ли не безмолвно спрашиваю: «Где ты, моя душа, где ты?» — спрашиваю я и слышу: — «Я здесь», — слышу и чуть не пускаюсь в пляс от радости. Еще бы! Значит, слышали мы друг друга — я и душа моя — в этом адовом шуме, значит, не смог нас разлучить друг с другом грохочущий железом век-разлучник, властвующий на этом крестообразном перекрестке, где каждое мгновение происходят неизбежные встречи и неизбежные разлуки.

БУЦИК

Буцик — кличка мерина. Странная кличка, нездешняя. И сам Буцик, если приглядеться, странная, нездешней породы лошадка. Спросил — так и есть. Но о том, как попал этот самый Буцик к нему в отару, старый Юсуф рассказывать не любит — обманули его тогда недобросовестные люди, а какая, скажите, радость о таком вспоминать. Но кое-что я все же узнал — и от самого Юсуфа и от других.

Произошло это на отгонных пастбищах в Прикаспии. Подъехал как-то к кошаре на рослом, очень красивом вороном жеребце бородатый незнакомец гуртоправ, сказал, что на пару с товарищем гонит в город на мясокомбинат полторы сотни бычков и что нынешней ночью внезапно пала принадлежащая его напарнику молодая, кормящая кобыла. Славная такая кобылка. Красотка. Юсуф сказал, что по такому делу гуртоправу надо ветеринара поискать, тут на пастбищах порядки строгие. Гуртоправ ответил, что здешние порядки знает — вот уже лет десять гоняет он по этой трассе гурты. Оказалось, что с ветеринаром он уже все уладил — тот осмотрел погибшую кобылу, нашел, что ничего заразного нет, и все же велел закопать поглубже. «Закопаем, конечно, да вот лопат у нас нет», — сказал Юсуфу гуртоправ. Юсуф дал ему лопаты и сам отправился помогать попавшим в беду людям. А как же иначе! Юсуф человек добрый — и от всей души пожалел он гуртоправа, потерявшего лошадь, — какое же еще имущество может быть у такого молодого пастуха, — и погибшую кобылу, конечно, пожалел — красивая степнячка, ничего не скажешь, и, должно быть, резвой была и веселой, и масти она какой-то радостной — светло-рыжей, настолько светлой, что грива казалась растрепанным ворохом тонких-претонких соломинок. И вот такую красоту в землю — обидно. И сосунка ее пожалел Юсуф. Дурачок еще, не соображает, кого потерял — прыгает, играет себе вокруг во-

роного, а тот на него никакого внимания, хотя приходится ему, как сказал бородатый гуртоправ, родным отцом. «Пропадет жеребенок у вас, — сказал Юсуф. — Чем кормить будете?» «Это верно, пропадет, — согласился бородатый и предложил: «Иди пи». А молодой добавил: «Я бы и так отдал бы, да сам пойми, в каком я убытке». «Понимаю. Так сколько ты просишь?». И начался торг — кто же покупает лошадь, даже если она вот в таком еще дитячем положении, не торгуясь. Торговались со слезой, с клятвами, с насмешками, подковырками, до хрипоты торговались, а когда, наконец, ударили по рукам, бородатый гуртоправ сказал: «Вырастет у тебя жеребец всем на заглядение, даст бог, помянешь ты нас, чабан, добрым словом за щедрость». Юсуф помянул. Множеством недобрых слов помянул. Да поздно. Пока возраст жеребенка неделями и месяцами отсчитывался, — он для всех и прежде всего для хозяина только милый малыш. «Поди ко мне, мой Будик. (Будиком назвали жеребенка гуртоправы. Так он и остался на всю жизнь Будиком. Плохое, непривычное для здешних чабанов имя. Да что поделаешь — клички лошадям, как известно, меняют только конокрады). Играй пока играет». Недостатки, и еще какие, обнаружались, когда счет пошел на годы. (Сам я увидел Будика уже шестнадцатилетним — возраст для лошади старческий).

Да, не сразу, далеко не сразу открылся Юсуфу секрет торгашеской щедрости гуртоправов. Не сразу понял чабан, что вороной жеребец-красавец никакого отношения к Будику не имел. Светло-рыжая красotka прижила сыночка на стороне, с каким-то нахальным уродцем. Жулики гуртоправы, конечно, знали. А Юсуф в наказание за доверчивость остался в дураках. «Вырастет у тебя жеребец всем на заглядение», — сказал бородатый гуртоправ, а вырос... Когда Юсуф сердится, — а он хотя и добрый, но вспыльчивый, — на Будика, то возникает, сама собой возникает нехорошая мысль: «Да это же вообще не лошадь, этого ипачиха от козла зачала, не иначе». А что от Будика могло народиться, это даже и представить себе невозможно... И Юсуф, даже не Юсуф, а руками Юсуфа древний, неумолимый закон скотоводов, лишил Будика возможности продлевать свой род. И остался он на всю жизнь одиноким, этот конек-невеличка. А был он невеличкой в полном смысле этого слова, — когда он ходил под выюком, видны были только его голова и хвост. Юсуфу как-то подумалось, что Будику самому не хотелось вырасти большим, потому что рос он среди овец и ему боязно было очень от них отличаться. А может, он и себя считал овцой? И так может быть. А почему, собственно, ему так не думать? Лошадей он видел мало — вокруг него почти всю жизнь только овцы да овцы. А самого себя он вообще никогда не видел. Так откуда же ему знать, какой он и кто он? Это человек знает про себя, что он человек, а лошадь... И ведёт себя Будик по-овечьи. Ходит он всегда посреди отары — ни сбоку, ни спереди, ни сзади, — только посреди. И шаг у него овечий, и голова всегда склонена к долу, и смотрит он на тебя, на человека, почти всегда не лошадиными, а овечьими глазами. Почти всегда. Почти, потому что не раз и не два в тяжелые для себя минуты, — болезнь, измена, обида, —

перехватывал старый Юсуф взгляд коня. Полный сочувствия взгляд. Человечий. Так, может, Буцик думает в такие минуты, что и он человек?

А почему бы ему так не думать?

0619359240
30230101033

ХОДИ!

В то утро старого Юсуфа скрутил радикулит. Нагнулся человек, чтобы обуться, вскрикнул и уже с превеликим трудом выпрямился. Но такой уж характер у Юсуфа... Превозмогая боль, он сам, не доверяя своему молодому напарнику Омари и, тем более, мне, вывел отару на склон горы, но там его еще больше скрутило, и он остановился и некоторое время стоял неподвижно, упершись грудью в ярлыгу, а мы, — Омари и я, — стали уговаривать его вернуться домой — ничего с землей и небом не произойдет страшного, если он полежит сегодня под теплой буркой.

Старик стал огрызаться, мы тоже рассердились на него, — до чего же упрямый старик, да разве можно шутить с такой подлой штукой, как радикулит, — вот тут-то и оказался возле нас Буцик. Стоит и смотрит на своего хозяина.

У меня сердце дрогнуло — такие были в этот момент у Буцика глаза, такие страдающие, такие... ну, человечьи и только. И мне так захотелось обнять Буцика, прижать его голову к своей груди и сказать ему об этом, что я, не задумываясь, потянулся к нему. Но тут, совсем неожиданно, Юсуф, добрый и справедливый, по возможности справедливый, Юсуф зло закричал на Буцика: — Иди! Вон иди! — и замахнулся на него ярлыгой. Замахнулся, но не ударил. Может, Буцик знал, что Юсуф его на этот раз не ударит, а может, и не испугался, просто не испугался на этот раз — только он и ухом не повел, не шевельнулся.

— Ну, чего ты! — сказал Юсуфу прямолинейный, иногда до грубости прямолинейный Омари. — Может, и у старого Буцика радикулит. Ты на него с ярлыгой, а он, бедняга, и шагу не может.

— Мало что не может, — сказал Юсуф. — Сможет, если захочет... Если должен... — И уже не Буцику, а самому себе, зажатому в тиски проклятым радикулитом, приказал: — Живой ходи, куда живой! Ходи! — приказал, вскинул на плечо ярлыгу и пошел. И Буцик, слегка вытянув шею, тотчас же зашагал вслед за ним. А за старым Юсуфом и старым Буциком пошли и мы, молодые, тогда еще молодые, — Омари и я.

1979 г., г. Тбилиси.

Архивные заметки к поэме «Андрей Полисадов»

В 1959 году в стихотворении «Прадед», описывая Полисадова, я наивно знал лишь наше семейное предание о нем. Что я знал тогда?

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого — не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в военной гимназии, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: «Грузины приехали...» Помню, как шутливо пикируясь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя а'ля Андроников, только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоём прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — Благовещенский муромский собор на Посаде, ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее непримеченное никем надгробье, с обитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовым, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей был связан и с Грузией и с Россией. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и первый распространил там христианство.

Летопись «Картлис цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перенел гору железного креста». Далее

летописец прибавляет: «есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» (стр. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре — «Повесть временных лет»: «вшед на горы сия, благослови я, постави крест...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Муром и племени «муромь».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно изымается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя Полисадова, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

Он был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукался с грузинским «прта», «тьма» (т. е. десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза — серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день Пасхи на могилы здесь клали красные яйца и плескали вино — все возвращало к обычаям его края.

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосом песнопении ностальгически слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. И, может быть, — думалось ему, — полифонные «ангелоподобные» хоры донесли к нам не от греков, чье пение унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неутомного Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом — «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, подалась в изучение археологии Кавказа. Неукротимый характер его сказался в решительной перестройке собора.

Несколько раз в своей рукописи Полисадов возвращается к арке, пробитой им в северной стене храма. И сейчас она поражает смелостью. Арка — в полстены, она напоминает распахнутые пропорции арки в Гелати. Эта решительная кривая выдавала в нем соотечественника будущих пространственных дерзаний Давида Какабадзе. Он пытался распахнуть, усовершенствовать свое заточение.

Да и местоположение Полисадова в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодно, 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Иверия — Грузия. Икона была привезена в 1652 г. в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами Иоанном и Евсимием в конце X в. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений... И что бы я мог без помощи моих добровольных спутников по поискам — владимирского археографа Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии стольких поколений грузинская крупница во мне вряд ли значительна. Да и вообще не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрынкина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк струился слегка женственными изысканными длинными завитками.

Было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено, не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия совпадений.

Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонтенок, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, летом 1877 года в Муроме под фундаментом церкви, построенной Бармой и Посником, будущими строителями Василия Блаженного, археолог граф А. С. Уваров раскопал останки мамонтенка, о чем в газете напечатал статью Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка.

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный начет, не сухая кабаллистика, не мистицизм, имя им — жизнь человеческая. Жизнь эта и есть поэзия.

ТЕЛАВСКИЙ ДУБ

Не обхватишь Дуб в Телави —
нужно множество народу,
торжество большое нужно,
Всесоюзный съезд гостей.
Нужно долго слушать речи
и друг другом восхищаться,
и внимать многоголосью
внуков маленького Каха,
чтоб поверить в это чудо,
в эту дикую возможность —
обхватить телавский Дуб.
Нужно знать, что имя счастья
не Свершенье, а Усилье,
а откликнулось Свершенье —
ну, считай, что повезло...

Вот когда все это вместе
воплотишь в себе однажды,
то тогда с другим таким же
крепко пальцами сцепись,
и еще с другим таким же,
и еще с одним таким же,
и еще с шестью такими
или лучшими, чем вы.

И когда вам рук не хватит,
чтобы ствол обнять прохладный,
позовите-ка хозяев —
кахетинский вольный люд.
И тогда-то все вы вместе —
при удаче минимальной,
при благом расположеньи
и сочувствии светил —
Дуб Тamar благословенной,
Дуб обнимете, быть может,
чтоб потом кричать и хвастать
или плакать от любви...

* * *

Искусства дикая звезда
такие дебри освещала...
Рыдай, кто не был никогда
в садах беспечных Ортачала.

Зелено-черные тона
к закату там еще густели.

И пьяно морщилась луна
на рукаве карачохели.

Питейный дом. Питейный шум.
Любовь на уровне куплета.
Но тот, кто бледен и угрюм,
вот-вот обожествит все это.

В Маргошках видя Маргарит,
а в проститутках незнакомок,
хрусталик пристальный горит,
звезда кибиток и котомок.

И дивный грустный карнавал
растет из пошлого начала...
А ты рыдай, что не бывал
в садах беспечных Ортачала...

* * *

Прощайте, горы, здравствуй, берег!
Языческий колхидский вид.
Рычат Кура, Арагва, Терек,
а море знает, но молчит.

Вечернее открытье мира.
Большая древняя вода.
Сухой бесплодный сук инжира —
он был смоковницей тогда.

АНАНУРИ

Вновь Ананури, камень которой горит изнутри розовым светом.
Если бы снова влюбиться и долго любить, и никогда не признаться
в этом!..
В узкой бойнице—столбик небес и мелькнувшая черная тихая птица...
Вот бы признаться и долго любить, и уже никогда ни в кого
не влюбиться!..
Красный автобус проглотил и унес остатки крикливой туристской
оравы.
Серое русло чересчур широко для зеленого тока Арагвы.
Но лишь безумец, не зная коня, надрывает без толку неживые
поводья,
Богу угодны душа и река в год полнокровья и в часы половодья.
Так ясно в пору первой листвы, в пору цветущих вишен, черешен,
что переступающий через любовь не перед ней — пред собою грешен.
Так ясно у ананурской стены, что тот не судья, кто себя не судит.
Это в привычках народных святынь — становиться святынями
личных судеб.
Потому что — куда нам еще, — куда? — в дни, когда все так
нестойко, зыбко,
и нельзя не плакать, но плакать нельзя — останавливает
каменная улыбка,

останавливает, завораживает, заставляет понять, что и ты — лишь
летучее семя жизни,
но дождутся лишь плоти, а сути твоей — перемрут не дождутся,
могильные слизны.
Что за вино в скудельном сосуде, который на камень глядит
в надежде,
что ничего не случится такого, чего бы уже не случилось прежде?

ГОСТЬ ИЗ ГРУЗИИ

У мадьяр
и три года спустя
не смолкала веселая эта шумиха:
вспоминали грузинского гостя,
безумного витязя,
по имени Миха.

Как он ел!
Как он пил!
Как дарил всем вокруг дорогие подарки!
Как дрожали от любви и от страха
под очами его
удалые мадьярки!

Говорили,
что он задал пир,
от которого доньине хмельны в Эстергоме.
Говорили, что тосты его
издают в Будапеште в отдельном с застезками томе.
И, — как будто, — желанья свои выражать
запрещалось при нем
непреложно и строго,
тотчас он их выполнял,
так как было в нем что-то от бога.

Из хозяев никто не бывал
на высокой и страстной
земле Карталинской,
но и так было ясно,
что люди ее —
с ненормальной какой-то душой исполинской:
ничего не берут, все дают,
всех дарят непреклонно и щедро
и с счастливой улыбкой при этом
глядят
из-под старого фетра.

О неведомый Миха,
твою ль
не узнать мне повадку!
Ты свалился с небес,
а мадьярам сказали —
идешь на посадку.

Вот и пусть вспоминают тебя,
восхищенно дивясь: что за жизнь! что за мера! —
и в сомненьях на ощупь бредя,
улыбаясь догадке,
листают Гомера.

* * *

От горьких слов и вздетых рук и скорбных фраз
И толп, за гробом шествующих тенью,
Гроб Руставели распадался девять раз
На медленной дороге к погребенью.

Я не дождусь вовек подобных похорон.
Судьба певца! Что знаю я про это?
Что знаю? Все! Любовь, восторг и грусть, и стон,
И власть, и одиночество поэта!

Поэт ли я, поэт ли твой отец?
О нас ли наша Грузия мечтала?
Не знаю... Знаю только: из сердец
Лишь вместе с кровью песня вылетала.

Не верь, не верь, что Грузию мою
Воспламенить способны наши строки —
Тогда гробы рассыплются в дороге,
Пока нас погребут в родном краю!

Поверь в одно: уж это точно не вранье —
Богата ли поэзия? Безмерно.
Но нет вернее гончих у нее,
Чем мы. Да и резвее нет наверно.

И если стих, наш звонкий стих, в конце концов
Не жжет и не горит, ну что же, дети, —
Тогда и вы за нас — как за отцов! —
И Грузия — как за сынов! — в ответе.

Гроб Руставели распадался девять раз,
А наши будут целы и сохранены...
Но рифмы твоего отца — как раны
В груди моих певучих долгих фраз...

11 декабря 1933 г.

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА.

У ХОЛСТОВ ПИРОСМАНИ

Или зная наперед,
Что от голода умрет,
Он писал, изображая
Кахетинский щедрый пир —
Шашлыки, форель и сыр,
Жаркий праздник урожая,
Саламури голосят,
Мнут в давилнях виноград
И толкутся у марани,
Прогибается лоза...
Стой! Уже рябит в глаза
Буйный эпос Алазани.
Стой! Уже в груди тесно,
Но Саргис струит вино
В узкогорлые кувшины
Для тебя и для друзей,
И компания князей
Осушает рог аршинный.
Все слышнее, что ни миг,
Нарастает этот крик
Изобилья. Мертвой хваткой
За сердце меня берет...
Или знал он, что умрет
Там — под лестничной площадкой.

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

ДОМ

Он смотрит на меня, мой старый дом,
Безропотно, с улыбкою покорной.
Уже огня не зажигают в нем,
И двор вокруг порос травой сорной.

Осенней стужей веет из окна,
Слезятся стекла моросью осенней,
И, к горлу подступая, тишина
Томит меня тоской былых видений.

Как скоро онемел он навсегда,
Беспомощно встречая перемены.
И годы, утекая, как вода,
Сетями трещин оплетают стены,

Рвануться бы, скрепляя их строкой,
Да слабнет стих в потуге запоздалой...
Как обесплодел виноградник мой!
Как постарел мой соловей усталый!

Пустует сад, не помня ничего,
Обобранные лозы, словно плети.
И в закоулки сердца моего
Сквозь щели дома задувает ветер.

Какие здесь надежды отцвели!
Зачем же над завесою молчанья
Олений крик разносится вдали,
И точно угли, жгут воспоминанья?

Уж лучше, право, забыть в груди,
Чем новый гнет у прежних чувств во власти...
Помилосердствуй, память, не буди,
Не окликай мои былые страсти!

Здесь лампа не засветится в окне,
И гнезд не вьют касатки над застрехой.
Прощаюсь. Ухожу. И в тишине
Шагов моих пугающее эхо.

Перевод Ильи ДАДАШИДЗЕ

Борис РЕЗНИКОВ

ТБИЛИСИ

Обветренная черепица,
На старых крышах — пятна хвои
И солнца... И опять мне снится
Тот мандарин на мостовой,
И твой спокойный взгляд, и странной
Печали миг, и свет в окне
На набережной, где платаны —
И те забыли обо мне.

СОГРЕЙ МНЕ СЕРДЦЕ, ОТЧИЗНА...

1

Источник живого
Бессмертья — весенний мой край!
Одно только слово
Сказать мне, молю тебя, дай...

Родная обитель,
Единственная на свете —
Дубы-великаны Чкондиди,
Тростник Базалети...

Меня окликают равнины и реки,
И небо, и каждая ветка в саду.
Я песни Арагвы люблю — и вовеки
От этой любви никуда не уйду!

Как влага морская питает собою
Летающее облако, так и мой стих
Пьет воду Куры, и лишь этой водою
Всю жизнь защищался от засух любых!

Согрей же мне сердце, отчизна... Я знаю —
Вдали от тебя я застыну в снегу!
А помощи руку подашь мне — тогда я
Тебе послужить еще, может, смогу...

2

Горящие огнем
Глаза на ликах божьих
(Ведь и без них мой дом
В снегу замерз бы тоже)...

Древнейшая из стен
Тбилиси — Нарикала,
Которая измен
За весь свой век не знала!

...Дороги, корабли,
Пекарни, домны, пашни

Моей родной земли!
Разрушенные башни,

Которые всегда
Стояли насмерть в брани!
Седые города,
Хранящие дыханье

Тамар в камнях своих!
И Вардзия, и Тмогви,
И горы... о, без них
Без всех сказать не смог бы

Ни слова я!

Весна...

И аромат зеленых
Лип, и фиалки на
Крутых мтацминдских склонах.

И Гори цитадель,
И свет руин Армази,
И солнечный апрель,
И все дожди в алмазе,

И песен всех слова,
И доски детской зыбки,
И девушек едва
Заметные улыбки,

И говорок ручья,
И древнего Мерани —
Их всех на помощь я
Зову и о вниманьи

Молю! Ведь только в них
Вся жизнь моя и стих...

3

Огонь грядущего
Средь слез былого —
О, светоносцы!
Ваша благодать
На миг пусть даст мне
Вашу силу слова!

А если сам я не смогу сказать
Великого —

Позвольте, чтобы внуки —
Чтоб внуки,
Люди завтрашнего дня
Из уст моих
Узнали ваши муки
И помыслы... И вот уж ваши руки,
Я чувствую,
Ложатся на меня,
Чтоб жизнью
Оплодотворилось слово
Мое, чтоб я достоин был его...
Одна святыня у меня —
Иного
Я ничего не ведаю.
Другого
Нет у меня на свете ничего!

Пускай же стих мой
Свозь туман и тучи
Сияет на мечах
Страны моей!
Пускай он станет
Гулом гор могучих
Ее
И тишиной ее полей!
Я — только веточка
Лозы в росе. И сны,
И бдения мои
Стихам посвящены...
И если слово хоть удастся мне
Сказать, любезное моей стране,
И маленькой свечой я для нее
На миг хоть засвечусь — в окно мое
В награду заглянувшую зарю
Я целиком отчизне подарю...

1966

Перевод Бориса РЕЗНИКОВА

* * *

На перекате всплеск! И след —
 Прошел, стремителен и светел.
 Как жаль, переменился ветер...
 А все же хорошо: рассвет!

Здесь — на рассвете, у реки —
 Бессильны суетность и злоба
 И резок холодок озноба,
 Когда заплачут кулики.

...Холодный утренний песок
 Все горячее под ладонью.
 Вода сияет. Над водою —
 Простор сияющий высок.

Так светится небесный дым.
 Так ослепительно сиянье
 В минуту полного слиянья
 Сияний неба и воды,

Что даже юная листва
 Полна мучительным свеченьем.
 Повремените час и два —
 Дневное сменится вечерним.

И родниковые ручьи,
 И лиственницу вековую,
 И ласточку береговую
 Зажгут закатные лучи.

...Когда померкнут облака,
 Не торопись, еще помешкай,
 Пока серебряною вешкой
 Блещет тело поплавка.

Готов побиться об заклад,
 Что человек напрасно удит:
 Удачи, видимо, не будет.
 А все же хорошо: закат!

* * *

Высокий глухарь, заиграй!
 Ты видишь, знобит и колотит
 Меня на Великом болоте:
 Сегодня — потёмени край¹.

¹ Потёмени край (сев.) — непроглядная тьма.

Студеную темень качни,
Прищелкни над мохом оленьим.
Оглохни на третьем колене.
Прислушайся. Снова начни.

Кому же, когда не тебе?
Гляди, чернота непроглядна,
В березнике смутные пятна
Едва проступают во тьме.

Решайся! Кому же еще
Решиться на нежность и ревность?
В напеве высокая древность —
И шелест, и скрежет, и щелк.

Курлыканые, кряканые, грай
Вороний над стылой землею —
Все это приходит с зарею.
А ныне — потемени край.

Наутро, другим не чета,
Умолкнешь на старой лесине.
Не выбьешь ли черточку сини?
Ударь!.. Не видать ни черта.

* * *

Листопад. Опустенье царит.
А казалось: красоты — на года.
В перелесках от зари до зари
Беспощаднее сквозит нагота.

Все листья пооблетели с вершин
В ожиданье снеговой пелены,
Но последние, в вершинах ольшин —
Словно раннею весной — зелены.

* * *

Когда совсем устану,
Сорву брусники ветку,
Достану из кармана
Листок тетрадный в клетку.

Над Вытегрой-рекою
Прилягу под сосною
И что-нибудь такое
Придумаю — лесное.

Пока бреду, пока пою,
Придумывать не стану,
Я все потом придумаю,
Когда совсем устану.

* * *

В грохоте аэродрома,
Рядом с эскадрильями —
Странно выглядит ворона,
Машущая крыльями.

И, наверное, нелепо
Выглядит мужчина,
Что глядит в пустое небо
Над аэродромом, —
Машет длинными руками,
Поднимается рывками
Над пустым перроном...

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

* * *

А когда в горах умирал олень
И стучал рогами о камни —
Солнце вспыхнуло и рванулось в тень,
Повстречавшись с его зрачками.

Он глядел с вершины в последний раз,
Жизнь несбывшуюся итожа.
Крик олений скалы крушил! И гас,
Достигая речного ложа.

Солнце падало, обрывая день.
Сомневалось в новом рассвете.
...Важа своего призывал олень!
Силился отбиться от смерти.

Тлел в зрачках закат черточкой косой.
Брызги слез мтацминдских сверкали,
Упадая ниц светлую росой
На холмы и кручи Чаргали.

Вот когда в горах умирал олень...

1965

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Фрагменты из поэмы

ПРЕАМБУЛА I

Для всех

Когда б поэтов не бросали жены,
От поэтесс мужа не уходили
И все, кто любят, были бы любимы,
Никто не стал бы сочинять стихов,
Все начали бы прописи писать,
Проспекты, преискуранты, протоколы,
Доносы, рефераты, циркуляры.
Заметно бы прибавилось брошюр
О правилах дорожного движенья,
О вреде табака и алкоголя
И книг о вкусной и здоровой пище.

Когда б поэтов не бросали жены...

ПРЕАМБУЛА II

Для героя

Любимый мой!

О, это просто титул,
Не всхлип, не окрик, даже не призыв
К пустой и снисходительной оглядке
Через плечо.

Ты, право, не пугайся
Того, что ты замешан в эти вирши,
И что теперь с моей горючей музой
Находишься в двоюродном родстве.
Я буду называть тебя «любимый»,
Раз я сейчас нелицемерным ямбом,
Лишенным даже привилегий рифмы,
С тобою собираюсь говорить.
Итак, любимый мой!...

ПРЕАМБУЛА III

Для самой себя

Какой неукоснительный соблазн —
Сесть второпях на пригородный поезд
И кинуться, пускай в последний раз,
На родину любви, в тот дачный пояс,
В тот пояс целомудрия, беды
Еще посильной и благих решений,
Еще не самых низких унижений,

Еще не состоявшихся крушений,
Еще не замутившейся воды...



Господь, введи меня во искушение
И из него меня не выводи!..

ТОМ ВТОРОЙ — «ДОРОГА ОТ ОТЧЕГО ПОРОГА»

Какая смелость мысли и пера —
Я выдумала искреннее слово,
Лишенное малейшего значенья.
Но ежели хоть в чем-то вижу смысл,
То только в этом слове бескорыстном:
Etermenando...
В нем любовь и смерть,
Начало, и кончина, и причуда,
И талисман, спасающий от жизни,
От всех ее ущербов и растрат.
Etermenando...
Как оно пришло?
Должно быть, от латинского «этернис»,
Что означает «вечный».
Но еще
В нем тернии, и мед, и надо, надо...
Etermenando...
Холодно губам...
Ах, разве надо было столько лет
Бесчинствовать, казнить, баламутить,
Чтобы понять:
Любовь — отнюдь не данность,
А отнятость того, чего вовек
Нельзя отнять, а уберечь — тем паче.
Любовь бывает завтра и вчера,
Но никогда — сегодня.
Боже, боже!
Etermenando! —
Смертный приговор...

ОСКОЛОК

Пока ты так безжалостно глядел,
А сердце мое падало отвесно,
Я думала: «Ну что ж, в моей беде
Нуждается российская словесность.
Теперь мой каждый выморочный плач
Принадлежит ее святому горлу».
И я тогда порадовалась горю,
Как самой благотворной из удач.

ОСКОЛОК

(Сон)

От ключа — замок потерян.
От замка — потерян дом.

Захожу в чужие двери,
Вижу дальний оқоем.
А вокруг — растут кусты,
Простирается пустырь.
Странноваты и чисты
Марсианские ландшафты.
Я закутываюсь шарфом
И гуляю шатким шагом
По невиданному полю,
Среди чуждой красоты.

Больно, больно, больно, больно...
От меня потерян ты...

ОСКОЛОК

От твоей смерти
До моей смерти —
Тьма времен и мест.
Не горюй, милый,
Не горюй, право, —
Мы умрем вместе.
Уходил долго из моей боли,
Но уйдешь — вряд ли.
Не горюй, милый,
Не грусти больше, —
Мы умрем — рядом.
В глубине жизни,
В тупике взгляда —
Пыль и серость.
И смотреть больше
На меня не надо —
Выколи сердце.
Вдалеке жизни
Зелена поросль,
Велика радость.
Ничего, милый,
Проживем порознь,
А умрем — разом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ I

Для самой себя

Не зря я с ведьмой покумилась,
Не зря шептала над питьем.
Я выпросила злую милость
Остаться с памятью вдвоем.
Мой разум ссорился с любовью,
Наотмашь правила рука.
За все оранжевою болью
Платила я наверняка.
Я меряла чужие лица,
Жила капризно и грешно.
Но прошлое мое прошло,
А мне позволило продлиться.

В позавчера своей беды,
В сумятицу страстей недобрых
Я как в немой кинематограф
Могу отныне заходить.
Могу смотреть издалека,
Знать все ответы на вопросы,
И глицериновые слезы
Могу заметить на щеках,
И, растопив янтарь-смолу,
Могу вернуть и боль, и ласку,
И выбрать — из горчайших лакомств —
Твой тот, последний, поцелуй.

ПОСЛЕСЛОВИЕ III

Для героя

Любимый мой! Благодарю тебя
За то, что ты мне оказал доверье
И сделал меня прошлым.
Я теперь
Кругом права, ни в чем не виновата,
Я не подсудна ничьему суду.
Я так авторитетна, как покойник.
Слова мои годятся для цитат.
Я — прошлое.
И этим безупречна.
Я — прошлое.
И ты теперь со мной
Отныне и навек.
Etermemando!

Киев, декабрь 1976 года.

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

ЛАДО ГУДИАШВИЛИ

Воспламенялись пепел и зола,
Бодрился дух и рубцевались раны,
Когда скакал стремительный Мерани
И парусили два его крыла.
И песней стало сердце у грузин —
Пел Бёсики, простившись с отчим Картли,
И поднимался пламенный Акакий,
В лицо тиранам карою грозил.
Ты, как они, неукротим, Ладо!
Крылата кисть, она взлетает смело.
Ты освещаешь свой пресветлый дом —
Светлейший храм природы — Сакартвело.

Все шесть дверей, поставленных судьбой,
Ты распахнул рукой своею верной.
Но за седьмой и только за седьмой
Твое лицо соприкоснулось с ветром.
Не с ветром — с вихрем! Это ветер тот,
Всесильный обитатель гор скалистых,
Который грабит самоцветы листьев,
На целый свет бунтует и метет.

И нету тленья, и забвенья нет —
Твоей рукой у вечности добыты
Армазский клад, запястья Серафиты,
Волшебные ларцы из Багинет.

Их кровеносный сок — в твоей лозе,
Твой пышный виноград — так сладко зелен.
Вот звук шагов вспугнул твоих газелей.
Вот я сражен красою Пиримзе.

Паоло, Тициан... В пути веков
Сохранины будут их родные лица —
Они отнимут губы у стихов,
Чтоб дружеской улыбкой насладиться.

Птиц золотых впускающий в окно,
Великий птицелов — да будет с нами!
И ты, Ладо, по-братски пьешь вино
Из влажного кувшина Пиросмани.

Так стой, Ладо, на горной высоте.
Пускай природа смешивает краски.
Ты красоту ее предай огласке,
И детям дай, и детям их детей.

Пока свой полдень празднует судьба
И нет в душе ни слабости, ни лени,
Ты стой, Ладо, и мастерски сгибай
Подковы радуг в кузнице вселенной.

Да будет светел твой пресветлый дом,
Плодовый сад — пусть не узнает стужи.
Мой неоплатный долг растет, Ладо! —
Смиренный долг перед твоею дружбой...

1959

Перевод Екатерины КВИТНИЦКОЙ

НЕЛИКВИДЫ

Фрагменты из поэмы

Опускался я в подвал
и душевно горевал:
там лежали неликвиды —
застарелые обиды...
Понимал я наперед
добрый старый перевод.
Безупречна, двуедина
золотая середина.
Сердцевина золотая,
только золото глотая,
посредине — хошь не хошь —
ты оскомину набьешь.
Мысли чинное течение,
пыл души и блеск ума...
Неужели — заточенье,
пересыльная тюрьма?
Благородное служенье,
вдохновенье, знанье, вкус —
легкий привкус одолженья —
честное переложенье...
Неужели не дождусь
чуда

и
преображенья?
Опускался я в подвал
и поддон макулатуры,
айсберги литературы
горестно обозревал.
Где поверхности покров,
там плывет туманный лебедь,
и громаду не колеблет
рябь течений и ветров.

Неликвиды, неликвиды,
непотребная среда —
не живые, не убиты —
и сгорели б со стыда —
отсырели — вот беда!
Пострашнее всяких бед:
полунужны-полунет.

Тут я вздрогнул:
это он!
Боже мой! Галактион!
И ему при свете лампы

на обложку лепят штампы,
и лиловое тавро —
новый уровень товарный
этой музы легендарной...
Новая ее цена —
новая по смерти мука.
Книга переведена
так давно — и ей — ни звука
из России. Тишина.
Да и где же та строка,
где воскрес грузинский гений —
музыка без языка, —
где славянская тоска
на пиру его трагедий?

Неликвиды все похожи
участию роковой —
на бумаге меловой,
в золоте и мягкой коже.
Будто сам их издаю —
за версту их узнаю
в планах дальних перспективных,
в санкциях неотвратимых.
Ходит классик-индивид —
сразу вижу: неликвид.
Свеженькие — на прилавке,
на витрине — узнаю...
Наконец, в пыли и давке
верхней полки—на краю.
Вот и смысл их стараний:
кто кого спихнет в подвал,
где я нынче горевал.
Крайний — следующий — крайний...
Чтобы душу убересть,
хоть писали б мемуары,
как писали в годы стары,
как Липранди или Греч.
Много-много б одолжили
немощую молодежь.
Отчего? Не ото лжи ли?
Долг чужой — да свой платеж...
Уважаемая ложь
и кормила и спасала,
и проникла и прошла —
слишком много написала,
слишком много издала.
И порой всего нужней —
малая твоя толика!
Трепыхнув листами, книга
с шумом падает —
за ней
молча падает другая,
и в подвал их повергая,

шевелится теснота...
Замыкаются уста.
Сколько тягостных уронов...
А вертящихся рулонов
за верстой летит верста!
Там — тебя же — набирают —
тут — тебя же — попирают.
Там — пошел под коленкор —
тут поехал под топор.
Там — опять — в стихи и прозу —
тут — опять — на целлюлозу!..
Он ллывает — полярный лебедь —
ослепительно суров —
дивной стати не колеблет
рябь течений и ветров.

Марина КУДИМОВА

ПОДСТРОЧНИКИ

Фрагменты из поэмы
С ТБИЛИССКОГО

Вид в окоеме изогнутом
Есть не пейзаж, а рельеф!
Здесь очутиться б изографом
И запетлять, как форель,
По мостовым ниспадающим,
Исподволь ход ускоряющим,
На нерестелище стечь —
С небушка до Хетагурова —
Жадно наляпывать скетч,
Как сигарету докуривать...
Весь наяву, на плаву,
Город не штопает дыр своих.
Я ж толмачихой слыву
И беспардонно не мытарствую:
Он мне довелся сродни —
Мне его не с чем сравнить.
Брякну ль о дождике: оспа-де? —
Он восприемлем как есть...
Господи, господи, господи,
Господи, не перевесть!

ДОСТУП

*...языком склонить врагов к добру.
(из «Авесты»).*

Заладили каскад
На уровне Потопа —
С-под рук ушел Кавказ

Арагвой плоскостопой.
Ушел, оставив пук
Дохристианских капищ,
И впредь уйдет с-под рук —
И вырвется из лапищ.
Кавказ — он сам с усам —
Хотел быть особливым —
Укором небесам
С доступным их разливом.
Опнулись об отрог
Не только турки-персы...
Тектоника и Бог
Совместно и предеззко
Однообразье сфер
Горами оживили.
Что пишешь, офицер
Давид Гурамишвили?
Мы рано поутру
Пришли — поэт к поэту —
Склонить врагов к добру,
Склонить друзей к ответу.
Под чоботами — крен
Арийского простора.
Светило набекрень,
Как шляпа из кастора.
Когда ни за него,
Ни за грозу - за молнию
Полслова не замолвлю —
Не вынесу сего!
Хоть созвуков — тьма тем,
Стоит в поэте тризну
Прародина Эдем,
Откуда пращур изгнан.
Мы веруем, Давид,
Два тертых ортодокса,
Что каждый индивид
Туда имеет доступ.
Кивают нам: там Бог —
На двойников Адама,
Полтава, Сагурамо,
Тбилиси и Тамбов.
И в сонмище словес
Не подмахнем облыжных —
Из ревности о ближних
Не оскорбим небес!
Они — твердыня, бут —
Не прятки-потерятки...
Но, сдерживая бунт,
Мы терпим беспорядки.
Мне страшно жить, приспев
К тебе, Гурамишвили,
Чтоб толпы нараспев
Губами шевелили!

Но там и ворожу,
Где место застолбила,
И не перевожу,
А говорю, как было.
Чихнешь свинцом в истца,
Толпа, — и будь здорова, —
От первого, второго
И третьего лица!
Как — с пулею во лбу —
Мне в нацию не вдаться,
Помиловать толпу,
Казнить хриstopродавца?
А в этом и секрет
Христа и Аполлона,
И горек виногради
Из кухонь Вавилона.
Но я не разорусь,
Покуда раным-рано
Спит с Палестиной Русь
И с Грузией Украина.
Так пусть их удивит,
Что не мутят колодцы
Потравой инородцы
Марина и Давид!



Виктор ШИРОКОВ

* * *

Каждой фразе предшествует мысль,
колыхнувшая стенки сосудов,
и не может наш бедный рассудок
предсказать неожиданный смысл
нашей речи — затем ли, что ей,
неразомкнуто слившейся с духом,
тяжко с телом, безгласным придурком,
и тошнее — совсем без костей...
Каждой фразе предпослана тень
наших славных и грешных деяний
и, наверно, из всех одеяний
это самая верная сень.
Да святится союз и союз!
Фраз и личности. Слова и Дела.
Нет ни звездному свету предела,
ни бессонному шепоту муз!

НА ВЫСТАВКЕ РИСУНКОВ НАДИ РУШЕВОЙ

Зал забит до отказа.
Не редеет толпа.
Вот рисунок. Показан
скорбный профиль Христа.
Чей работал фломастер —
узнаем без труда:
Мargarита и Мастер...
Надя Рушева... Та...
Память тотчас услужливо
выдаст справку о ней.
А спрошу я: не нужно ли
быть немного добрей?!
Что нам выставка — «зрелище»?
Может, бокс или цирк?
— Сколько страсти и зрелости!
— Ах, булгаковский цикл!
— Сколько силы, размаха!...
Мне совсем не смешно.
Погодите, не ахайте!
Это — грешно!
Поумерьте восторги
у толпы на виду.
Ваши реплики — торги —
ценят чью-то беду...
Надю вспомните. Девочку.
Как она, не дыша,
держит чуткую веточку
карандаша.
И рисует, рисует...
Называйте судьбой
то, что вечно рискует
самою собой!
Мозг не выдержал. Хрупкий.
А себя не берет!
И уложены руки
в изголовье берез...
А чужому рассудку
невелик интерес.
10 000 рисунков!
10 000 чудес!
Раструбили газеты.
Расшептали уста.
Все рисунки — в газете,
как на-вынос гроба.
Неужели бездонно
вдохновенье текло,
чтобы кто-то бездумно
пальцем тыкал в стекло...
Не увидев за творчеством

человечьей души,
мерил мерою порчи:
слава, шум, барыши.
Вы, умишками шуплые,
дети сытых квартир,
словно тело не шупайте
ни стихов, ни картин!
К черту все замечания!
Наде больше дано.
Ей привычней молчание.
Словно вечность оно.

В ДОЛИНЕ ТИГРА И ЕВФРАТА

В долине Тигра и Евфрата
земля раздорами чревата,
здесь часто брат ходил на брата
опустошительной войной.
Сегодня вдумчивый историк
поведает, как храбр и стоек
был каждый, как безмерно горек
был путь... конечно, в мир иной!

В долине Тигра и Евфрата
земля находками богата:
монеты, бусы из агата,
щиты, сосуды, стремена,
гробницы, женские гребенки,
мечи, игрушки для ребенка —
сработаны искусно, тонко
в мифические времена.

В долине Тигра и Евфрата
земля ничуть не виновата
в том, что и нынче брат на брата
нередко искоса глядит.
А так как каждый храбр и стоек,
и легче разрушать, чем строить,
вполне возможно, что историк
через столетья разъяснит:

в долине Тигра и Евфрата
земля находками богата:
монеты, диск от автомата,
противогаз, бутылка вина,
транзистор, женские гребенки,
часы, игрушки для ребенка,
засвеченная фотопленка —
мифические времена!



* * *

Я научилась жить в разлуке
с высокой солнечной землей,
где цепенеет голос вьюги,
рожденный северной зимой,
где темный остов Нарикалы
еще темнее поутру,
где под горою дом усталый
поскрипывает на ветру...
Над черепичной жаркой крышей —
цветенье светлое дождя...
Но, в сумрак памяти входя,
смогу ли этот свет расслышать?

* * *

Глухие углы безутешны.
И горек родительский кров.
Спасительной болью надежды
мы живы во веки веков.

Равнинная память окрепла,
лицом повернулась вперед, —
туда, где сквозь марево пепла
к вершине вершина растет.

Там быстрые реки горбаты,
до солнца — рукою подать...
И радостно просит растраты
души каменеющей стать.

И все-таки — что же мне делать
со словом, что стынет в краю,
где песне, морозной и белой,
доверили юность мою?

ИЗ ЦИКЛА «ВЫСОКАЯ ЗЕМЛЯ»

* * *

На бесприютном языке младенца
сказать намного проще о любви,
чем, продираясь сквозь древесный шорох
владений вековечных словаря,
пытаться объяснить свое дыханье —
отпаивать своей горячей кровью
зверьков, рожденных оттиском свинца.
Дать имена всему, что безымянно, —
чтоб явью стал глубокий сон рассудка?
Но Лермонтов когда-то произнес:
«Люблю отчизну я...» — и не добавил
ни слова больше. Только пулю принял,
чтобы остаться с нами навсегда.

Высоты российских равнин.
 Высокая память души.
 Ты с нею — один на один —
 постой, помолчи, подыши.

Пусть только дыханье дано,
 когда оживает строка, —
 но в землю уходит зерно,
 опору находит рука.

От боли душа молода,
 от гибели вымысел спас.
 И прошлого нету, когда
 все — только сегодня, сейчас.



Павел НЕРЛЕР

ПАМЯТИ ЦЫБУЛЕВСКОГО

Но для души еще страшей...

I

Мы копим соли горные кристаллы,
 доподлинность возводим на престол,
 а память окунается в рассол —
 субстанция ей зыбкая пристала!

Но нам былого милые следы
 куда важней событий предстоящих...
 Вдруг вспыхнуло видение воды
 среди миражей и песков манящих.

И все бежит соленая река,
 забвенье разливается по венам.
 Доподлинность доподлинна — пока
 она жива,
 а жизнь ее — мгновенна!

И вся-то жизнь — прозрачная молва,
 уроки зыбкости, наука запустенья...
 В рассоле растворяются слова,
 и сомкнутые раздаются звенья,
 отныне различимые едва.

Я получил блаженное наследство...

Как странно мне наследовать чужое,
с чем жизнь меня воочью не свела.
Уже с моей сроднились душою
лазурных линз былые зеркала.

Метехи, Анчисхати и Кашвети,
ориентиры черепичных крыш...
Сей век облюбовав и заприметив,
ты на скамейке под плющом сидишь.

Ты не спеша по улочке шагаешь,
глотаешь набежавший ветерок.
Закусываешь, пиво подливаешь,
записываешь наспех что-то впрок...

Как странно мне наследовать блаженно
твои стихи и лучших из друзей,
и город твой, волшебный несомненно,
оплот поэзии, благословенье ей.

И сад — прекраснейшее из ущелий,
и осень — наилучшую из пор...
Здесь все — твое, а я, как на качелях,
лишь изредка встречаю в разговор.

„ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...“

Очевидно, надо так пережить чужие стихи, чтобы воскресло все, из чего они выросли, — и тогда поверишь в животворящую силу слова и возжаждешь обессмертить подвластное взору и разумению. Этой-то жаждой и томим Александр Цыбулевский, автор книги «Владелец шарманки». Время, память, искусство — вот что сильнее всего волнует его душу и мысль.

«...Как случается, что останавливаются вдруг старинные часы и некому уже их чинить?» — спрашивает он. Но продолжает: «А зачем их чинить? В них отчетливее рок...» Эти умолкшие часы — символ безвозвратного прошлого, поглощаемого Временем, беспомощного перед натиском настоящего (которое тоже — «недолговечней детского румянца») и тем более вожделенного для тех, кто верит в живую связь времен, для кого прошлое, напротив, не умолкло, а звучит «все тише, тише, все слышней». «Уважение к минувшему» — для Цыбулевского не профессиональная заповедь, не «сублимация» этнографического или археологического любопытства, но деятельная воля к бессмертию, к сбережению бесценных мгновений жизни, «отстоявшихся» в памятниках древности, в сохранивших «след вещей» человека вещах или в Слове, которое в высшей и равной степени беззащитно и неуничтожимо («Рукописи не горят»). Бесследное исчезновение былого глубоко ранит Цыбулевского. В прекращении народного промысла он видит гибель мастерства, то есть искусства: «А Кады-Али все еще сидел в прохладной темноте, опустив ноги в яму, удивленно рассматривая свои умеющие руки». Ненужность уникального мастера — очень прозный симптом «прозаического бреда» и будничного, бессодержательного мировосприятия, тогда как жизнь внезапно и заманчива, полна искуса и очарования.

«Все уходило, а я не делал главного: не пытался выразить это словами», — укоряет себя поэт. «Не попало на бумагу — пропало», — утверждает он. Зато «бессмертна рыба в имени «цоцхали», бессмертна и любая точка пространства, если она носит имя: Метехи, или Ксани, или Скра...

Вместе с тем Цыбулевского отличает талант внимания к сиюминутности, умение находить поэзию «под ногами», в обычном и обычном.

И солнце, что похоже на луну,
 Скользит тончайшим диском по туману.
 Пойду еще раз на него взгляну
 И думать о ничтожном перестану.

Наискосок — в небытие — лаваш.
 Девчонка с ним из лавки побежала.

Скажи на милость, что еще за блажь —
Душа моя пророчеств пожелала.



Это солнце, и девчонка, и лаваш равно принадлежат прошлому и грядущему, жизни и искусству. Они — знаки бытия, которое каждую минуту становится историческим и вместе с тем остается для поэта живым, сокровенно-интимным. Чувство истории, вскормленное цепкой и ненасытной памятью, подкрепляется прекрасной достоверностью реальности. И Цыбулевский, алчущий «самовитого» слова, признается:

**Чту доподлинность — ту, что заране
Предсказать и придумать нельзя...**

Однако поэт знает, что искусство — не фактография. Оно не только единственно доступный человеку способ обессмертить быстротекущее бытие, но и метод творческого познания. Размышления Цыбулевского о литературе не самоцельны и не праздны. Художник — не «рабский переписчик», не регистратор, а провидец, проявитель незримого, потаенного. Изощренная поэтика рождена бесконечным, трудноуловимым многообразием жизни и самоотверженной заботой адекватного ее запечатления. «Броуново движение» мысли отзывается мгновенными, но непререкаемыми ассоциациями, «прятки» которых — ради праздника: угадав, ахнуть от изумления.

Но Цыбулевским созданы и стихи прекрасной ясности, грациозной простоты:

**Поток несется темно-бурый,
А был когда-то голубой.
О голубая Сакаура,
Что ты наделала с собой?**

**Мне не забыть, как в пене звонкой,
В отпрянувшей голубизне —
Ты диковатою девчонкой
Явилась на мгновенье мне...**

Цыбулевский убежден, что «природа не может и шелухнуться без строки поэта». Он пишет: «Облачко, которое ночевало, решило на этот раз не в путь умчаться рано, а остаться» — и оживают, переживают «второе пришествие» стихи Лермонтова. Или: «Густо, как мед, льются сверху тягучие солнечные лучи...» — и в памяти вспыхивает: «Золотистого меда струя из бутылки текла...». «Вспомнил — как сотворил», а творчество для Цыбулевского — незывлемая ценность.

Воспоминания, их природа, структура, закономерность или алогичность ассоциаций — все это еще и специально интересует автора повести «Хлеб немного вчерашний». Он переживает не только драму забвенья, но и оскорбительную для жизни недостаточность воспоминания («суррогат», который «настоящему не имеет ни предмета, ни состояния»), и самовластную непокорность памяти, выхватывающей из прошлого то одно, то другое, непоправимо искажая его. «Господи, — говорю я, — как же так — это был такой заполненный день,

такой ни в каком другом не нуждающийся... так что же он распахнулся и впустил в себя дни другие — и — это уже невозможно остановить»... Или еще безнадежнее: «Бесловорочно дни теряют дни, Теряясь целиком и оставаясь в целом».

Надо отметить, что у Цыбулевского каждое данное состояние, явление двуедино или чревато собственной противоположностью: светлая тень, тепло забвенья, слепой, но зрячий дождь, бессонный сон, огромные крупы, вечная секунда и т. д. Взаимоприятие, взаимопереходы противоречащих друг другу сущностей, вплоть до: «Грех правоты, святого дела...».

Воспоминания столь же «синкретичны», но здесь открыто первенствуют впечатления детства, предельно самоценные и бескорыстные: ведь взрослый человек влеком произволом пристрастей и оттого несвободен.

Импрессионистичность манеры Цыбулевского как нельзя лучше соответствует его памяти, которая не есть «поток сознания», а своего рода спираль ассоциаций, по видимости свободных, но почти всегда оправданных. Но поэт требует от памяти еще и этической зыскательности, непокая: «...насколько все, что попало на бумагу — не основное... Вокруг да около. А нужно бы — о совести, о ее усыплении. Заснула. Чутко спит...» Малодушие не к лицу художнику. Имя Блока не случайно возникает в самых горячих точках книги.

«Владелец шарманки» — это стихи и проза, взаимоотношения которых внутри книги отнюдь не идилличны, а полны драматизма, так что автор даже восклицает:

**О, если бы переписать стихами,
Что прозой складывалось набело!**

Складывалось с дневниковой непосредственностью, так что и муки творчества, и «тайны ремесла» доверительно открыты, и читатель волен сочувствовать и соучаствовать.

Книга Цыбулевского — это добыча «поэзии и правды» открытым способом. Добыча жизни, средоточие которой — человек: «И вдруг я почувствовал — все, что я до сих пор получил в Дагестане — шум аула, смешанный с мыгчаньем теленка, ослы, медное блюдо, вид из Амузги, светильник, тот всадник, пропавший за поворотом, туман, — все это распалось бы, если бы не было мною получено, так сказать, из одних рук. Из рук этих чабанов с детскими ямочками и светлыми усами. Я все получил от них». Счастлив должен быть владелец столь несметных и неподдельных сокровищ, ибо знает цену и преходящему, и вечному.

Книга Цыбулевского тонизирует, что ли, память и мысль читателя. Она не просто интересна, но увлекательна, хотя, может быть, не всем и не сразу придется по вкусу: «ведь в качестве образца вкусовая память берет привычные суррогаты. Но постепенно!..»

с. Ястребовка Курской области.

ОН

(Триптих героических баллад
с прологом и эпилогом)

ПРОЛОГ

Я не загадывал заранее,
Смогу ли с Музой поладить,
Но есть заветное желание —
Оставить в мире три баллады;

Я буду в них и строг, и сдержан,
Благоговей и горя, —
Ведь правда — их сюжетный стержень,
А подвиг жизни — смерть героя;

Я их в душе своей вынашивал,
Я верил — сделать их сумею,
На грани моего и нашего
Пишу и медленно немею...

БАЛЛАДА ПЕРВАЯ

Одной суровой правды ради
Учусь писать прямей и проще,
И вот шумит в моей тетради
Баллада о дубовой роще.

Ему дарили «благодать»
Крестов, корон, цепей и виселиц.
Его хотели разгадать,
Чтоб из веков грядущих выселить,

Его сжигали на кострах,
Опутав злыми наветами,
Но Он, презрев и боль, и страх,
Как в бога, верил в мир неведомый,

Ни пан, ни царь, ни князь удельный —
Веков прошедших рядовой,
Он тем идейный был, что дельный,
И вечный тем, что трудовой!

Сквозь яды церкви, кабака,
Сквозь чад сивухи, волны ладана,
Всем, что сработал в жизни ладно,
Тянулся Он за облака,

И в суеверия потемках,
Отринув времени предел,
О нас Он думал — о потомках,
О звездном веке чувств и дел...

Как жизнь, неистов поиск истины —
Нет в мире поиска трудней,
Нет, не в указ, тираном изданный —
Он верил в гений наших дней,

В безвременье глухой поры
Он был, как к истине порыв,
Как вызов миру паутинному,
И брал Он бога за бока,
И шел от барина в бега,
Чтоб впредь истории века
Не ковыляли по-утиному,

То пахарь, то мастеровой,
Он знал, бунтарь, герой, умелец:
Смиреньем горя не умерить,
Не будет воли даровой!

Гремели во дворцах пиры,
Неслись лихие тройки в мыле,
А в темных избах до поры
Светло точили топоры
И красных петухов кормили...

Творить добро — святое право,
И лес сажал безвестный прадед,
И многошумная дубрава
Его потомкам тенью платит.

На сквозняке столетий лютом
Ржавеет память, как железо,
Но Он ушел, оставив людям
Наброски будущего леса,

А сам остался безымянным,
В безбрежном мире растворился
И стал землей, дождем, туманом,
Как дверь на волю, растворился...

БАЛЛАДА ВТОРАЯ

Он умирал от ран, от жажды
Средь раскаленных душных скал,
И каждый вздох, и шорох каждый
Его на муки обрекал.

Страдалец к небу обращался
С неизреченною мольбой:

«Я защитить тебя старался —
И вот низвергнут я тобой...



Там, где лежит моя деревня,
Где колыбель зеленых крон,
Перед грозой шумят деревья,
Зарницы лижут небосклон,

А здесь от жажды сохнут губы,
Лицо огнем опалено,
В глазах темно, и боль погубит
Меня к рассвету все равно;

С небес низринутый, страдая,
Гадаю на исходе дня.
Гроза ли грянет молодая,
Чтоб влагой напоить меня,

А, может, долгий путь проделав
Над сотнями чужих дорог,
Прохладой из родных пределов
Повеет свежий ветерок?!

Легендой боль мою измерьте —
Нет, я не плачу, я плачу́,
За жизнь плачу ценою смерти,
Когда мне жизнь не по плечу.

Не дрогнул я, хоть был неравным
Тот бой за горную гряду —
Пусть подвиг мой примером славным
Останется у нас в роду!

Недолго мне страдать осталось,
И скоро я уйду во тьму —
Уже смертельная усталость
Подкралась к сердцу моему,

Плывут над миром тучи-глыбы,
Неся дыханье дальних рощ —
Друзья, вы для меня смогли бы
Чз них руками выжать дождь,

Но смерть подходит к изголовью,
И не открыть мне больше глаз...
О, жизнь моя! С тоской, с любовью
Утешь меня в последний раз,

Дай напоследок стать счастливым
Под свежей сенью синих струй,
И подари мне щедрый ливень,
Как свой прощальный поцелуй!».

Но были небеса сухими,
Как сбитого орла глаза,
И билась струями тугими
В других краях его гроза...

БАЛЛАДА ТРЕТЬЯ

Учусь писать без притязаний,
И правда — мой пароль и пропуск:
По турьим тропам партизаны
Бесшумно огибали пропасть,

Стремясь к обледелым кручам,
Они, как призраки, скользили,
Завернутым в холстину крючьям
Доверив слаженность усилий,

Шли на задание через горы,
Приказ Отчизны выполняя,
Но в пропасть черную, как горе,
Скользнула вдруг нога больная...

Он падал, прижимаясь к скалам,
С их естеством стараясь слиться,
Но смертным скалились оскалом
Утесов каменные лица.

Как Он в падении бездонном
Летел сквозь ночь — никто не видел,
Но Он ни криком и ни стоном
Своих товарищей не выдал.

Ползли морозные туманы,
Все было беспросветно-глухо,
Он возносился, безымянный,
К сияющим вершинам духа...

ЭПИЛОГ

Закончен разговор неброский,
Отмерен жизни срок недолгий,
И воплощенья ждут наброски
О вере, верности и долге:

Он за добро платил добром,
Когда водил моим пером,
Он знал войну и недород,
Но, стиснув зубы, шел вперед,
И в сердце звал мечту: «Пригрейся!»
Он — главный двигатель прогресса.
Он — народ.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Стала я и горда и худа,
По родимой земле голодна,
Голодна, ненасытна, когда
Встала Речь над землею кромешной, —
Угловата, сурова, бедна,
Поцелует — о, как холодна,
Как любима, но как неутешна!

Встала — ходит теперь по дворам,
По задворкам, домам и углам,
По застолям, полям и углям,
А вослед, а за нею, за нею —
По дорогам! бесчинство и хлам
Вьется с пылью, с грехом пополам,
Вместе с воплем: «Сказать не умею!...»

Но надменно ступает она,
Тень ее и длинна и темна,
А в тени ее дремлет страна,
А в тени ее стыд копошится...
И немотная, злая вина
Ходит, ходит в груди, как волна —
Не унять, не избыть, не забытья.

Речь идет — не по Лете ли вброд?
Вот он — ею плененный народ
Род за родом коверкает рот:
Только хрип, только стон,
Пар клубится...
Но с любимцами гласных длиннот
По-особому счет заведет:
С ними лютая речь ростовщица.

Ни свечи, ни звезды не зажгла
В конуре моего ремесла
И судьбой расписалась на всяком,
И братьев моих не спасла,
На родимую землю снесла,
А на этой земле поросла
Можжевельником, холодом, мраком.

Непреложным вдруг стало, насущным
о себе, как о третьем лице,
рассуждать, восседая в грядущем,
точно в кресле на дачном крыльце;
о себе, как о древнем преданье,
рассуждать, начиная с сего:

«...И она полюбила страданье
прежде, чем испытала его...
Ей мерещился жертвенный жребий:
кровь на лбу, на руках волдыри,
из сокровищ, пустот и отребий
ночь взяла она в поводыри.
Ей мечталось присвоить у века
полусвет одинокой звезды,
зверя в чаще,
лицо человека
с отпечатком пропащей судьбы,
долгий путь, ураган, бездорожье,
мутный ливень, поля и леса,
чад куренья,
облитые дрожью
закипавших страстей голоса...»

Ну а дальше — что сделалось с нею?
Не сгубил ли ее лиходей,
не замерзла ль в объятьях Борея,
не погибла ль от злобы людей?

Нет, — потупясь себе отвечаю.
Все в порядке, — она говорит.
Крепко спит. Любит пряники к чаю.
В тщетной бедности мужа корит.
Мерзнет в холод. В жару обмякает.
Тянет лямку усталости злой
и заботою дня истекает,
в руки белые пав головой.

И не видит она, и не слышит,
что какое уж время подряд
у нее нет ни дома, ни крыши,
ливня стрелы над нею летят.
И не чает она, и не чует,
что идет по родимой земле,
под звездой своей мутной ночует
и блуждает в предутренней мгле;
что Природа загадочным жестом
сочетала царя и раба,
И слились
испытанье с блаженством,
смысл со словом
и с жизнью судьба.

ПРОСТО

Просто город.
Просто весна.
Просто воздух
Детством наполнен.
Просто кто-то здесь помнит меня,
Обязательно кто-нибудь помнит.
Просто здесь по закону мечты
Откровению больше подвластен,
И еще — улыбаюсь чаще,
И не знаю, куда пойти,
Потому что приехал — к родному,
Потому что опять — уезжать...
И здороваюсь с незнакомыми,
А друзей не могу узнать.

* * *

Извините,
Извините,
Но и вы меня
Поймите:
Я бываю
В вашем городе
В четыре года
Раз.
И спешу я
Навстречаться,
Навстречаться,
Навидаться
Сотоварищи.
Простите —
Тороплюсь.
Который час?
Я толкнул вас?
Ради бога,
Самого меня
Толкните.
Пусть свалюсь я
На дорогу —
Черт со мною,
Будем квиты.
Надо мне
Вон в тот проулок,
Где деревья —
Караулом,
И где тени
Спозаранку



Шелестят
На эсперанто.
Надо мной
Дамоклов меч:
Время.
Ну хоть взять да лечь
В ложе шустрого
Прокруста.
Впрочем,
Я и сам-то
Шустрый.
Обегу
Друзей столичных,
В ста домах
Съем сто яичниц,
И запью
Столь крепким кофе,
Что потом
Вздыхать да охать:
«Мои милые
Друзья,
Я без вас
Совсем не я.
Жаль, живете
Далеко:
Добираться
Нелегко».
...Вновь невежливо
В людей
Я врезаюсь:
Мне — скорей.
Извините.
Вы поймите:
Я ищу
Своих друзей...

* * *

Вольному—воля,
Вольному—воля...
Что там за речкою? —
Тихое поле.
Что там за полем? —
Бревенчатый дом.
Детство мое
Поселилось в нем.
Кто там за домом? —
Дед мой с кнутом.
Кнут ему,
В общем-то,
Вовсе не нужен.
Просто им дедушка
Лупит по лужам,

В спешке забытым
Бродягой-дождем,
Он говорит,
Если в капельке каждой
Солнце горит,
То хотя бы однажды
Прожжет ему новенькую
Рубаху
Горячая капелька —
Редкая птаха.
...Он верит рассказам,
Что капля горячая
Дедовым внукам
Приносит удачу...

Вера КОСТЫЛЕВА

* * *

Если слышу шум листвы —
Это ты последним жестом
Шевелишь рукой — «воды!»
Обнимаешь — «будем вместе!»

Если слышу шорох волн —
Это ты последним жестом
Сквозь слезливый горький ком
Призываешь — «будем вместе!»

Если слышу боль внутри —
Это ты последним жестом
Мне прощаешь все грехи,
Обнимаешь — «будем вместе!»

«Мама!» — Отзвук дорогой
Слышу я в любимой песне.
Обняла одной рукой,
Словно выдохнула — «...вместе!»

* * *

У тебя проходит день,
Словно чарка меда
опрокинулась
в свирель —
песнь для небосвода.
День, похожий
на янтарь,
в синем поднебесье,



Между днем
и сердцем грань,
названная песней.
Плачет песня,
не поет,
слово в ней:
«Родимая»!
Как лебедушка плывет
песня
лебединая.
И кручинится
душа,
и тоскует белая,
черной ночью
дыша,
ни во что
не веруя.

* * *

*Осенняя пора...
Пушкин.*

Осень! Осень!
Неба просишь
В сером перламутре
Туч,
В сером перламутре
Лет.
На висках белеет
Проседей...
Осень! Осень!
Нежный луч
И оранжевый рассвет.
Осень! Осень!
Чей-то след,
Кто-то рядом,
Шаг за шагом,
Словно рядом
С тенью — свет.
Кто-то рядом,
За спиной,
И сливается,
Роднится,
Входит полностью
В меня.
Нам уже не раздвоиться:
Неделимы
Два огня.
А на годы
Мы набросим
Черный плащ «под домино»,
И судьбу
Опять попросим

Выдать
Крепкое вино.
На пиру у сказки детства
Юность с зрелостью
Поют,
Словно три волшебных кресла
Сдвинуты друг к другу тесно,
Чтобы нам
Создать
Уют.

* * *

Хризантемами пахнут звезды,
И кудрявятся звезды вдали.
А стволам, как ногам промерзлым,
Лишь хрустальные сапоги
В эту ночь раздарила осень...
Хризантемами пахнет ночь,
А в душе-то усталость и проседь,
От которых — все мысли прочь.
Голубеет слеза на окнах,
Обнажилась моя душа,
Как художник, в своих полотнах
Обнажаясь, живет не дыша.
Так и я перебралась в осень,
Словно в чей-то попала след —
К хризантемам поближе, в просинь,
В перламутровый этот свет.

СВИДАНИЕ

Все та же ива у пруда,
И тот же серебристый тополь.
Я не бывала никогда
На ипподроме. Слышен топот —
Коней ведут жокеи. День
Дугу описывает тропкой.
Какая праздничная лень
На ипподром влечет торопко
Народ... Приходишь. Говорим.
И тесен белый свет двоим.

ГРУЗИЯ

Фрагменты из поэмы

* * *

ИЗ «ПОСВЯЩЕНИЯ»

Цвети, изумрудная Грузия,
Великих поэтов мечта!
Какими сердечными узами
С тобой я навеки слита?
Блистаешь зарницами-девами,
Тимпанами песен звучишь,
Недаром пленила и Демона
Твоя вдохновенная тишь.
Недаром грузинской красавице
Он скорбное сердце принес...
Веками земля твоя славится
Обильем пленительных лоз,
Без промаха бьющим оружием,
И сладкой отрадой любви,
И нерасторжимою дружбою,
Садами, где ждут соловьи,
Чтоб розы раскрылись пунцовые
Для светлых любовных тревог...
...Луны серебром облицованы
Просторы грузинских дорог...

* * *

...Косматые бороды
Разорванных туч
Мтацминда — над городом,
И ветер — певуч.
Он полон звучаньями
Глубин и высот.
...К чему мы причаляли —
То нас и спасет.

ИЗ ГЛАВЫ «КАВКАЗ ЛЕГЕНДАРНО-СКАЗОЧНЫЙ»

Тигры — пятнистые скалы,
Их облака приласкали
И отлетели, дрожа.
Месяц — обломок ножа,

Всаженный в черную рану.
Плача, присели бураны
Где-то в глубинах долин.
Горных высот властелин —
Кружится серый орел.
Где он добычу обрел?
Терзает кондор героя,
Его золотую желчь
Клюет над глухой горою,
Где месяц туманно-желт.
Клюет и кромсает клювом,
И в бездну летят куски,
И не прошепчет «люблю» вам
Месяц в наплывах тоски.
Желтые капли злобы —
Искорки хищных глаз.
Долготерпенье — до гроба.
Грозен стоит Кавказ.
Здесь не пройдет затея
Грозных вражьих угроз —
Недаром о Прометее
Он сказ сквозь века пронес!

Александр ЛЕОНТЬЕВ

ДОБРЫЙ ГОРОД

Эту тихую улицу на горе,
Этот дом, неприметный в зеленом дворе,
Этой каменной лестницы темный пролет
И квартиру, где женщина эта живет,
От тебя я в чужие унес города,
Чтобы снова с надеждой вернуться сюда,
Чтоб вдыхать твой пьянящий, густой аромат,
Чтобы встретить внимательный, ласковый взгляд,
И бродить по проспектам, не чувствуя ног,
И услышать ночной телефонный звонок...

Добрый город мой, ставший моею судьбой!
Я хотел бы навек породниться с тобой.
Я хотел бы пройти как хозяин, как свой,

По булыжной, неровной твоей мостовой,
И стихи написать на твоём языке,
Где бы голос твой слышался в каждой строке...



...Мне все кажется — я для того и живу,
Чтоб увидеть не только во сне—наяву

Эту тихую улицу на горе,
Этот дом, неприметный в зеленом дворе,
Этой каменной лестницы темный пролет
И квартиру, где женщина эта живет...

Леонид ЗАМЯТНИН

СВАНЕТИЯ

В той стране все жители — родные.
А всего-то жителей — немного.
В небо смотрят башни крепостные
И ползет над пропастью дорога.

Встретил я в пути страну такую.
Весть летит от края и до края —
«Сын родился!» — и страна ликует.
«Старец умер!» — и страна рыдает.

То ли — вечный праздник,
То ли — горе
И со всех сторон, как башни, — горы.

* * *

Снова куда-то спешат облака,
Следом и дни уплывают за днями.
Ветер гудит. Барбизонит река.
И караульчи стреляет камнями.

Снизу приходит белесый туман
И отжимает тяжелую влагу.
Но существуют работа и план
И от него отклониться ни шагу

Прав не имею. Проценты мои —
Снежные гребни и скальные стены,
Люди и горы. В палатке — ручьи.
Вымок мешок... Отклониться от темы

Не удастся, поскольку — гроза.
Молния целится в темечко точно.
Я на приеме сижу полчаса.
Не отзывается гребень Восточный.

Значит, пора выходить на грозу
И пробиваться навстречу пропавшим.
Вряд ли почувствуют те, кто внизу,
Как надоело казаться бесстрашным.

Неуязвимым, лихим мужиком,
Песни Высоцкого хрипло поющим,
Охнув под наглым моим рюкзаком,
Я выхожу к безголосым, но ждущим.

Владимир ТЕРЕЛАДЗЕ

— Баты-буты!..¹ — и все замирает.
Это голос счастливой поры,
голос детства... И первый порыв —
безотчетен, но тем уже равен
естеству. Баты-буты!.. Старик,
как легка твоя тень и кургуза...
Кто из нас перед ним устоит,
перед золотом кукурузы?!

Баты-буты! Сквозные шары,
озорные дары солнцепека,
грузно смахивающего об локоть
виноградины спелой жары...
Но куда ты? Постой! Баты-буты!!
...Дай господь тебе долгой поры
в многократно повторенном: Будьте!
Будьте веселы и добры.

¹ Жаренные зерна определенного сорта кукурузы.

* * *

Сперва был сад, парящий над оградой...
Затем тот странный, нежилой подъезд.
Затем торгующий лежалым шоколадом
Курд Сулейман — наш одноногий Крез.
И только лишь потом, на повороте,
Мелькала вывески эмалевая синь...
Под ней в подвале, словно в тихом гроте,
Подрагивал в лохани керосин.
А по нему текли обрывки радуг
И керосинщик, справившись с едой,
Огромной кружкой пенистую влагу
Зачерпывал и наливал в бидон.
И долгий вечер был уже не страшен —
Пусть гаснет свет и некуда идти,
В далекой кухне кто-нибудь из старших
Впотьмах упругий разожжет фитиль.
И нам, плывущим в мягкой полудреме,
Средь берегов слоистой темноты,
Лица, возникшего в зияющем проеме,
Чужими вдруг покажутся черты.
Зловещий профиль ляжет на обои,
На дверце шкафа оживет глазок,
И, словно разминаясь от застоя,
Кругами разойдется потолок.
Но лампа вмиг перетасует тени,
Направ опять на свой же старый след,
Творя из пятен, ниш и привидений
Ночной уют послевоенных лет.

НОЧЬ И ГЛАЗА ДОЖДЯ

Мастер работает стоя. Читает вслух Пушкина: «Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: Ворон!..» На столе лампа, изящная, белая, подаренная японской поэтессой Юаса-сан.

Варвара Дмитриевна ложится спать поздно: в 3, в 4... Всегда что-то просматривает, вспоминает о чем-то... Вот и сейчас она открывает редкое издание художника Бусона. «Ворон к ворону летит», — шепчет она, созерцая живопись японца: на заснеженной иве съезжившись сидят два ворона. И Варвара Дмитриевна вдруг становится похожа на одну из этих птиц, также сутулится. Теперь у нее настроение как у Басё: «На голый ветке Ворон сидит одиноко. Осенний вечер» или как у Хлебникова — «Голые рощи. Сосна одиноко темнеет. Ворон на ней».

Мы беседуем о самых разных мелочах. Говорим, например, что в темноте голос становится птицей, а песок устает от ног, что сон согревает как солнце, а острова в бушующем океане становятся то водой, то землей. И почему белый угол комнаты притаился вчера вторым вечером, а синие купола монастыря так пристально смотрят в небо, не догадываясь, что они — это и есть высь...

— Цвет — радость и восторг, — произносит художник и смотрит, как на чернолаковом подносе ослепительным цветом прорастает яблоко. Оно одиноко и напоминает японскую маску, маску театра Но или Бунраку. Оно одиноко и излучает в густой ливень лунный свет... А мы — Бубнова и я в темных одеждах, точно еще две ночи. И только голова ее соперничала с луной, с яблоком, заливая все медленным и тихим, словно ее шаги, светом тепла. И родился стих-молния:

**Мы в темном,
на черном белое яблоко,
на белом капли ночного дождя
белые.**

В окна стучалась осень, стучалась тяжелыми гроздьями капель в лица стекол, а в комнате звучал Хлебников-график:

**Она стояла скорбно, странно,
Как бледный дождь в холодном лете.**

Звучал Хлебников-живописец:

**Рукою темною рвала
С воздушных глаз малиновые слезы?**

— И все-таки как беден наш язык в цветовом отношении, как он условен, — замечает Варвара Дмитриевна и берет на широкую ладонь ветку с красными сливами, лежащую на столике из вишневого дерева. — Как сказать об этом словом? Как выразить сливу, ее цвет?

Мы пытаемся «написать» кистью слов ветку сливы:

**Слива — багровая капля
упала с дерева
кровью.
Качался еще зеленый лист...**

— Можно ли эту сливу назвать только багровой, красной или голубой, а лист — зеленым, — рассуждает Варвара Дмитриевна. — Посмотрите, сколько здесь цветов. «Озвучить» эту ветку невозможно словом... Ее невозможно схватить даже кистью, потому что абсолютного цвета не существует... Когда-то в молодости, когда я училась в Петербургской академии художеств, профессора требовали от нас точной передачи цвета кожи натурщика. Но цвет этот менялся, как менялись свет и цвет неба, а с ними менялось и мое видение природы. Чтобы добросовестно передать увиденное, я ежедневно переписывала свой холст; в конце концов он неизбежно становился унылым серым или просто грязным. Унылым становилось и мое самочувствие...

1907 — 1922... Экспериментировали Хлебников и Кандинский, Бурлюк и Белый, Бубнова и Филонов, Маяковский, Малевич и Матвей... Новые течения зарождаются в живописи и поэзии. Самые неожиданные смысловые оттенки, цвета, запахи, едва уловимые очертания принимают новое слово, наполненное живописью, образностью, приближенное к нероглифам. Русские поэты и художники, молодежь начинают интересоваться и глубоко изучать философию, искусство, традиции культуры Индии, Китая, Японии. Так, Хлебников, родившийся в Калмыкии «28 октября 1885 г. в стане монгольских исповедующих Будду кочевников», с девятнадцати лет изучает японский язык, ищет в нем «особых форм выразительности». Возможно, что именно эти занятия привели поэта в 1907 году («Песнь Мирязя») к плавке корней слов, к словотворчеству. Какие-то звуки Хлебникова нашли свой отклик в звучных цветах живописи Бубновой. Созвучны и их образы, восточный ритм мышления. Несомненно, что на это сходство повлияло время, новые веяния начала века и то, что они были почти ровесниками (Хлебников старше Бубновой на 8 месяцев), принадлежали к одному поколению. Знакомы они не были, но она его видела и слышала однажды. Кто знает, может быть, и он ее видел, «слышал» ее живопись... Да и нужно ли было им видеть друг друга, ведь они так хорошо прочувствовали время, себя каким-то внутренним, высшим взором.

Работая параллельно в слове и цвете. Поэт и Художник мечтали объединить в единое целое поэзию и живопись. Эти усилия называли пародией на искусство, на литературу, не имеющими ничего общего с реализмом... В теоретической ра-

боте «Пластический символ» Варвара Дмитриевна пишет: «В недавнем прошлом многим неискушенным зрителям была понятна даже самая простая по сюжету фотография...»

Разумеется, искания путей в искусстве и литературе вызывали протесты и негодование уже лишь потому, что все это было необычно, непонятно. «Для узнавания, — продолжает Бубнова, — нет необходимости в полном совпадении изображения с его предметом. В искусстве оно даже недопустимо. Зритель не всегда сознает, что чаще он «угадывает», чем «узнает» изображенный предмет. Эта способность угадывания и допускает важную для искусства возможность упрощения, обобщения и даже деформации предмета, если это необходимо художнику для усиления выразительности изображения...»

Об «узнавании» писал и Велимир Хлебников. Объясняя строки из поэмы «Ладомир» — «Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т», он отмечал, что имея «пару таких слов, как «двор» и «твор», и зная о слове дворяне — творцы жизни, слово воспринимается как знакомец с внезапно незнакомым лицом, или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое». Вот яркий пример диалога живописи и слова, Бубновой и Хлебникова об одном из важных принципов творчества.

Где же истоки подобных мыслей? «Европейская изобразительность, — отвечает на вопрос Варвара Дмитриевна, — всегда стремилась к большему сходству с предметом изображения, к более легкой, непосредственной его узнаваемости. Что же касается Востока, то его изобразительность довольствовалась более или менее ясными намеками на изображенный предмет, не боясь затрудненности его узнавания, будто сознательно создавая эту затрудненность».

Бубнова и Хлебников побывали на Востоке, познакомились с первоисточниками его древней культуры, ибо «в большой мере художнику помогает знание путей в искусстве, уже пройденных; традиция, школа могут помочь и в смысле сознательного отталкивания от них: это как бы полет с трамплина в новые просторы».

Новые просторы поэзии открылись перед Хлебниковым, когда он познакомился с японским стихосложением. «Оно не имеет созвучий, но певуче, — говорил поэт, — заключает, как зерно, мысль и, как крылья или пух, окружающий зерна, видение мира. Я уверен, что скрытая вражда к созвучиям и требование мысли, столь присущие многим, есть погода перед дождем, которым прольются на нашу землю японские законы прекрасной речи. Здесь предметы видны издали, точно дальний, гибнущий корабль во время бури с дальнего каменного утеса». А в 1916 году в «Письме двум японцам», обратившимся ранее через газету «Какумин Симбун» с воззванием объединиться с ними юношам русским, Хлебников писал: «Наши далекие друзья!.. Итак, ваша рука протянута к нам, итак ее встретила рукопожатием наша рука, и теперь обе руки юношей двух стран висят над всей Азией, как дуга Северного Сияния... Мы могли бы собраться в Токио...»

Он мечтал побывать в Японии. Пытался постичь ее культуру. Оставил прекрасные стихи в прозе «13 танка». Вот его

бабочка: «Чао смотрит на открытое письмо с древним самураем в броне из чешуи, его высокомерные брови, падающие вниз на переносицу, как крылья морского орла, летящего с Фудзиямы на рассвете солнца к берегу, озаряющего рыбаков изумительный берег и сеть клеточкой вершин».

Варвара Дмитриевна читает этот небольшой лиричный отрывок и восхищается им. Восхищается в свои 93 или 903 года, как она иногда говорит, путая себя с тысячелетним деревом...

**Ворон-скиталец, взгляни!
Где гнездо твое старое?
Всюду сливы в цвету.**

— Очень трудно говорить о японской поэзии, — размышляет Варвара Дмитриевна. — Они говорят так о зрительном образе, что он — зрительный, а картина так коротка... Нет, не коротка, а мгновенна... Всего лишь намек... И все же это очень неточно. Нужно быть японцем, чтобы понять все слова, относящиеся к вспышке мысли. Многие поэты и художники Востока были монахами или отшельниками. У них такая широта и чистота мысли, что они не могут выразить до конца все чувства... А наших европейских слов не хватает, чтобы передать многообразие этих ощущений. Видимо, японские образы и чувства шире разрастаются, им тесно в трехмерном мире...

Мечта Хлебникова не осуществилась. Он умер в возрасте 36 лет, и в том же 1922 году, году его смерти, тридцатишестилетняя Бубнова уехала в Японию, где прожила столько же — 36 лет. В Токио она читала лекции по русскому языку и литературе в Институте иностранных языков и в университете «Васэда». Преподавала молодым японцам, осуществляя, сама того не ведая, мечту поэта, и, казалось, «обе руки юношей двух стран висят над всей Азией, как дуга Северного Сияния...»

Хлебников оказался прав. Это на самом деле «случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им...». Бубнова увозила в своей памяти на океанские острова все то, чем она занималась в прошлой, европейской жизни. Она вспоминала живопись Матисса и итальянские фрески, древнерусские миниатюры и иконографию, африканскую скульптуру... Здесь, на Дальнем Востоке, она синтезирует традиции русской, европейской, африканской и восточной культур. Особый интерес проявляет к пластическим символам в изобразительном искусстве Японии. «Внимательное и непредвзятое изучение пластических принципов Востока, — пишет она, — открывает нам, что главными и неизменными среди них являются: плоскость и плоскостность; линия; цвет; пустота; баланс; пластическая тяжесть; экономия...»

Много интересных рассуждений о композиции и пустоте, о масштабе и пропорции, о деформации, ритме и цвете содержится в теоретических статьях Варвары Дмитриевны «О трудной работе художника», «К «принципу тяжести» в живописи»...

— Природа организует предметы, — цитирует Бубнова своего рано умершего друга, теоретика и художника В. Мат-

вея. — Искусство организует свободные элементы — форму и цвет...



И продолжает:

— То, что мы в природе считаем уродливой диспропорцией, деформацией, как, например, слишком большая у человека голова или большие руки, в изобразительном искусстве становится элементом экспрессивности, эмоционального воздействия... Не создают ли некоторые художники, боящиеся отступать от натуры, только манекены и куклы и тем более мертвые, чем огромное они на холсте?

Барвара Дмитриевна рассказывала, и казалось, что самый внимательный ее слушатель — ученик Будды, изображенный на свитке. Весь в резких линиях, как дерево-человек, вырезанный из ветра рукой художника Мунакаты — друга Бубновой, он дал понять, что голос художника свил в нем еще одно гнездо мысли.

Удивительное чувство охватывает, когда посещаешь Барвару Дмитриевну: точно ты попал на один из маленьких островов в Японии. И сама хозяйка, прожившая почти четыре десятилетия на Дальнем Востоке, даже внешне напоминает японцев: глаза, цвет кожи, одежда...

Ночной дождь шумел, отдаваясь стоном в платанах.

На столе лежал графический лист «Дождь»: по дороге между домами под приоткрытым островерхим зонтом идет женщина. Черный и серо-белый цвета. И человек, и дома, и телеграфные столбы, словно мачты кораблей, и небо — все растворилось в воде, все плывет.

— Наш ночной дождь под утро может перестать, — задумчиво говорит Бубнова. — А в Японии в течение одного летнего месяца — ньюбай — ежедневно идут дожди. Очень «мокрые», какие-то усталые, неторопливые, никуда не спешащие — впереди ведь целый месяц! Рисовые поля становятся озерами, улицы — реками, а люди — крупными бестелесными дождинками...

Барвара Дмитриевна раскладывает графические листы, живопись, предоставляет возможность встретиться с Японией, с миром художника.

Я у «Входа в храм» и в «Усадьбе рыбака», созерцаю «Дюны» и «Будду», люблюсь «Портретом Анны Ахматовой», «Черным пальто» и «Осенней аллеей», «Полусветами подвалов» и «Человеком, открывшим дверь», «Темно-красными астрами в зеленой бутылке» и «Фарами в лесу», ослепившими меня. Еще раз неизгладимое впечатление производят «Два старика»: изуродованное, изломанное, обожженное молниями, в конвульсиях ветвей дерево, а на корнях его, спиной к зрителю, сидит сторбленный старик, опираясь на единственную поддержку — посох. Может быть, он слеп и ему некуда идти, или просто не хочется уходить от своего близнеца — ведь дерево не сумеет уйти вместе с ним. Кажется, что он пришел сюда умирать, но не в одиночестве, а в молчании. Старик помнит, что безмолвие — высшая форма общения: два старика сосредоточенно слушают великую музыку своих сердец — на миг умирающих и вновь продолжающих бег бытия.

Бубнову привлекала одухотворенность живописи художников дзэн, величие их образов природы: пейзажи с горами, недосягаемой высоты, с необычными земными и водными просторами и с созерцающей все это величие небольшой фигурой человека. Но проникнуть в закрытые «музеи» живописи в то время было почти невозможно. Лишь однажды, сломив недоверие двух охранителей одного из храмов, Варваре Дмитриевне удалось увидеть тушевую живопись XV века. «В первой комнате на раздвижных дверях, — вспоминает она в эссе «О японском искусстве», — у ног зрителя было изображено несколько белых домиков, стоящих на самом берегу большой воды, которая занимала и всю правую створку двери. На воде — одна или несколько лодочек, и над всем — беспредельное небо до верхних рам дверей. Зритель обзревает эту картину будто с большой высоты. Какие чувства вызывает она? Она была как бы дверью в широкий мир, в свободные просторы, на вольный воздух. Перед ней дышать становилось легче...»

На усталых коленях покоились большие руки. Они были такими огромными, непропорциональными по сравнению с небольшим телом. Чувствовалось, будто смотришь не на нее, а на один из написанных ею портретов или древнерусскую икону с «нарушенной» перспективой. Впервые я обратил внимание на эти руки, когда они не были заняты работой, не держали кисть, не разводили краски. Они были чего-то лишены, какого-то движения. Мне почему-то всегда представлялось, что руки ее плывут. И лишь теперь, когда они покоились на коленях, я вдруг открыл для себя, что рука, ладонь, держащая кисть напоминает лодку с парусом. Кажется, рука плывет, уплывает под парусом кисти..

А можете вы себе представить, когда такая рука пишет акварелью океан... Когда парус пересекает плоскость глубоких вод.

Варвара Дмитриевна вспоминает одинокий дом на берегу, темные сосны. Белый неподвижный океан в окне и белое небо, слившееся с ним. Вдали черное пятно лодки пересекает плоскость водной пустыни и медленно тает на горизонте. А рядом, на стене, лист желтой бумаги. На нем она читает хокку:

«Лодка ушла в бесконечность...»

Бесконечность, рука, парус, кисть...

Как-то Варвара Дмитриевна рассказывала мне о своих страшно голубых глазах в молодости. До того синих и до того сильно мешавших ей видеть мир! Однажды она почувствовала, как они изменились. Посмотрела в зеркало: седеют не только волосы, но и глаза... Этой весной они вновь расцвели голубыми цветами — слишком седым показался им мир... Всего лишь один миг, но как много он значит!

ХУДОЖНИК РОБЕРТ ФАЛЬК

К ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ

Р. Р. Фальк родился в Москве, в семье юриста.

В начале XX века, овеянного дыханием революции, он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Среди профессоров училища было много известных художников, из училища вышли такие крупные художники нашего времени, как Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Сарьян и др. Вот что пишет об училище народный художник Мартирос Сарьян: «Основные его (Фалька) педагоги были те же, что и у меня — В. А. Серов и К. А. Коровин. Как и все даровитые художники, которых пестовали эти замечательные мастера русского изобразительного искусства, Фальк получил великолепную техническую подготовку. Школой реалистического рисунка, композиционной логикой, колористической гармонией он владел в полной мере...»

В 1910 году группа молодых единомышленников: Кончаловский, Машков, Лентулов, Куприн, Рождественский и Фальк основывают художественное общество под названием «Бубновый Валет». В те времена любили образные названия, как бы с некоторым вызовом определяющие основные тенденции художественных группировок: «Мир искусства» с его воспеванием красоты прошлого, «Голубая роза», уводящая в сторону грез. «Бубновый Валет» — в этом было нечто эпатазирующее, озорное, его придумали Ларионов и Лентулов, самые «левые» среди этого объединения. И неспроста: на старинных итальянских игральных картах бубновый валет изображался с палитрой в руке. Размеры данной статьи не позволяют полностью осветить задачи и цели этой группы. Коротко же можно сказать, что лежало в основе исканий молодого товарищества: борьба с эпигонством, с одной стороны, и с эстетизмом — с другой, создание новых средств выразительности, нового языка живописи, обращение к новым, более демократичным сюжетам, к реальности окружающего мира в его простых и ясных формах: предмет, человек, природа. Содержание выражалось не в рассказе, а в пластике по-новому увиденного мира. Члены молодого товарищества брали на вооружение тра-

диции народного искусства—лубок, вывеску, а также обращали свои взоры на запад, к достижениям молодого искусства зарубежных современников, главным образом французов. В каталогах частных выставок «Бубнового Валета» (это общество оказалось очень продуктивным и очень активным) наряду с именами Ларионова и Гончаровой, Бурлюков и Татлина мы можем найти имена Дерена, Матисса, Пикассо, Ван-Донгена и др.

Для Фалька встреча с французским искусством стала определяющей на всю жизнь. Основным «богом» того времени для сообщества «Бубновый Валет» становится Сезанн.

Так же, как и остальные его товарищи, Фальк проходит через увлечение кубизмом. «В свое время, — пишет Фальк уже в 1956 г., — я отдал в какой-то мере дань кубизму. Но это не был логический прием конструктивизма, я стремился сдвигами формы акцентировать эмоциональную выразительность». И действительно, у Фалька кубизм не привел к абстрактным выводам. Допуская известную деформацию природы, художник никогда не порывал живой связи с реальными образами действительности. Искания этих лет характерны для группы в целом; интенсивность ритма, декоративная повышенность цвета, подчеркнутость форм и их динамика создают яркий, свежий, несколько причудливый мир.

Революция и суровое время борьбы за становление нового мира наложили, естественно, свой отпечаток на творчество художника. Картины времени революции и начала 20-х годов еще несут в себе ритмический заряд кубизма, но образный строй становится строже, композиция аскетичнее, цвет сдержанней и в то же время сложнее, насыщенней. Новые идеи требуют и новых ориентиров, новых путеводных звезд в искусстве.

Если в 10-е годы Фальк тяготел к «фовистам», то в 20-е годы его кумиром, причем на всю жизнь, становится Рембрандт. В 20-е годы творчество Фалька выливается в стройную последовательную систему. Вот как характеризует Д. Аркин в статье «Р. Фальк и московская живопись» живописную манеру Фалька: «Организм живописного видения Фалька достаточно своеобразен. Между глазом и предметом неизменно находится какая-то особая живописная среда, ощутительно присутствующая в валерах почти всех его последних полотен. Усложненность этого зрения несколькими планами, — не в обычном зрительно-пространственном смысле, а в смысле различных степеней напряженности, требующих соответствующей аккомодации зрения, — одна из характерных особенностей живописной манеры Фалька». К этому времени у Фалька уже большая известность как у одного из основополагающих художников своего времени: его картины выставляют, о нем пишут. У него уже две персональных выставки: одна в 1924 году, другая в 1927 году. Словом, он достиг и положения, и славы. С 1918 года он один из самых популярных профессоров высшей художественной школы в Москве — ВХУТЕМАСа, впоследствии ВХУТЕИНа. В его мастерской несколько десятков учеников. Он принимает активное участие в преобразовательной деятельности Советского государства в области художественного образования.

Но все эти обязанности, которые Фальк выполняет чрезвычайно добросовестно, мешают ему сосредоточиться на сложнейших задачах живописи, которые встают перед художником. Лирико-философскому

складу художника недостает уединения студии, атмосферы углубленного поиска. Он решает уехать туда, где его никто не знает, где никто не ждет. В юности он совершил путешествие в Италию. Сейчас он выбирает Париж.

В Париже Фальк пробыл ни много ни мало десять лет. Он уехал из Москвы в 1928 году, а из Парижа — в конце 1937 года. Это были годы самого яркого расцвета всяческих «измов» в Париже. Но там был Лувр, там ежегодно устраивались грандиозные выставки как старых, так и новых великих мастеров, там жили и творили Матисс и Бонар, Марке и Утрилло, Сутин и Пикассо. Но Фалька больше всего поразила могучая живопись художников XIX века. «Перед отъездом своим я был ярым поклонником и приверженцем современной французской живописи. Последствие моего пребывания там... — я стал поклонником французских художников XIX века...», — рассказывал Фальк своим ученикам.

В сущности, Фальк приехал в Париж уже вполне сложившимся художником. Там он лишь крепче утвердился на своих позициях, только, быть может, еще богаче и утонченней стал его живописный язык, а диапазон образов шире. Фальк никогда не писал блестящих пейзажей «столицы мира». Его привлекал будничней Париж рабочих окраин, тихих улочек Ситэ, набережных Сены. Его парижские портреты, похожие на грустные новеллы, — это люди трудной, часто трагической судьбы. Вот что пишет Фальк своей матери из Парижа в Москву в 1932 году: «...пишу я почти исключительно улицы Парижа, но не тот Париж, который все любят, знают. Не Большие Бульвары, грандиозные площади, перспективы. Нет, наоборот, серые бедные дома, пустыри и т. д. И нахожу в этом для себя большую прелесть...»

Фальк работал в Париже много и плодотворно. Несмотря на глубокий и затяжной кризис, охвативший в тридцатые годы всю Европу и особенно больно ударивший по художественной жизни Парижа, Фальк ежегодно выставляется в Салоне Независимых, в Осеннем Салоне. У него были там две персональные выставки в 1929 и в 1937 годах. Он получил там ряд заманчивых предложений от солидных фирм — устроить выставку с широкой распродажей картин, что сулило и деньги, и славу. Но он отказался от этих соблазнов, он хотел привезти свои картины на родину.

И вот в конце 1937 года Фальк покидает Париж и возвращается в Москву.

За десять лет, как говорится, много воды утекло. В каком-то смысле надо было начинать все сначала. В 1939 году Фальк получает мастерскую в центре Москвы, на набережной, с видом из окна на Кремль. В этом же году состоялись две выставки его — отчеты о заграничной командировке во Францию. Они были устроены довольно камерно, без прессы, особого успеха не имели. Уж очень не совпадал Париж трагических канунов Фалька с бытующими тогда у нас представлениями о блестящей и нарядной столице мира. Следующая персональная выставка Фалька состоялась лишь через двадцать лет, в год его смерти (Фальк умер в 1958 году). Годы войны Фальк провел в эвакуации — сначала в степях Башкирии, потом в Средней Азии, в древнем городе Самарканде, где были в это время сосредоточены основные художественные вузы Москвы и Ленинграда. Там Фальк возвращается к педагогической деятельности. В 1944 году он снова возвращается в Москву.

Все эти годы Фальк неустанно пишет, хотя его картины почти нигде не выставляются. Он пишет пейзажи: знойные, золотые в Средней Азии, серебристо-серые в Подмосковье, окутанные туманом московские улицы, натюрморты, составленные из самых будничных предметов, которым он умеет придавать значительность и поэтичность. Но больше всего Фальк любит писать портреты своих друзей, близких, портреты бесконечно проникновенные и душевные.

«Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущность модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография», — пишет Эренбург в главе о Фальке в книге «Годы, люди, жизнь».

В основе творчества Фалька лежит лирическое и философское начало, но никогда он не прибегал для выражения своего мироощущения к литературно-символическим образам или к отвлеченным конструкциям. Он был слишком влюблен в жизнь, он пристально вглядывался в природу, жадно тянулся к людям и стремился в явлениях реального мира уловить законы мироздания, в каждом, будто бы незначительном предмете увидеть «пластическое событие». Писал ли он горстку картофелин на кухонном столе, полевые цветы в глиняной кринке, опушку леса или бледное лицо своей жены — он видел все в поэтическом озарении, прозревал сокровенный смысл бытия.

Он хотел быть верным природе, так как находил в ней неиссякаемый родник творчества. «Элементарно говоря, я — реалист, — пишет Фальк в 1956 году французскому искусствоведу. — В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн... Для меня это максимальный реалист, художник потрясающей правды, а не иллюзорного правдоподобия... Его видение мира было таким мощным, он прозревал такие тайны света и цвета, что имеющаяся в его руках техника его удовлетворить не могла.

...Его холсты — живая цветовая ткань, пластические события возникают из глубины пространства, как бы роящегося световыми атомами. Его произведения — не подобия жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных, зрительно-пластических формах».

На обсуждении своей выставки акварелей во время войны в Самарканде Фальк говорил следующее: «...по-моему, великий реалист — Врубель. Глядя на его живопись, как бы осязательно прикасаешься к самому чувству».

Мне часто приходилось слышать беседы и споры Фалька с друзьями, художниками, учениками. Многие удалось записать тут же, непосредственно, кое-что вспомнилось потом; некоторые ученики тоже записывали высказывания Фалька. В результате можно суммировать его концепцию собственного творчества. Конечно, на абсолютную полноту и точность эти записи рассчитывать не могут, но во всяком случае они помогают нам воспринять более осознанно его искусство.

«Весь мир я, как художник, воспринимаю исключительно через цвет, — говорил Фальк. — Цвет для живописца моего плана — это единственное средство постижения и воссоздания картины мира». Фальк повторял, что подобно тому, как химия сводит всю проявляю-

шуются в реальных предметах материю к ее первичным элементам, так и живописец видит все его окружающее в мире через цвет. Весь мир для живописца как бы состоит из мельчайших атомов цвета, света, и они, так же как атомы материи, заряжены энергией, имеют определенную энергетическую напряженность.

Мир для такого живописца — это движение, кипение и круговорот светящейся цветовой материи, которая, клубясь, сгущаясь, распыляясь, то исчезает в тумане, то сплавляется в драгоценные слитки, а в результате появляются на холсте предметы, пространство, человек с его характером, его настроением. Фальк любил повторять слова Сезанна: «Живопись — это верный цвет на верном месте». А «верное место» — это рисунок. «Границы и размеры цветового явления — рисунок. Рисунок рождается из борьбы размеров масс. Борьба создает единую зрительную волну, в которую входит каждая деталь... Взгляд на каждую часть целого направлен одновременно центростремительно и центробежно. Необходимо рисовать любую часть целого со строгостью орнамента. Рисунок как бы fuga, где разные линии (голоса) вступают в спор, но направленные в закономерном порядке, сливаются в единый эффект, в единый аккорд».

Фальк очень любил музыку, сам был хорошим музыкантом и в разговоре о живописи часто прибегал к сравнениям из области музыки. С аккордом, вернее арпеджио, Фальк любил сравнивать метод видения и в живописи, и в рисунке: «смотреть в целом», т. е. смотреть во времени, соответственно темпераменту художника, соответственно его душевному состоянию. Динамичность процесса рисунка в живописи в непрерывности самого процесса. Всякое статическое восприятие философски фальшиво. В любое истинное произведение искусства включается время. Это не просто время, проведенное у мольберта, это даже не время поиска, сомнений. Это дыхание художника, пульсация его крови. В «Девушке с писмом» Вермеера время включено в каждую складочку на занавеске. У Рембрандта время трепещет в каждой мазке. «Современная композиция не может исходить из старых понятий равновесия масс, объемов или линейных построений. Холст для современного живописца — это заряженное магнитное поле, на котором действуют цветовые массы, то сталкиваясь, то сливаясь, то нежно вибрируя, то взрываясь. Эта энергетическая заряженность цвета дает картине глубокую жизнь, движение не внешнее, а внутреннее, НАПРЯЖЕНИЕ». «Верно взятый цвет дает ощущение красоты. Но одной верности мало (ударять можно по всем нотам верно, но плоско, грубо). Нужна качественность — напряжение. Не тоны, а обертоны — обогащение видения... Это явление напряжения цвета подобно электрическим зарядам вокруг полюсов в магнитном поле, сгущение и колебания которых закономерно наполняют его». Влюбленный в натуру, Фальк однако признавал, что «действие разных напряжений может сделать реальной и драгоценной любую композицию, даже абстрактную». В абстракции его отталкивало «своеволие» художника, схематичность, повторяемость. «Природа неповторима, но всегда закономерна», — любил повторять Фальк. Но чтобы увидеть эти законы, спрятанные под обманчивой путаницей деталей, необходима воля, пристальное изучение, внутренняя дисциплина. Этому всегда следовал Фальк в собственной работе, этому учил молодых художников.

Обратимся к записям: «Постоянные практические размышления (упражнения) о тоне, о теплоте и холодности цвета. ВЕЗДЕ!»

«Работа по памяти отбрасывает случайное, ищет кратчайшего пути к сущности. Писать с натуры, как по памяти!..»

«Художник должен работать, как каменотес! Не ждать вдохновения, оно должно застать вас за мольбертом!» — повторял Фальк. И в то же время Фальк внушал своим ученикам, что лучше один час «размышления с кистью в руках», чем многочасовое копирование над холстом без включения постоянно звучащего в душе художника удивления перед чудом «пластического события... Вы должны всегда держать себя в форме. Ничего заработанного заранее, всегда потрясенное «Ах!» перед тем, что раскрывает перед вами жизнь... Всегда, как перед открытием!»

«Фальк был открывателем. Он никогда не останавливался в своем движении, всегда шел вперед. Но не только намечал перспективу другим. Он сам воплощал свои открытия в совершенные, полные гармонии произведения высокого мастерства, артистизма, большой художественной правды», — так заканчивает статью в каталоге посмертной выставки в Москве в 1966 году Дмитрий Сарабьянов. Сейчас произведения Фалька можно увидеть в музеях Москвы, Ленинграда, Еревана, Тбилиси, Саратова, Горького, Алма-Аты, Фрунзе, Костромы, Вологды, Ярославля, Чебоксар и других городов Советского Союза, а также в Национальной галерее Праги. Значительные собрания графики Фалька имеются в ГТГ (Москва), ГРМ (Ленинград) и в гравюрном кабинете Дрездена.

«...ЧТО ПИШУТ МОИ ГРУЗИНЫ?»

Имя Виктора Викторовича Гольцева хорошо знакомо грузинским читателям. «Мастером дружбы» назвал его Георгий Маргвелашвили. Гольцев много сделал для популяризации произведений грузинских художников слова. Под его редакцией, с его вступительными статьями и предисловиями вышли десятки книг грузинских поэтов и прозаиков. В течение ряда лет Виктор Викторович возглавлял журнал «Дружба народов».

Гольцев-литературовед известен широкому кругу людей. Но мало кто знает, что в первый же день Великой Отечественной войны этот сугубо «штатский» человек, большой знаток поэзии, надел военную форму, отважно сражался на фронте.

В годы войны мне довелось служить в Авиации дальнего действия (АДД). Помню, как летом 1942 года к нам в редакцию газеты 1-й гвардейской авиационной бомбардировочной дивизии «За правое дело» прибыл майор Гольцев, бывший тогда инспектором политуправления АДД, а затем, после создания армейской газеты «Красный сокол», — ее корреспондентом. Он внимательно разобрался в делах нашей многотиражки, помог советами. Узнав, что мы, сотрудники «дивизионки», летаем на боевые задания, сказал, что сам мечтает подняться в воздух с боевым экипажем.

Вскоре я встретил майора Гольцева на аэродроме, у стоянки самолета Героя Советского Союза Александра Молодчего. Теплый августовский день приближался к концу. Но Виктор Викторович, как и все члены экипажа, был в меховом комбинезоне, теплых унтах. На голове — шлемофон: когда его подключают в сеть, на борту самолета устанавливается связь с командиром, штурманом, стрелком-радистом.

В общем вид у майора был боевой. Таким и был Гольцев — отважным бойцом.

Взревели моторы, и самолеты один за другим уходили в ночной полет, на базу им предстояло вернуться только к рассвету. Виктор Викторович поднялся на борт «ИЛ-4» и занял место, к которому всегда были «приписаны» военные корреспонденты — у пулемета ШКАС. Обязанность воздушного стрелка — не только быть начеку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение фашистского истребителя. Он должен еще сбросить листовки в тылу врага.

На этот раз маршрут предстоял далекий, многочасовой. Бомбы необходимо было сбросить на военно-промышленные объекты Кенигсберга — тогдашней столицы Восточной Пруссии, откуда началась агрессия гитлеровской Германии против Советского Союза.

Полеты проходили на большой высоте, поэтому надо было надевать кислородные маски, иначе дышать трудно. Каждый рейс — испытание на выносливость. Опасность подстерегает повсюду — и над линией фронта, и на всей территории, занятой врагом, и над

целью. В ночном небе беспрерывно шарят вражеские прожекторы, бьют зенитки...

Александр Молодчий, ныне дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации запаса, в своей книге «Самолеты уходят в ночь», изданной в Киеве, вспоминает о двух полетах в тыл врага, в которых участвовал майор Гольцев. Первый состоялся 5 августа 1942 года. Цель — аэродром Сеща под Смоленском, на котором базировались тяжелые бомбардировщики гитлеровцев. Отсюда они совершали налеты на крупные города нашей страны, в том числе на Москву. Вот как Молодчий описывает этот полет: «В составе нашего экипажа был гость — военный корреспондент майор Гольцев. Необычайное зрелище довелось увидеть журналисту. Голос его дрожал от волнения. Он беспрерывно величал штурмана по имени-отчеству, а меня официально: «Товарищ командир». Он никак не мог сдержать восторга и все повторял свое любимое: «Это же до чертиков интересно!» Его немного успокоил неожиданный грохот и яркая вспышка разорвавшегося зенитного снаряда впереди по курсу нашего самолета. В кабину ворвалась свежая струя воздуха. Но Гольцев так и не понял, откуда это подуло и что за отверстие в кабине штурмана Куликова. После выяснилось, что дыру от осколка снаряда он в темноте принял за открытую для лучшего наблюдения форточку. Он так и сказал Куликову:

— Благодарю вас, Сергей Иванович, теперь видно совсем хорошо.

Действительно, это было неповторимое зрелище. Такой фейерверк в ночном небе! А ведь каждая самая красивая трасса или многоцветный разрыв снаряда несли с собой смерть.

Через несколько страниц Молодчий рассказывает о налете на Кенигсберг, в котором также участвовал Виктор Викторович. Это было 20 августа того же 1942 года.

«Заходим на цель и попадаем прямехонько под зенитный обстрел. Слышу в наушниках, Гольцев с юморком (не дрейфит!) бросает Куликову:

— Сергей Иванович, ведь нас так могут и убить.

— Вполне вероятно, — спокойно отвечает штурман. — Еще как могут...

Отбомбившись, уходим от цели.

— Подождите, — вдруг слышу голос корреспондента.

— Как подождите? Ни тормозов, ни заднего хода у нас нет, — отвечаю. — А что случилось?

— Я должен сбросить свой груз.

Оказывается, увлекшись наблюдением за бомбардировкой, Гольцев забыл о листовках, которые захватил с собой, чтобы сбросить их над Кенигсбергом.

— Вы с Куликовым проверьте, может быть, и бомбы забыли сбросить, — смеюсь в ответ.

Нам стоило большого труда уговорить Гольцева выбросить листовки здесь.

— Город еще рядом, — говорили мы. — Так будет даже лучше: их ветер доставит по назначению. А если сбросить над Кенигсбергом, не исключено, что они упадут в море.

Конечно же, все мы сознавали важность такого груза. Пусть, может, более замедленного действия, но сработает со временем в сердцах и душах обманутого Гитлером немцев...»

И вот еще одна встреча с майором Гольцевым. Разбирая в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов управления СССР (ЦГАОР) материалы Советского Информбюро за военные годы, я нашел очерк известного советского писателя Николая Вирты о памятном полете майора Гольцева. Характерно, что в то тяжелейшее для страны время он не переставал интересоваться грузинской поэзией. «Что пишут мои грузины?» — этот вопрос занимал его всегда.

С. КРАСИЛЬЩИК

Николай ВИРТА

Я ЛЕТАЛ ВМЕСТЕ С НИМ БОМБИТЬ КЕНИГСБЕРГ

Мы сидели у писателя Леонидова. Шел обычный для москвичей и всех русских вообще, военных и невоенных, разговор о втором фронте, о том, почему-де медлят англичане и когда же, наконец, они покажут свое настоящее умение драться на земле. В самый разгар спора вошел человек с широким курносым лицом, с мягкими губами, свидетельствующими о столь же мягком характере, в очках, со знаками различия майора военной авиации. Я сначала не узнал его.

— Виктор Гольцев? Боже мой, вы ли это? Летчик? Майор? Какими же судьбами? Насколько я знаю, вы всю жизнь интересовались только грузинской поэзией! Литературовед — в роли майора авиации, это же бесподобно!

— Война нас бросает в самые неожиданные места, — сказал Гольцев, здороваясь с нами. — Например, я никогда не бывал в Кенигсберге, но этой ночью мне пришлось побывать там. Правда, не в самом Кенигсберге, а над ним, и довольно-таки высоко над ним! Но все же я видел Кенигсберг и был свидетелем, как он горел от наших бомб!

— Как, вы летали на Кенигсберг? Когда?

— С нашими бомбардировщиками. Вчера ночью. Да, да, не удивляйтесь, я летал с ним бомбить Кенигсберг.

И Гольцев, этот 42-летний литературовед, рассказал нам свою военную эпопею. Разумеется, он никогда не думал о военной карьере. Знаки различия? Они не интересовали его. Он был поглощен звучной грузинской поэзией, он копался в старинных балладах Грузин. Но вот началась война, и уже ночью 22 июня 1941 года он в числе двадцати писателей уехал на фронт — сначала на Западный, потом на Карельский, потом по-

пал в штаб Авиации дальнего действия. Тут он ведет политическую работу, помогает и инспектирует фронтовые газеты пилотов. Он давно просился в боевой полет и прошел с этой целью все медицинские преграды. Все шло отлично, его признали годным к дальним высотным полетам.

— Я был счастлив! — сказал Гольцев.

И вот однажды он получил разрешение командования Авиации дальнего действия отправиться в полет. Куда? Он не знал об этом до последнего момента.

— С кем вам предстояло лететь?

— О, мне повезло. Я должен был лететь с отличным пилотом, Героем Советского Союза Молодчим. Удивительный человек. Представьте парня двадцати двух лет. Русская широкая натура, задушевный тон, ни тени самомнения, бахвальства, прекраснейший товарищ! Я видел, как он готовил самолет к операции. Поспешность? Самоуверенность? Этого ничего не было. Молодчий, его штурман Куликов, весь экипаж уже знали цель полета, они отдавали себе отчет, что полет будет исключительно тяжелым, опасным и ответственным. Методически проверяли они каждую деталь машины, каждый винтик и исправляли всякую мелочь. Наконец, к определенному приказом часу все было готово.

— Летим, — сказал Молодчий.

— Куда? — спросил я, влезая в своей громадной меховой одежде в самолет.

— Разве вы не знаете?

— Абсолютно.

— На Кенигсберг! — И он ушел в кабину управления.

— На Кенигсберг! — повторил я. — Тем лучше!

Я и раньше очень много летал, но такой полет, полет в гитлеровскую Германию — это мне предстояло впервые. Итак, мы летели. Мои ощущения? Я прежде всего наблюдал за людьми, ведущими самолет. Что меня поразило? Будничность совершаемого ими дела. Они летели на вражеский город тоже впервые, как и я. Я немного волновался, было что-то нереальное, фантастическое в положении. Экипаж был совершенно спокоен, деловит, внимателен. Никакой подчеркнутой строгости, ничего необычного в словах, жестах, взглядах... Внимание и спокойствие, я бы сказал, обыденное внимание хороших летчиков и обыденное спокойствие храбрецов... Мы прошли линию фронта. Внизу под нами велась артиллерийская дуэль, я видел вспышки орудий наших и фашистских. Потом настала ночь. Мы летели все вперед и вперед по прямой линии. Время двигалось удивительно медленно. Говорить не хотелось, да и нельзя было отрывать людей от дела. Мы шли в чернильной, крошечной тьме, среди облаков. Было ужасно холодно, даже в моем меховом уборе я чувствовал себя не совсем хорошо. Термометр в самолете показывал 23 градуса мороза! А внизу была тихая, ясная и теплая ночь!

— Мы у цели, — сказал штурман Куликов и посмотрел на часы. — Минута в минуту, по приказу.

Кенигсберг лежал под нами во тьме. Немцы слышали нас, я увидел разрывы снарядов зенитной артиллерии. Штурман попросил летчика:

— Доверни вправо.

Пилот подчинился.

— Доверни влево. Есть, начинаем.

Мы сбрасываем бомбы на порт, на военные объекты. Ах да, я забыл сказать. Уже около Кенигсберга мы увидели зарево пожаров. Я спросил — что это?

— Это сделали товарищи, которые отбомбились по приказу до нас, — ответил штурман.

И мы шли на эти пожары, и они как факелы освещали нам путь... Наши бомбы пошли вниз, и тотчас вспыхнули под нами новые гигантские пожары. Прицельное бомбометание дало свои итоги, врагу отомщено! По радио Молодчий сообщает штабу:

— Приказ выполнен! Ложимся на обратный курс!

Мы были над Кенигсбергом считанное, короткое время. Что я чувствовал? Удовлетворение, только удовлетворение. Вы бомбите наши мирные города? Вот вам ответ, черт вас побери! И эти ответы будут все более частыми и все более жестокими, пока мы не раздавим вашу жестокую фашистскую силу. А экипаж между тем деловито работал, маневрируя под снарядами зениток... Мы идем домой. Рассветает, и перед нами снова линия фронта... Настроение приподнятое и, я бы сказал, облегченное — уф! Сделали свое дело!

Наконец путь в несколько тысяч километров окончен — мы на своем аэродроме. Тепло, тихо, утренние птицы поют на опушке леса... Ну и вот вы видите меня здоровым и живым, побывавшим над Кенигсбергом. Я восхищен этим полетом. Людьями? Конечно! Удивительные у нас люди. Молодость, спокойствие, умение держать себя в руках при любых обстоятельствах и, наконец, высокое искусство работы поразили меня в этом полете с новой силой. Да, я влюблен в советских пилотов, мстящих фашистам, громящих их живую и машинную силу. Я ведь был с ними в таком трудном деле — и не разочаровался. Завтра я лечу с Молодчим на цовое дело.

— Вы расскажете нам о нем?

— Разумеется, — сказал Гольцев. — Ну а теперь расскажите мне, что делается в литературе, что пишут мои грузины? Я отстал немного от этого дела...

12 сентября 1942 г.

**СОВРЕМЕННЫЕ
ИСКАНИЯ ГРУЗИНСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ**

В течение нескольких дождливых дней поздней осени прошлого года в небольшом прибрежном городке Кобулеті можно было стать свидетелем жаркой дискуссии — здесь проходили заседания «Круглого стола», организованные по инициативе Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии и редакции журнала «Литературная Грузия».

Дискуссия была посвящена современным исканиям грузинской исторической прозы, и живое участие в ней грузинских писателей и критиков удивительно — с жанром исторического романа связаны важнейшие тенденции в грузинской литературе предыдущего десятилетия. Страстные выступления наших московских, украинских, латвийских, казахских коллег свидетельствовали не только о том, что художественные достоинства грузинских исторических романов получили всеобщее признание, но и о том, что проблематика грузинской исторической прозы затрагивает самые животрепещущие нравственные вопросы нашей современности. В свою очередь, именно духовная актуальность грузинской исторической прозы явилась камертоном, определившим высокое гражданское и нравственное звучание всей дискуссии. Об этой отличительной черте кобулетской встречи читатель может судить, ознакомившись с первой же публикацией материалов «Круглого стола» — статьями критиков Александра Руденко-Десняка и Лады Федоровской. Надеемся, что читатели «Литературной Грузии» по достоинству оценят нравственный накал, глубину и верность суждений новых для нашего журнала авторов и с интересом будут ждать продолжения публикаций материалов кобулетского «Круглого стола» в последующих номерах «Литературной Грузии».


Статьи наших признанных авторов и новых друзей как бы дополняют друг друга, и можно с уверенностью сказать, что в них предстанут и увиденная под разными углами панорама грузинской исторической прозы, и интереснейшие параллели с нашими братскими литературами, и общие проблемы историзма в современной советской литературе.

Человек на берегу уходящего моря

В здание иноязычной культуры нужно входить с большой осторожностью. Очень легко ошибиться, запутавшись в незнакомом расположении дверей, потерять много времени на элементарный — для знающих — путь, слишком просто пройти мимо скромно задрапированного входа, ведущего в лучший, наиболее ценный, полный сокровищ зал. Все сверкает, все экзотично для постороннего глаза, все представляется сплошным праздником архитектурной и декоративной мысли или, наоборот, отталкивает внутренней непохожестью на то, что близко и дорого гостю, кажется холодным, исполненным высокомерия к чужому, — а нет, в конечном счете, ни праздника, ни холодности, ни высокомерной закрытости; есть дом, воздвигнутый многими поколениями, далеко не всегда отличающийся изысканностью, как всякое строение для кровной нужды, а не для забавы и утешения глаз; и есть трудная необходимость составить о здании сколько-нибудь серьезное представление, при котором и фасаду, и лестничным переходам, и интерьеру с его особенностями — всему находится вполне определенное, твердое место.

В здании грузинской культуры высок потолок, свод — чтобы взглянуть на него, приходится почтительно задирать голову: совсем недавно отпраздновано 1500-летие «Мученичества святой Шушаник», пятнадцативековой юбилей грузинского литературного слова. Слово, бывшее началом, прозвучало давно. Однако невозможно бесконечно восхищаться древностью этого памятника, как и других, столь же высоких памятников. История, в том числе история любой национальной культуры, такова, как она есть. Ее нужно чтить, постоянно имея в виду нынешнюю способность культурного слоя поддерживать активное плодотворение. Многие столетия цивилизованной письменности — еще не гарантия сегодняшнего развития литературы. Достаточно примеров, когда линия поступательного развития культуры превращалась в робкий, прыгающий пунктир: история часто делает драматические зигзаги. Требуются подчас гигантские усилия, чтобы снова превратить пунктир в уверенную, упругую линию, непрерывные рабочие, строительные усилия, которым только мешает коленопреклоненность перед реликвиями.

Грузинская литература интересна для нас, в первую очередь, своими сегодняшними реалиями. Она занимает все более заметное место в общесоюзном литературном движении. Это чувствуется по разговорам в писательской среде, по читательским отзывам. О произведениях, написанных в Грузии, спорят,



у них есть сторонники и противники — понятна условность этого термина. Напомню хотя бы о «двух мнениях» в «Литературной газете» по поводу романа Н. Думбадзе «Законы вечности». Трудно разделить до конца и ту, и другую точку зрения на роман, но то, что они отражают очень важные, наши общие размышления над сегодняшним писательским словом, его направленностью и нравственной обеспеченностью, несомненно... Конечно, лидерство в творчестве — вещь относительная, и вряд ли стоит надевать на грузинскую изящную словесность оранжевую майку лидера. К примеру, насколько можно судить, приемы, архитектоника, тональность той же «молодежной» прозы породили в Грузии немало симпатичных — но не более того — подражаний (литературным подражаниями, правда, отдал дань А. С. Пушкин, только ведь он был гением, не чуждым лукавства). Зато усилившееся в современной литературе стремление к философскому, притчевому, мифологическому письму оказалось очень близким природе литературы грузинской, и вот тут-то она сказала свое слово, повлияв на общесоюзный процесс, определив в какой-то мере, его течение.

Литература — дело бесконечно живое, важна каждая реальная прибавка к сделанному, даже если значимость ее не поддается математически точному измерению. Мы не всегда точно представляем себе глубину, масштабы определения «многонациональная» по отношению к нашей литературе, не всегда отдаем себе отчет, к какому богатству имеем повседневный доступ. Известно, что существуют, предположим, такие интересные и своеобразные явления, как литовская психологическая проза или казахский исторический роман. Но известно — в какой степени? Даже в среде профессионалов? Что из этого опыта если не использовано (это проблема огромной сложности), то хотя бы учтено, взято на заметку, вошло в арсенал нашей активной литературной информированности?

Правы устроители нашей встречи, придав ей такой широкий и представительный характер. Национальные литературы, о чем взаимовлиянии и взаимообогащении мы говорим много хороших и верных слов, требуют повседневного, рабочего изучения, познания своих внутренних особенностей. Трудно обогащаться за счет того, о чем имеешь самое общее понятие.

Разве не бывает так, что интересы литератора ограничиваются продукцией местного отделения Союза писателей, находится ли оно в Вильнюсе, в Киеве, в Тбилиси или в Москве? У нас, как известно, нет групповщины, нет групп, а есть только небольшие коллективы единомышленников по частным вопросам, и вот в этих-то коллективах нередко варится густой, тягучий настой мнений друг о друге и обо всем остальном, таком скучном мире. Нет, я не имею в виду сферу общелитературных, общеобразовательных интересов — кто же не читал Кортасара и Маркеса, Фриша и Камю? Дорога человеческая способность видеть то, что находится далеко; посчитаем все-таки необходимым для нормального мироощущения различать и оценивать то, что расположено гораздо ближе.

В национальных литературах есть имена громкие и общеизвестные. Ограничиваясь ими в своем духовном обиходе, спра-

ведливо думая, что нельзя знать всего и обо всем, не упускаем ли мы подчас плодотворной возможности глубже проникнуть в жизнь, быт, культуру народов, рядом с которыми, вместе с которыми живем? Плодотворной возможности для нас самих? Когда-то стала сенсацией превосходная «Ледовая книга» Юхана Смуула. Многие и многим ли говорит имя другого пишущего эстонца — Леннарта Мери? А ведь его «Мост в белое безмолвие» — удивительное духовное путешествие. Л. Мери поехал на Крайний Север, посетил эстонцев — потомков тех, кто переселился сюда много лет назад, первопроходцев и искателей, и родились проникновенные этюды о душевной стойкости и жизненном упорстве предков, появились исполненные эссеистского изящества и глубины размышления о судьбах малочисленной нации, о ее способности сохранить национальную самобытность перед лицом стремительно изменяющейся действительности, о способности народа активно участвовать в жизненных переменах и сохранять свое достоинство и непохожесть рядом с достоинством и непохожестью других народов. Региональная ли это проблематика?

Один мой коллега и приятель, человек вполне интеллигентный, то есть с университетским образованием, на служебную просьбу написать статью для журнала «Дружба народов» не без гордости ответил: «Из национальных литератур читал только Айтматова и Быкова». Ну, что ж, пусть так. Круг чтения регламентировать невозможно. Но что вычитано при этом? Что увидено беспристрастным критическим взглядом? У того же Чингиза Айтматова, одного из интереснейших наших писателей? Сам Айтматов не раз говорил о том, что его творчество, его почерк и манера сложились под безусловным воздействием великой русской литературы. Писательская биография отразила реальный, глубокий и плодотворный процесс. А вот исследовано ли должным образом, какую роль сыграла айтматовская повесть во всей нашей литературе 60-х годов, как сказалась на состоянии самого жанра? Шла речь о лиризации прозы, и представляется заметным влияние творчества Айтматова на утверждение в правах лирической повести, в том числе и лирической повести в русской литературе тех лет. Если это не **ВЗАИМО-ВЛИЯНИЕ** литератур в реальном обличье, то что это? И всегда ли мы оказываемся готовыми к изучению подобных феноменов?

Надеюсь, вы не посчитаете праздными эти предварительные соображения. Увидеть своеобразие произведения национальной литературы и широкий контекст, в котором оно находится, — не плодотворная ли это задача? И не для поисков ли решения таких, явно не простых, задач устраиваются подобные встречи?

«Книга не ставит себе целью показать, как все это было в действительности». В этих кавычках — откровенный вызов, если учесть, что речь идет о строчках, предваряющих **ИСТОРИЧЕСКИЙ** роман.

И еще одна, по необходимости, большая цитата из авторского послесловия к роману, ко всей трилогии: «...новая историческая наука признает, что в природе человека, в челове-

ском обществе имеется некий постоянный фонд, который остается неизменным во все времена. Если б не было этого «фонда», для нас было бы непонятным не только поведение и характер античного и средневекового человека, но также мысли и побуждения, чувства и переживания наших отцов, непосредственных предков...

...Если художник не углубится в понимание этого основного «фонда ценностей», который одинаков и у босоногого пастуха античных времен, и у закованного в латы средневекового рыцаря, и у современного нам покорителя космоса, то образ, созданный художником, будет нежизненным. Не воздействуя на чувства, он никого не заинтересует... Настоящее творчество начинается тогда, когда художник, изображая исторического героя, углубляется в то «неизменное», которое является общим для людей всех времен.

Григол Абашидзе, написавший «Грузинскую хронику XIII века» (романы «Лашарела», «Долгая ночь», «Цотнэ»), не удержался от искушения впрямую высказать свою точку зрения на труд исторического писателя. Его своеобразный манифест способен вызвать интерес потому хотя бы, что он венчает двадцатилетнюю изыскательскую и литературную работу. Интерес этот усиливается из-за того, что в ходе создания трилогии примененный в ней метод воссоздания исторических событий и лиц претерпел весьма заметные изменения.

Есть признанная классика грузинского исторического романа — тетралогия «Давид Строитель» и «Десница великого мастера» Константина Гамсахурдиа. Читать эти вещи интересно и поныне: из неторопливого, несуетного повествования встает далекая эпоха со сложными междоусобицами, несущими нелегкое бремя власти сильными мира сего, подвигами ратоборцев и зодчих, тяжким движением людских масс. Одно слово: История. Когда в Гелатском соборе ступаешь на теплую плиту, под которой покоится Давид Строитель, ловишь себя на мысли, что роман Гамсахурдиа сделал для тебя нечужими эти места, что он бережно донес шум далеких битв и кипение ушедших страстей.

И рассматривая на одной из каменных плоскостей храма Светицховели легендарное изображение человеческой руки, тоже с благодарностью думаешь о «Деснице великого мастера», воскресившей предание. В этих романах есть многое, способное вызвать интерес у любителя истории. Но они, изображая множество судеб и проявляя озабоченность историческими судьбами нации, не очень любопытствуют судьбой, характером, единственностью одного человека. Парадоксально? Однако посмотрим: чем запоминается царь Давид, прозванный Строителем, кроме бесконечных государственных забот и войн за единство Грузии? Несчастной любовью, пронесенной через всю жизнь. Черта, что и говорить, емкая, и все же ее маловато, чтобы мы поняли человеческое, нравственное своеобразие изображенного лица в его развитии. Что касается зодчего Арсакидзе в «Деснице великого мастера», то он окружен таким числом действующих лиц (а среди них столь важное, данное со многими подробностями, как царь Георгий, «меч мессии»), что поневоле придешь к выводу: биография, легенда — удачный повод для

показа, раскрытия исторической эпохи, важного этапа национальной истории.

И две первые книги «Грузинской хроники XIII века» построены очень похоже: присутствует история обстоятельств, дат, сражений, дворцовых интриг, не предусмотрена история взлета и сомнений, озарений и падения человеческого духа. Это — не упрек, это констатация того, что писатель следовал вполне определенным правилам исторического повествования. В книге третьей, «Цотнэ», он эти правила решительно сломал.

Романист самозабвенно пишет ушедшие времена, а времена нынешние — иногда открыто, иногда исподволь — направляют руку романиста.

Напомню очевидное: литература последнего десятилетия, отражая существенные сдвиги общественного сознания, демонстрирует пристальный, растущий интерес к миру человеческой личности, ее духовному потенциалу и нравственности. Индивидуальное в человеке открывает свои глубины, взывая к познанию. Не потому ли в трактовке проблемы «Я и Время» чувствуется столь сильное ударение на «Я»? Личная ответственность перед временем — вопрос вопросов... Человек XIII века, одишский правитель Цотнэ Дадиани дает нам в романе пример такой ответственности, ощущаемой всем его незаурядным естеством. Он убеждает своей жизнью, что в неустанных трудах на благо государства и народа способен человек черпать истинное удовлетворение. Он достигает подлинного нравственного взлета, когда добровольно идет на пытки и муки, чтобы до конца разделить участь других участников антимогольского заговора или своим самопожертвованием убедить монголов в невиновности заговорщиков. Эта жертва ломает каноны здравого смысла, однако есть в ней непреходящий духовный, созидательно-личностный смысл. Речь идет о годах монгольского ига в Грузии, но когда романист пишет: «Нет хорошего и плохого времени. Время бывает таким, какого достойны вышедшие на его арену люди», — он касается проблемы, сколь важной, столь и непреходящей, способной обрести глубинную актуальность.

Цотнэ — не просто хороший, нравственный человек и мученик во имя благородной идеи. Он — идеалист и романтик в сфере нравственности, свободно перешагивающий через свои материальные, житейские интересы. Он — откровенный образец для подражания, что подчеркивается безусловной «житийностью» романа. Но ведь была у писателя какая-то внутренняя нужда в создании героя именно таких, идеальных качеств, способного возвыситься над житейской суетой ради высокого идеала, ради укрепления в народе, в нации веры в непобедимость добра? Не такой ли герой был необходим национальной читательской аудитории именно в недавние, последние годы, не вызвала ли его к жизни всегда впитываемая литературой общественная потребность? Присмотримся для сравнения к Бачане Рамишвили, главному персонажу романа «Закон вечности» Нодара Думбадзе, писателя всегда современного, всегда актуального. Бачана, испытанный боец за справедливость, вполне может быть назван идеалистом и романтиком, принципиаль-

но возвышенным над материальной стороной жизни, обычными житейскими интересами...

Говоря о необходимости изучения «постоянного фонда» человеческого общества, Г. Абашидзе только подчеркивает особенность нашей литературы проблематикой, которую принято называть вечной и которая, при достаточно серьезной ее разработке, закономерно обнаруживает свои «сиюминутные» аспекты. При таком подходе к предмету изображения естественно теряет свою привлекательность показ прошлого, «как все это было в действительности». И скудость летописных сведений о Цотнэ Дадиани и его подвиге обращивается раскованностью писательской фантазии, обращенностью повествования к корневым нравственным ценностям.

От романа-эпопеи, романа-панорамы трилогия «Грузинская хроника XIII века» двигалась к роману-судьбе, если использовать принятые сегодня определения. Даже эта жанровая переориентация трилогии лишний раз доказывает, что литература о прошлом находится, не может не находиться в русле общего литературного движения.

Когда идет многолетнее изучение ушедшей эпохи, постепенное «вживание» в нее, радость первичных открытий неизбежно сменяется желанием разобраться в накопленном богатстве, отсеять несущественное. Став реальностью, жизнь предков требует познания и осмысления, как всякая другая жизнь. Вспомним хотя бы «Звезды над Самаркандом» Сергея Бородина — многостраничное, разветвленное повествование об эпохе Тамерлана, вышедшее на проблематику немалого масштаба — как же усомниться в важности такой, скажем, проблемы, как сохранение культуры, знания перед лицом жестоких, непрерывных войн в момент обвалных, все сдвигающих с места передвижений гигантских людских масс?

...Однажды человека посещает чувство, что он — лишь небольшое звено в цепи сменяющих друг друга поколений; вереница предков — вплоть до самых дальних — проходит перед его мысленным взором; отдаленное прошлое стремительно приближается, обретая плоть и звучание. Время открывает перед человеком свою глубину и наполненность, жизнь его народа предстает ошеломляюще огромной, протяженной поистине бесконечно. Где четкая граница между вчера, сегодня, завтра в этом бесконечном временном потоке? Еще усилие сознания и воображения, и оживает история, наполняется гулом голосов и жаром страстей, она создается сейчас, в это мгновение, она еще не стала историей, в ней все — движение, бег, порыв, извечное удивление перед будущим...

Такого рода ощущения знакомы, пожалуй, каждому из нас. Стремительно мчащаяся окружающая действительность делает современника философом, стремящимся постигнуть глубинные, устойчивые закономерности людского бытия. История, даже праистория — уже шла речь об этом — становится естественным полем изучения этих закономерностей.

Читая роман Огара Чиладзе «Шел по дороге человек», ловишь себя на мысли, что перед тобой — репортаж, написанный очевидцем и свидетелем событий, которые произошли много

столетий назад, задолго до нашей эры. Нет привычной дистанции, разделяющей автора-современника и воспроизведенные им факторы истории. Все свершается сейчас, свершается трудно и мучительно, рождается в муках, в реальной крови, реальной грязи, в далеко не всегда привлекательных реальностях быта.

Но репортажность романа — далеко не самая главная его примета.

Отар Чиладзе пишет о колхах, своих далеких предках из легендарной черноморской страны. Отсюда — истоков письма, внутренний напор самоутверждения. Что ни говорите, а по этой земле ходили Ясон и Медея, здесь шли схватки вокруг золотого руна... Площадка мифа, древнего предания, которую явно не забывает своим вниманием современная литература, столь чувствительная к национальному моменту. Надо ли говорить, что частенько миф — только «повод для».

Видимо, страсть к апокрифам заложена в человеческой природе. Иначе канонические памятники христианской литературы не обростали бы таким числом апокрифических версий. Апокриф — это взгляд на авторитет сквозь призму сомнений и скепсиса. А разве так уж редко помогали людям познавать мир оплодотворенные ищущей мыслью сомнение и скепсис? Блестящим апокрифистом по складу дарования был, как известно, Анатолий Франс, и его толкования человеческого прошлого, его подход к истории оказались весьма бесполезны для опыта новейшей литературы.

Умная непочтительность в отношении к общеизвестному — это сбрасывание пуд догматизма, это возможность получить доказательство глубокой многозначности исторического факта, самой истории. Иронический апокриф может нести, таким образом, целую философию действительности.

Право же, ирония может быть названа спасительной, если она помогает писателю (а за ним — и читателю) по-новому, свежим и заинтересованным взглядом посмотреть на некоторые легенды национального сознания. Одно из примечательных, симптоматичных явлений современной советской литературы «Воспоминания о Калеви-поэг» эстонского прозаика Энна Ветемаа, весьма вольное и приземленное переложение народного, национального эпоса. Эпический герой сошел с пьедестала, не потеряв, впрочем, своей привлекательности и обретя достаточно сложные и многоплановые характеристики.

В способности подвергнуть плодотворному сомнению общеизвестное есть ощущаемая духовная свобода. Продемонстрировать ее соблазнительно. Но Отар Чиладзе дает свою версию прошлого, избежав иронического апокрифа как жанра. Его роман пошел несколько иным путем, хотя авторская ирония, авторское сомнение время от времени проскальзывают в интонации повествования.

На наших глазах разрушается сфера древнего мифа. Разрушается в том смысле, что из него исчезают завершенность событий, однозначность характеристик, эпичность тона. Эпос — это всегда: закончилось, свершилось, было. В романе О. Чиладзе все бурлит, клокочет, складывается, умирает и рождается заново. Высокое смешано с низким, прекрасное с уродливым, и

роман может быть признан ироничным в том смысле, что он показывает: смотрите, сколь пестра и многомерна людская жизнь, как много в ней обыденного и обычного, а много столетий спустя она предстанет в эпическом ореоле, очищенная и возвышенная, и триумфальной походкой безупречных героев пройдут нынешние, покрытые пылью дорог и сражений, далеко не всегда презентабельные действующие лица.

Золотое руно? Естественно, это шкура обычного барана, только ходил ее обладатель по улице златокузнецов замечательного города Вани, а каждый, кто проходил по этой улице, покрывался золотой пылью и становился похож на статую, а потом с удивлением рассматривал себя, статуеобразного, в зеркале, специально установленном не чуждыми тщеславия мастерами. Развенчивается легенда о руно, но тут же создается новая — о златокузнечной улице: такова поэтика романа, вовсе не чуждающегося гиперболы, щедро использующего символику, скептического по отношению к конкретному мифу, но не к мифотворчеству вообще.

Роман написан поэтом, это чувствуется сразу: «В этот самый день море наконец, после долгого колебания, решилось и отступило на шаг от города. То был первый шаг — и самый трудный; дальше все должно было пойти само собой. Да и кто мог удержать море? Даже если бы все жители Вани от мала до велика вцепились в него, оно все равно ускользнуло бы, ибо никакая сила не может противиться тому, что замыслила природа» и т. д. Наверное, от поэтических опытов автора — философская сосредоточенность тона, буйство метафор, интенсивность красок. И еще — присущая поэтическому сознанию убежденность, что чудеса нужно принимать «просто так», на веру, не пытаясь рационально объяснить их. Убежденность эта в немалой степени «держит» повествование о людях античности, с немалым простодушием неопитов открывающих для себя все сущее.

Волшебен пышный, цветущий сад Дариачанги: достаточно сломать хоть одну ветку, как он исчезнет с лица земли (что и происходит в конце концов, в городе, не способном противиться злу). Но именно в этом саду гуляет со своими рабынями царская дочь Медея — сначала робкая девочка, а затем пробуждающаяся к жизни женщина, чье пробуждение написано с реалистической, плотской выразительностью... В минуты тяжелых испытаний царь колхов Аэт опускается в тайные глубины своего сознания, своей памяти — это выглядит, как спуск в бездонный колодезь, наполненный ликующими противниками гордого царя, гудящий от их голосов; все здесь ирреально, кроме напряженного диалога Аэта с собственной памятью и собственной совестью... Есть устойчивое словосочетание «холодная женщина»; метафора вывернута писателем наизнанку, ей возвращен первоначальный, прямолинейный смысл. Одна из героинь романа несет в себе такой холод, что на крыше дворца летом висят сосульки. Она тает, уходя из жизни, и ее пытаются спасти, привозя на ослах снег с высоких гор. Здесь все гипербола и фантазия, но вдруг автор говорит, что у снега острый запах горной хвои, и все происходящее приобретает стереоскопическую четкость и неожиданную убедительность.

Роман лишен величественной холодноватости мифа, потому что на страницах его кипят земные человеческие страсти. В столице колхов любят, ненавидят, плетут интриги, пьют вино, сражаются с предельной отдачей сил. Герои романа — цельные натуры. Они знают, что есть судьба, противиться которой нельзя, но чье предназначение нужно выполнять с достоинством и спокойным мужеством. Так осуществляет свое жизненное предназначение Медея, с видимым спокойствием уходя за искателем золотого руна Ясоном. Так продолжает свое пребывание на земле грозный воин Ухеиро, став прикованным к постели, беспомощным инвалидом. Так стремится жить Фрикс — один из самых противоречивых и трагических героев романа: когда он был мальчиком, его отправил в Колхиду царь Минос с тайной миссией — пустить в среде колхов иноземные, греческие корни, чтобы изнутри расшатать цветущее государство. Расчет Миноса оказался дьявольски безошибочным. И Фрикс, женившийся на дочери царя Аэта Карисе, и его сыновья бредили землей предков и поневоле стали предателями приютившей, давшей им жизнь и силу земли...

В романе немало таких мировоззренческих, философских парадоксов. Впрочем, не так уж редко эта парадоксальность — кажущаяся. Просто писатель берет большое и важное понятие и старается посмотреть на него с разных точек зрения. Он напоминает об относительности многих истин, что вовсе не отменяет насущной необходимости добывать, искать, отстаивать истину. Через многие испытания проходит Фарнаоз, сын увечно-го воина Ухеиро, каменотес и философ, преодолевающий в себе раба. Принимая мученическую смерть, он в последнее мгновение видит на земле колхов сверкающий сад Дариачанги, возвращенный из небытия, волшебный, вечно плодоносящий, готовый принадлежать добрым и мужественным людям сад.

Тут — никак не лучезарный «хэппи-энд». Многие вопросы, поставленные писателем, мучительны. Он менее всего способен удовлетвориться поверхностно-оптимистическим отношением к человеку, человеческой истории, человеческой способности творить добро. Хиреет некогда славный город Вани, подчинившийся жадному и тупому властителю, рушатся нравы, приходят в упадок ремесла. Из жизни колхов уходят радость и вера, и этот распад описан пером поистине безжалостным. Ведь только ребенку, сыну Фарнаоза, бросившемуся с высоты на землю, дано напомнить об извечной страсти человека к свободному полету, страсти, которая глеет в самой глубине душ жителей Вани. Если это и напоминание о неисчерпаемости человеческого духа, то напоминание яростное и далеко не добродушное.

В романе, почти лишенном диалогов, автор постоянно держит нас «включенными» в свои размышления и эмоции. Читать книгу — нелегкий труд, а это не всем может показаться достоинством.

Можно было бы пожелать автору быть чуть снисходительнее к человеку и его слабостям. Но есть ли смысл в таких пожеланиях? И не лучше ли отдать должное пафосу романа, буквально восстающего против унылой и разъедающей душу житейской философии прагматиков и конформистов, которые



всегда готовы воскликнуть: «Что проку в добродетелях одного человека?». Роман — определенно за идеалистов и бессребреников, презирающих житейские блага, даже если они единичны и платят жизнью за преодоление стадного чувства. Есть невольная ирония в том, что Фарнаоз, в принципе, по ошибке становится мучеником и героем, возносящимся над толпой, но есть и вера в способность человека подняться, встать над самой собой в момент, когда приходится доказывать право называться человеком.

Рискну предположить, что герой-идеалист, бессребреник и романтик, не чуждый эмоциональных крайностей в выражении своего нравственного кредо, вобрал некоторые черты национального характера. Полутона исчезают, если налицо — страстное отношение человека к действительности. Предельное бескорыстие — реакция на удушающий меркантилизм... Притом в нравственном ригоризме героя грузинской (и не только исторической) прозы нет душевной сухости, мировосприятие его естественно, органично, целостно. Это помогает подчас смягчить впечатление, оставляемое некоторым избытком пафоса.

Проблемы нравственности, решаемые разными национальными литературами, могут быть очень схожими, особенно если над словом работают люди одного социального опыта. Чем резче своеобразие (в том числе и национальное) в подходе к этим проблемам, тем богаче их всеобщее звучание: закономерность, открытая давно.

Угадывать, познавать неповторимые черты нации в литературном герое — увлекательное и благодарное занятие. Открывшийся срез инационального сознания, по меньшей мере, освежает наши представления об окружающем. Особенно интересно изучать героя, на твоих глазах входящего — по сложным законам «обратной связи» — в сознание своего народа, его духовный обиход, его обычную повседневность. Я говорю о Дате Туташхиа из романа Чабуа Амиреджиби.

Рассказывают, что Дата стал персонажем современного грузинского фольклора. Это всегда больше, чем самая шумная популярность. Это значит, что герой литературы принят нацией и «пущен в обращение» как некое устойчивое понятие.

Мне довелось написать послесловие к роману, где, как во всяком послесловии, говорилось много серьезного, призванного объяснить читателю, что к чему. А вот раскрыть феномен послероманной жизни Даты Туташхиа гораздо труднее, чем воздать должное литературным достоинствам или сурово указать на отдельные недостатки произведения. Судя по всему, анекдоты о Дате просты, как пареная репа, но поистине нет объяснения самым простым вещам. Только и остается задумчиво спросить, подобно любознательному отроку: «А почему снег белый?».

Шутки шутками, а почему? Что обеспечивает столь уникальное бытие фигуре, созданной человеческим воображением?

Тут радуешься самой неисчерпаемости духовного потенциала литературы, ее могучей жизнеспособности рядом с современными — средствами — массовой информации. Приключения Даты — это, конечно же, приключения мятущегося, мятежного духа, привлекательность которых нет нужды доказывать. Мо-

жет быть, неотразимость обаяния Даты — в его готовности слезить истине, презирая житейские блага, в его покоряющей внутренней свободе? А может, благородный разбойник доказал своей бесконечной одиссеей, что нет жизненных обстоятельств, оправдывающих душевную лень, равнодушие, примирение со злом, нравственную глухоту. Читатель неизбежно обращает прочитанное к собственному опыту, а кто из нас, отступаясь, на какое-то мгновение теряя себя, не пытался найти этому вполне веское и объективное оправдание? Дата вполне мог проявить снисходительность к чужим слабостям, но в утешители не годился.

Абраг — не только еще один идеалист в сфере нравственности, он — герой идеальный или почти идеальный. Одно перечисление его достоинств заняло бы, как говорится, очень много места... И вот тут позвольте высказать еще одно предположение «на тему», пусть не покажется оно вам вовсе фантастическим.

Если какой-то человек — едва ли не совершенство, и вам многократно, и вполне справедливо, напоминают об этом, вместе с понятным почтением, даже восхищением у вас легко может возникнуть желание как-то «приземлить» живой идеал, приблизить его к себе, несовершенному, наделить узнаваемой, вполне грешной плотью. Мы с радостью отдаем должное чужим достоинствам, но к неизбежной морали, из них вытекающей, нередко относимся с незлобивой иронией. Не так ли популярный ЛИТЕРАТУРНЫЙ герой становится героем современного ФОЛЬКЛОРА?

Вот какие подчас вопросы возникают при взгляде на новейшую грузинскую историческую прозу. Все же они, думается, имеют отношение к сути дела, сути нашего разговора: вещи, способные дать повод к самым разным размышлениям, обеспечены реальным содержанием, жизненной фактурой. Определенные «историческая» при этом часто хочется вынести за скобки. Можно спорить о «Цотнэ», но что касается романов Отара Чиладзе и Чабуа Амирэджиби, то, наверное, для изучения изображенного в них ушедшего времени, прежних эпох свидетельства строгой науки оказались бы более надежными. Начинаешь, в конце концов, думать, что новейшие искания грузинской исторической прозы заключаются в неутомимом уходе ее от себя самой. А возможно — в обретении ею своего подлинного лица, в приобретаемой ею способности смело входить в область «вневременных», фундаментальных вопросов людского бытия. Это вовсе не исключает ни необходимости, ни пользы появления романов и повестей, традиционно воскрешающих важные этапы национальной истории. Как не исключает, а естественно предполагает точность социальных критериев в оценке изображаемых лиц и событий, точно угаданную общественную актуальность в постановке тех или иных проблем нравственности.

Грузинская проза о прошлом, поставленная в контекст нашего литературного развития, открывает многие свои симптоматические качества.

Литература конца 50-х — 60-х годов — это очень часто литература нравственного выбора, это «молодежная проза» с

ее юным героем-максималистом, это прозвучавшие так ^{так сильно} в повести Чингиза Айтматова и Василия Быкова. Человек перед лицом четких жизненных дилемм, недвусмысленный выбор гражданской, социальной, нравственной позиций, определение дальнейшего пути... Собственно, этим, столь важным, определением часто исчерпывалось содержание вещи. «Предельная», экстремальная ситуация, в которой полно раскрылся бы мир героя, становилась главным элементом в сюжетных, смысловых конструкциях.

Как мне кажется, проза 70-х внутренне ориентирована иначе. Она, если говорить несколько упрощенно, стремится изображать скорее ПУТЬ человека после сделанного выбора, чем сам ВЫБОР. Два примера, два произведения русского писателя, весьма чуткого к новым литературным веяниям: Сергей Залыгин, «Соленая Падь» и «Комиссия». Оба романа посвящены гражданской войне, но их творческая несхожесть не может не броситься в глаза. В «Соленой Пади» идет резкая поляризация сил, персонажи истово выбирают свое место в развернувшейся схватке, и в позиции каждого мы можем четко провидеть его дальнейшие шаги, его дальнейшую судьбу. Иначе построена «Комиссия». Герои этого романа, мужики из приуральской деревни, в подавляющем большинстве своем естественно, без натуги, становятся на сторону нового строя жизни, и все повествование — о духовной эволюции, духовном пути людей после сделанного выбора, об их напряженных раздумьях вокруг основ своего бытия на земле.

Такой подход к человеку, его социальному и нравственному существованию позволяет сделать повествование многомерным — как сами отношения личности с окружающим миром. Так нынешней прозе легче реализовать свое стремление к философскому охвату, философскому осмыслению жизненных реалий.

Конечно, сказанное — схема. Проблема выбора никогда не потеряет своего значения, как и проблема пути не сегодня возникла в литературе. Но на каждом этапе ее развития преобладает та или иная тенденция; сегодня, по-моему, та, о которой шла речь в связи с «Комиссией».

После XX съезда, времени немалых потрясений, резкой переоценки ценностей, каждому важно было определиться, проверить свою позицию. Пафос ясного, недвусмысленного выбора витал в нравственной атмосфере тех лет. Сегодня, при стабилизации всей нашей жизни, при равномерном и устойчивом движении общества, есть возможность и потребность взглянуть на наше бытие с самых разных сторон, в том числе и во временном, широко понимаемом контексте. Надо, по-видимому, иметь в виду эти обстоятельства «нелитературного порядка»...

Роман «Дата Туташхиа» по самой своей внутренней структуре скептически по отношению к проблеме выбора. Герой романа множество раз меняет, пробует, выбирает то или иное отношение к миру, к человеку, но ни разу эта определенность не приносит ему удовлетворения, не может решить никаких духовных проблем мятущегося абрага. Его предназначение — искать истину, и один ее вариант вряд ли способен утолить этот духовный голод.

На пути Даты есть все — и розы, и тернии, нет только остановки и успокоения. Он в самом деле способен смутить читательское спокойствие. И, коль мы тревожимся о сохранении духовного, нравственного в человеке, вовсе не застрахованном от безжизненного воздействия увеличивающихся материальных благ, вещных ценностей, — то не заслуживает ли благодарности яростно секущий эту тревогу абраг? Не пришел ли он, как и его литературные собратья, очень вовремя?

«Дата Туташхиа» — роман-трагедия, и вот, с моей точки зрения, почему.

Все, кто писал о романе, так или иначе касались присутствующих в произведении сюжетных мотивов, терминологии, действующих лиц Священного писания. Перед нами действительно — своего рода евангелие, яркая апокрифичность которого дает право говорить о немалой литературной искусности автора. Этот апокриф глубоко ироничен; условимся в данном случае понимать под иронией не манеру повествования, а способ восприятия вещей. Классическое евангелие — жизнеописание мессии, за которым идут ученики и последователи, сея христианское учение, христианскую мораль. Герой нашего романа остается, в конце концов, один, за ним, по причинам самым разным — и фатальным, и случайным, и закономерным, не идет НИКТО, и вот это одиночество искателя истины, добра и справедливости подлинно трагично, оно предрешает финал — исчезновение смертельно раненного Даты в морской стихии.

Люди оказались неспособны понять, оценить, взять в свой духовный арсенал неистовое горение, высоту духовной устремленности благородного абрага! Роман вовсе не подводит к таким прямолинейным риторическим вопросам, это, помимо всего прочего, притча с понятными условностями жанра. Притча, дающая в концентрированном виде людскую алчность, бездушные, двуличные, презрение к слабым, пресмыкательство перед сильным, злобу — все то, чего не должно быть в жизни, достойной человека, в жизни, которую он безусловно заслужил, путь к которой прокладывают идеалисты, подобные Дате Туташхиа.

Пафос таких романов принято называть трудным.

Отар Чиладзе писал об уходящем море, о море, покидающем жителей некогда славного города Вани.

Человек на берегу уходящего моря с особой остротой и страстностью думает о том, как, во имя чего, чем он живет, Мне сказали, что здесь, в Кобулет, море, наоборот, наступает на сушу, и это ничуть не беспокоит людей, живущих размеренной, полнокровной жизнью. Прямое соответствие литературы и действительности и в этом случае установить не удалось.

Но если писателю кажется, что море может уйти, покинуть людей, если это по-настоящему волнует его, вызывая душевную боль, если писатель «от противного», через уход моря доказывает его нетленную, постоянно присутствующую и требующую обостренного внимания красоту, — литература, в конечном счете, занимается своим кровным делом.

«ЖИТЬ — ЭТО УСТОЯТЬ»

Произведения, представляющие сегодня грузинскую историческую прозу, резко отличны по авторской манере, отмечены разной степенью мастерства. Я не ставлю своей задачей сравнительно определить эту степень в каждом конкретном случае, такого рода анализ — предмет специального, более узкого разговора. Ныне же мне хочется обратить внимание на ту глубинную общность, то внутреннее мировоззренческое единство, которое, подчас почти парадоксально, проступает сквозь все несходство художественных решений. Даже там, где повествование характеризуется особой усложненностью, нравственный итог произведений чаще всего сводится к утверждению, казалось бы, очень простых истин, которые, именно в силу кажущейся своей незамысловатости, нередко труднее всего понимаются людьми (как, впрочем, трудна для понимания всякая настоящая простота). Не претендует на первозданную новизну как будто бы и не слишком сложная мысль, венчающая, например, романы Отара Чиладзе — об активности доброго начала, спасительной для личности и всегда созидательной, писалось немало. Но Чиладзе, как бы возвращая читателя к истокам многовекового нравственного опыта, заново открывает, сколь сложный путь проходит человек, человечество к постижению обретенных некогда истин. И — сколь высока, а порой страшна, их цена. Современный мир достаточно изощрился, чтоб человек почувствовал усталость от многоопытной этой изощренности, ощутил врачующую тоску по подлинности чувств, поступков, понятий... А что избрать мерилom подлинного в изменчивом, противоречивом потоке жизни? Может быть, боль? Все меняется и течет, что-то становится привычным, что-то обесценивается... Все повторяется, не повторяется только наша боль. Она всегда подлинна и всегда нова. О том, что мне представляется «болью» грузинской исторической прозы, иными словами — о высокой ее гражданственности, и хотелось бы сказать в первую очередь. Начну с примера.

В очень разных романах Бориса Васильева «Были и небыли» и Отара Чхеидзе «Ветер, которому нет имени» есть одна, внешне совпадающая ситуация: героям, попавшим к врагу и ожидающим смертной казни, предоставляется возможность побега. Причем в обоих случаях спасительное предложение, хоть и исходит из уст противника, не сопряжено с какой-либо бесчестной обусловленностью. Русского, поручика Гавриила Олексина вывел за охраняемую зону турецкий офицер, угадавший

в пленном нравственное человеческое родство; Ростому Итрели позволяет отделиться от колонны обреченных бывший соученик. Но если Олексин бежит из плена не колеблясь, то с рою Отара Чхеидзе наотрез отказывается от спасения. Но чему?

Потому, что похожие по видимости ситуации существенно разнятся по сути. Олексин захвачен в бою, уже будучи пленным, он оказал врагу вооруженное сопротивление, убил турецкого солдата, стало быть, по нормам военного времени, может считаться виновным. Побег для него — не только возможность сохранить жизнь, но и вырваться с чужбины к своим, чтоб и дальше бороться за справедливое дело освобождения Болгарии от турецкого гнета. За Ростомом нет никакой вины, он даже не противник, а жертва, схваченная только потому, что можно схватить легко и безнаказанно. Если он ускользнет из рук царских карателей (события романа относятся к 1905 году), на его место сейчас же — для ровного счета! — найдут другую жертву, столь же случайную и безвинную. Он на своей земле и не совершил никакого преступления, бежать, принять эту милость от врага — значит признать за собой и другими обреченными несуществующую вину. Если уж нельзя занять свое место в бою за Отчизну, за свой народ, то грубому произволу, насилию нужно противопоставить гордость и несломленное национальное достоинство. Ведь уцелеть, выжить — еще не означает сохраниться. Дорога смерти и дорога гибели — это совсем не одно и то же.

Подтверждением тому может служить хотя бы судьба Кайхосро, одного из героев нового романа Отара Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной...» Пережитый в детстве ужас — на глазах ребенка турки вырезали всю его семью — навсегда отравил душу Кайхосро, навеки заразил ее страхом и недоверием. В нем поселилось убеждение, что люди чужды друг другу и быть иначе не может, что каждый, кто встретится в пути, способен убить его, растоптать без жалости. Из всех человеческих чувств осталось у Кайхосро это желание сохраниться, «спасти собственную жизнь, навсегда пропитавшуюся страхом, услышавшую дыханье близкой смерти». Ради этого Кайхосро отказывается от всего — от прошлого, от родных могил, даже от собственного имени. Ибо «умереть может каждый, а вот спастись — нет!».

Но жизнь, сохраненная ценой отказа от себя, ценой разрушения личности, выродилась во что-то совсем уж никчемное, ее, эту обкраденную «жизнь», он не мог посвятить никому, а уж родине-то меньше всего. Уцелевши физически, Кайхосро давно мертв нравственно, и вскормленные им бактерии разложения неизбежно поражают все вокруг. Изначальная ложь множится в судьбах детей и внуков, обреченных на неведение — кто они и откуда, не способных понять, где начало этой угнетенности, несвободы, несчастья, этого тайного проклятья, что тяготеет над их домом, который хочется залить керосином и сжечь, как постель чумного. «Я размножил лишь своих убийц... ничего другого из моей крови не родилось», — в этой предсмертной жалобе Кайхосро, помимо его воли, заключено и предостере-

жение: нельзя безнаказанно весь век применяться к социальной и всякой другой подлости, подменять борьбу с ней приспособленчеством. В общем-то человеку, как и всему живому, свойственно приспособляться, но, утверждает Отар Чиладзе, способность эта не должна становиться его главным свойством. Ибо спасительная, казалось бы, приспособляемость никогда не приходит сама по себе, без жертв и потерь, она — следствие самопринуждения, напряженной внутренней борьбы, отличающей от всякой другой тем, что «в ней побеждает побежденный, право на жизнь получает угнетенный и подавленный!».

К этой изначальной проблеме — «сохраниться!» — в ее личном, общенародно-национальном преломлении, так ли, иначе ли, восходят, пожалуй, все главные нравственные искания грузинской исторической прозы. Ведь именно она, эта первостепенная, неотступная забота, веками формировала психологическую структуру национального бытия, что закономерно для небольшого по численности народа, на земле которого слышавшие волны захватчиков тотчас же сменялись новыми (не случайно в целом ряде случаев писатели даже не конкретизируют национальную принадлежность врагов, не дают о них какой-либо точной информации, определяя враждебное начало коротко — безличным «они»). Достаточно вспомнить, что ко времени союза с Россией из шестимиллионного населения Грузии едва оставалось пятьсот тысяч. Естественно, что трагическая всеобъемлющая альтернатива «быть или не быть» порожидала множество проблем морального порядка, где выбор никогда не оплачивался дешево. Современная историческая проза, исследуя истоки и источники накопленного народом нравственного опыта, утверждает непреходящее его значение.

Мысль Цотнэ, героя одноименного романа Григола Абашидзе, о том, что «гораздо легче сохранить жизнь, чем избежать морального разложения», духовного оскудения, находит созвучное выражение, в сущности, во всех произведениях, относящихся к исторической теме. Разноплановость художественного воплощения — от притчевой неприязнительности до психологически усложненной философичности — не затуманивает этой исходной концептуальной общности.

Трагическую меру, которой измеряется сила душевной сопротивляемости, с мировоззренческой четкостью осмысливает поэт Торели, герой романа Григола Абашидзе «Долгая ночь». По его убеждению, отказаться от христианства, от родного языка и обычаев — значит «отказаться от грузинства как исторического понятия», раствориться в мусульманском море. Ничто не может заставить народ принести такую жертву. Сознание этой опасности (раствориться, исчезнуть!) и укрепляло дух тысяч тбилисцев, которых захвативший город султан Джемал-эд-Дин поставил перед жестоким выбором — «отречение или смерть!». Мало кто выбрал жизнь.

Да и можно ли считать жизнью то, что куплено ценой позорного компромисса, обмана, рокового отказа? «Жить — это устоять», — говорит один из героев романа Чабуа Амиреджиби «Дата Туташиа». Отказаться от чего-то заветного, «не устоять» — значит взорвать тот строй души и общественных взаимосвязей, который завещан предками. «Взрыв» этот всегда раз-

рушитель для личности. Чтоб защитить себя от нищеты и стра-
ха, то есть опять-таки — сохраниться, согласился забыть, по-
хоронить в своем сердце родину герой Отара Чиладзе Фрикс
(«Шел по дороге человек»). Но как же можно сохраниться,
обрубивши корни? Во что-то обесцвеченное, усыхающее и в кон-
це концов — ненастоящее, призрачное превратилось существо-
вание Фрикса, основанное на лжи и скрытой ненависти. «Выбо-
ра нет» — это ведь чаще всего самооправдательная лазейка.
Выбор есть, нет мужества, чтоб, сделав его, вступить в борьбу.
Не хватило его у отца Фрикса, который дошел до того, что ре-
шился продать родное дитя, фальшь, позорная тайна убили му-
жество и в сыне. Началом долгой цепи всеобщих бедствий по-
служило, казалось бы, личное отступничество, личное падение
Фрикса. В том-то и дело, что такого рода зло никогда не за-
мыкается на личности его носителя, оно, проецируясь на все
окружающее, способно и к протяженности во времени. Даже
ложь во спасение, утверждает Г. Абашидзе в романе «Цотнэ»,
губительна не для одного солгавшего, ее отравленный след кос-
нется многих.

Вот эта сопредельность, взаимозависимость между личным
и общественным нравственным началом нередко становится
краеугольным камнем философского, мировоззренческого поиска
грузинской исторической прозы. «Наверное, в мире ничто так
не зависит друг от друга, — говорится в романе «Дата Туташ-
хиа», — как нравственность личности от судьбы ее нации, нрав-
ственность гражданина — от достоинства и недостатков его го-
сударства. И наоборот... Они так слиты, что не знаешь, что
идет сначала, что потом». Как бы там ни было, отсутствие у
страны высокой исторической миссии и цели, узконациональный
смысл жизни и незначительность международных интересов не
могут не отразиться на ее морально-этических нормах, не де-
формировать нравственные устои общества. Когда же само го-
сударство становится орудием преступления, естественно ждать
и духовного упадка. Нет и не может быть внесоциальной нрав-
ственности.

Грузинская историческая проза глубоко и всесторонне ис-
следует характер и психологию этой двуединой зависимости
«человек—государство», особенно выделяя в художественном
исследовании следующие моменты: разоблачение заведомой без-
нравственности, преступности древнего постулата о том, что
«счастье одного народа строится на несчастье другого»; обли-
чение социальной природы насилия; ответственность личности
перед своим народом и временем. Эти общие положения вбирают
в себя целый ряд сопряженных нравственных проблем: выбор
и его цена, выбор и путь, путь и цель...

Завоевателям, привыкшим жить грабежом и убийством,
угнетателям, перешагнувшим все границы человечности, все же
необходимо оправдывать собственное варварство естественным
порядком вещей. На какой бы низкой ступени общественного
развития ни находились народы-поработители, некое подобие оп-
равдательной философии должно возникнуть. Право грубой си-
лы хочет выглядеть все-таки правом. И вот, пожалуйста: зверь
пожирает зверя и птица—птицу; дерево и то не дает расти во-
круг себя слабеньким молодым собратьям; человек угнетает

другого человека, а народ угнетает народ; побеждает, остается жить и процветать сильный, а тот, кто слаб, уходит с арены жизни. Так, в общих чертах «передана эта убогая, однако весьма интересная «философия» в романе Григола Абашидзе «Долгая ночь». Удивительно ли, что производная из нее поведенческая установка способна подточить в человеке даже искони присущие ему нравственные понятия и мерки. А когда весь народ побуждают целью и средством своего существования сделать убийство и грабеж, можно ли надеяться на благородство отдельных его представителей? Жестокость — как главный принцип государственной политики, жестокость — как норма отдельного человеческого бытия. Преступность, заложенная в основе общественно-социального правоупорядка — преступность, ставшая житейской повседневностью... В этой непреложной связи вспоминается картина развлечений в столице монгольских орд, изображенная Г. Абашидзе. Даже веселье тут не обходится без вероломства, унижения зависимых, жестокости и крови. В сущности, именно в этом, в унижении и жестокости, и заключается главная притягательность зрелищ. Торжество самодовольной тупости, высокомерие дикарей... Движимые единой идеей уничтожения, монголы, могущественные, подмявшие под себя полмира, ничего не внесли в духовную сокровищницу человечества. Сгнули как земная хворь, как кошмар...

Ибо в идее уничтожения всегда зреют зерна самоуничтожения. Жизнь целого народа оказалась бессмысленной. Как преступно-бессмысленна и всякая отдельная жизнь, если к исходу ее ничего не остается у ее носителя, кроме «памяти, доверху набитой трупами». Именно с этим чувством доживает век один из героев Чиладзе, воин Ухеиро, слишком долго считавший, что «ты человек до тех пор, пока можешь убить другого человека». В социально-психологическом исследовании безнравственной природы вот этого примата грубой силы, циничного произвола грузинская историческая проза сочетает публицистический пафос обличения с глубиной философских обобщений, всесторонне очерчивая сущность явления. В результате произведения, повествующие о далеком прошлом, в чем-то главным воспринимаются как остросовременные. Ведь в конце концов важны не хронология, не календарь, а направление нравственного поиска писателей, созвучность заложенной в повествовании идеи духовным запросам и представлениям современности, органическая сопряженность времен.

Реки крови пролил, к примеру, зловеще известный Чингиз-хан, фигура которого оживает вновь в романах Григола Абашидзе. Он сломил великие государства, уничтожил целые народы, но так и не осилил, казалось бы, эфемерного — человеческого достоинства побежденных. Он не был оригинальным в историческом ряду именитых тиранов — как и каждый самовластный деспот, этот невежественный завоеватель стремился, в первую очередь, вытравить в подчиненных чувство собственной личности, сознание их человеческой ценности. Жизнь монголы оставляли лишь тем, кто охотнее других отдавался в рабство, со временем, надеялся хан, рабы народят рабов, только они и будут прозябать на земле. Эта «теория» име-

ет достаточно разветвленные исторические аналогии, нечто подобное пытался насадить, например, немецкий фашизм.

Григол Абашидзе стремится развенчать культ власти, народной по своей сущности, объяснить природу издавна замеченного общественного явления. Дело в том, что неограниченное самовластие нередко таит в себе особого рода гипноз, и людям, не слишком самостоятельным в суждениях, свойственно верить в те исключительные качества, которые приписывает себе тиран. «Страх перед собой, перед своей личностью, — пишет Г. Абашидзе, — Чингиз-хан возвел в ранг священного трепета. Безотчетный страх незаметно превратился в безотчетное преклонение, великий страх незаметно преобразовался в великую любовь! ...Нерушимая вера в его особенность, в его божественность, в его незабываемость на земле внушается с детства и одна безраздельно царствует в сердцах и умах монголов». Такому же повальному обольщению поддавались народы завоеванных стран. Писатель напоминает о духовном ничтожестве владык подобного плана. Ибо величие человека — это величие его души, отраженное в делах добрых и правых, в непреложном служении людям. А злодейство, пусть и глобальное по своим размерам, всегда остается преступлением, является порождением вопиющей нищеты духа.


Сходную точку зрения встречаем и в творчестве других писателей — грузинских и разноязычных. Ничтожен по своей истинной сути — ничтожнее всех своих подданных — лжецарь Окаджадо из романа О. Чиладзе «Шел по дороге человек». Лишенным ложной значительности, как «проходимец, возглавивший невежественные полчища», предстает тот же Чингиз-хан в повести Абиша Кекильбаева «Хатын-гольская баллада», где писатель в свою очередь задается, увы, не новым вопросом: «каким образом эта серая личность, похожая на птенца пустельги, ...этот маленький, в комок сжавшийся, незаметный человек... мог со своими невежественными войсками сломить, несмотря на отчаянное сопротивление, народ со столь развитым искусством, наукой и благосостоянием, о чем завоеватели даже не имели понятия?»

В украинской прозе обобщенный образ деспотического насилия создал в романе «Первост» Павло Загребельный. Его воевода Мостовик даже наиболее близким людям представлялся фигурой, хоть и зловещей, но необычной, приподнятой над повседневностью. Развитие действия обнажает его ничемное нутро, выявляет его человеческую заурядность, даже неполноценность. Ибо «не был он ни решительным, ни необыкновенным, а великим — и подавно. Был очень средним, серым, как его усы, человеком, который когда-то благодаря случаю возвеличился и всю жизнь потом только о том и заботился, чтоб удержать свое высокое положение». Такие люди, утверждает писатель, органически не способны к действиям, полезным народу, заботы общегосударственные, общенациональные для них не по масштабам. Глубинное смысловое созвучие находим и в концептуальных выводах грузинских прозаиков. Кстати, и там, где речь идет не об иноземных поработителей, а о социальной верхушке Грузии на разных этапах национального развития.

К социальной бдительности народа взывает образ правления доморощенного «фюрера» Сетуры («Дата Туташхиа»), твердо стоящего на том, что «чтобы человек был счастливым, нужен голод». Ну и, конечно, страх и палка. Главное же достижение такого положения, чтоб подневольным нравилось быть рабами. К этому же стремится и Ягор («И всякий, кто встретится со мной...»), в представлении которого «людьми были только богатые», им «принадлежал мир», а бедняки «шли в хвосте жизни, их, собственно, и людьми-то считать было нельзя». Коварный и беспощадный Ягор с истинно «вождистской» хваткой быстро достиг положения, при котором он был в среде зависимых от него рабочих «окружен полнейшим подчинением и покорностью, основанными на его божественной строгости и справедливости». Каждый из писателей, о произведениях которых здесь идет речь, по-своему, но с неизменной гражданской страстью, подчеркивает омертвляющую, всерастворяющую сущность всякого насилия, социального, классового неравенства, опасность стадового стандарта мышления.

Как видим, в романах и повестях, относящихся к исторической прозе, личность проходит испытание на прочность в период острых социальных потрясений, на сломках общественно-исторических этапов, в пору всенародных трагедий. Всякая настоящая литература стремится утвердить высокий моральный идеал, но у грузинских писателей тоска по человеческому совершенству особенно остра. В той напряженности, с которой вершится ими нравственный поиск, всегда слышна по-настоящему значительная, очень гражданственная боль, представления о земном назначении человека истинно бескомпромиссны. Понимание нравственности как внутренней силы, «с помощью которой личность управляет своим поведением, во всяком случае, сочетает свои желания с интересами своего народа, своего государства», причем эти интересы осознаются как первостепенные, выявляет четкую взаимосвязь между индивидуально-личностным и общечеловеческим. В героических характерах, которых немало в грузинской исторической прозе, поражает специфическая «глобальность» самоосознания: внутренняя ответственность за состояние собственной личности порой настолько велика, что герои (отнюдь не в разрез с авторским представлением) ощущают себя так, будто от характера их поступка, от непоколебимости личного достоинства непосредственно зависит судьба целого народа, а правота или неправота отдельной индивидуальной позиции способна поколебать в ту или иную сторону общий престиж человечества. Этот нравственный максимализм — качество жизненно необходимое, ибо «народ, сломленный духом, — обречен». Крепость целого зависит, как известно, от нерушимости частичек, поэтому очень важно, чтоб каждый живущий «не убил в себе фиалку», поступал противно голосу равнодушия, тому, что советует, в частности, хотя бы сытый сельский священник, отец Зосиме («И всякий, кто встретится со мной...»): «Вот фиалка... С этого начинается человек... А хочешь выжить в грязи — первым делом убей в себе фиалку... К счастью, фиалка легко гибнет...»

К счастью, «фиалка» гибнет нелегко. И не убавание в себе человечности, а благословенная способность и сопротивляе-



мости помогает не только «выжить», но и устоять, а, значит, по-настоящему сохранить себя. И спасти свое время. Рассуждение о том, что «время портит человека», вовсе не исчерпывает всей правды. Каким ему, времени, быть, тоже ведь зависит от каждого из нас. Человек должен быть выше гримас своего времени, сильнее жизненных обстоятельств, по крайней мере, такой должна быть внутренняя психологическая установка. И тогда судьба может удостоить подвига во имя отчизны, утверждает Г. Абашидзе. Идти дорогой чести — это должно стать не только святой обязанностью, но и внутренней потребностью человека, таково, в частности, самоощущение Цотнэ накануне героического его поступка. Перед мысленным взором Цотнэ единая жизненная дорога будто раздвоилась. Одно ответвление вело, скорее всего, к смерти, но этот путь был как бы освещен светом правды и величия духа. Другой вел в ничтожество, в болото однообразного, сытого, тупого существования. Выбор был подсказан герою всем опытом его предыдущей жизни, хоть решение, казалось бы, родилось мгновенно, властью сердечного порыва.

Кстати, вот эта решающая, поворотная, «единственная минута» настигает героев грузинской исторической прозы нередко — как высший взлет, как наиболее полное проявление личности, от которого иной раз, как в случае с Цотнэ, зависит честь целого народа. И — как последнее порой средство подтвердить свое человеческое достоинство — хотя бы в собственных глазах. В минуту гордости и наслаждения победой предпочли умереть грузинские силачи-борцы, поражение которых в состязании с монголами было заранее обусловлено («Долгая ночь»). Подвиг безрассудства? Ведь имитируя они поверженность, поддайся — и были б живы. Но логика здравого смысла бессильна перед потребностью бросить гордый вызов врагу, заявить о своей несломленности, а, значит, и о несломленности всего народа. (Не этим ли чувством движимы были футболисты киевского «Динамо», сыгравшие в оккупированной фашистами украинской столице свой знаменитый «матч смерти»?)

Такую же минуту высокой решимости пережил грузинский полководец, доблестный Шалва Ахалцихели («Долгая ночь»). В одиночку, вопреки всеобщей покорности, выступили против бесчеловечности и несправедливости безымянные герои Отара Чиладзе — один отважился выразить протест триумфально вступающему в город Окаджадо, второй поднял свой единственный голос против растлевающей власти Ягора. К счастью, при самых жестоких режимах всегда есть такие вот прекрасные в своей дерзости исключения, которые не позволяют умереть надежде, заглухнуть духу непокорности и сопротивления. Да и в повседневности должны быть у человека моменты, определяющие смысл жизни, служащие впоследствии моральным ориентиром. Даже за слабой, изменившей своему женскому предназначению Ино («Шел по дороге человек») сохраняет писатель право на эту единственную минуту, служащую опорой, подтверждающую ее изначальную и не вытравленную ужасом жизни сущность.

Истинная мудрость самоотверженности в произведениях грузинской исторической прозы противопоставляется «пошлomu

мудрствованию расхожих истин», обывательскому воинствующему потребительству. Вовсе не нужны, например, Кусе («Иисус по дороге человек») честность и нравственность — от них ни сыт, ни одет не будешь, ими не «попользуешься»! Внутренний преследователь Фарнаоза, приводит его (как и всякого мещанина) в ярость. Для него спокойнее было бы, если б Фарнаоз с его порядочностью и кровоточащей совестью, с его молением о человеческом понимании, с его хлебом, пахнущим потом, вообще не существовал. Или хотя бы чуть более походил на других и «вместе с ними забивал камнями возвестителей истины». Кусе жизненно необходимо унижить чужую чистоту, доказать, что все люди в своем ничтожестве стоят друг друга. Чем жить такому? Только ненавистью.

Этому разрушительному чувству, пагубному для личности, авторы всех рассматриваемых ныне произведений противопоставляют любовь. Любовь к родине, к своему народу, к женщине осмысливается ими как сила созидательная, способная возродить из праха все, что разрушено враждой или непониманием. Любовью держится жизнь, любовь способна подарить бессмертие, стать неисчерпаемым источником добра. Это та внутренняя психологическая опора, которая в самые дикие времена удерживала людей от нравственного вырождения. Ибо подлинная человечность, основанная на любви, пусть даже незащищенная, даже преступно попранная, все-таки непобедима. Должно быть, существует какой-то закон сохранения мужества, благородной несгибаемости духа, недаром же сквозь любой исторический мрак в конце концов пробивается доброе и разумное начало.

«Любовь и добро, которые умеют превращаться в реальные дела» — нравственный ориентир романа Чабуа Амирэджиби. Этот ориентир указывает нелегкий путь. Даже благородный Дата Туташиа чуть не отступился от него, когда от усталости и обид изверился было в людях, решил, что нет среди них достойных заступничества. Любовь к ближнему нужна ведь не только ближнему, а и себе самому, чтоб не обмельчать и не выродиться. Отречься от людей — значит стать им не нужным, обречь себя на одиночество, на долю загнанного зверя. Помочь попавшему в беду повелевает живущий в человеке нравственный закон, а соображения, стоит ли кто-то нашей помощи или нет, по меньшей мере, второстепенны. Помогаем потому, что не можем иначе.

Действенность доброго начала последовательно утверждает и Отар Чиладзе. Проследившая природу человеческого поведения, скажем, Фарнаоза, вникая в философию его поступков, нельзя не заметить, что именно отсутствие волевой активности обусловило личную трагедию героя, стало причиной того, что любящий, жаждущий человеческого тепла герой никому вокруг не принес радости. Он утратил право на мечту и любовь, потому что не хотел ради них ничем пожертвовать, отжаться на мало-мальски независимый поступок. В сущности, та же тема находит дальнейшее развитие в новом романе О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной...» Именно любовь, ставшая руководством к действию, спасает от нравственной смерти одно-

рукого Александра, излечивает его от изнуряющей душу ненависти, открывая смысл жизни, важность собственной необходимости хотя бы одному-единственному человеку. Охраняющее значение любви, ее жизнеутверждающее социальное начало в обобщенном смысле передает фраза, сказанная в романе революционером Нико: «Народ у нас добрый: на этом лишь он до сих пор и держится».

Но как же святая ненависть к врагу? Такая ненависть, идущая от любви к своей стране и народу, а не от низменных себялюбивых чувств, не унижит благородное сердце. Она — сестра любви, и тоже питает веру, потерять которую — значит сломиться. Ведь по мысли одного из братьев Итриели («Ветер, которому нет имени») и сам «человек — это вера». Для борьбы нужна убежденность, определенность выбора, иначе, как пишет О. Чиладзе в романе «Шел по дороге человек», получится «доброе зло или злое добро, насильственное соединение, чудовищная помесь». Любовь и вера способны противостоять человеческой отчужденности, стать основой сплочения. Ибо сильнее любого врага разрозненность, она открывает ворота самых неприступных крепостей. В одиночку можно только умереть, победить — невозможно. Стезя индивидуализма привела к гибели (да еще от пули собственного сына!) бескорыстного рыцаря Дату Туташиа, вызывает восхищение гордое сопротивление обреченного Бату, но почему, почему он один? В этой связи Отар Чхеидзе напоминает нам «старую, да правую» мудрость о необходимости сплочения перед лицом зла, ибо горе тем, кто «только физически остался вместе, а духовно порознь». А также — о той общественной, социальной опасности, которую таит в себе равнодушие: «стоять в стороне легко... потому у никчемных людей это в правилах». В моменты острых социально-исторических потрясений вот эта дряблая внутренняя никчемность становится преступной. Хорош или плох, например, собиратель песен Никуша? Да не плох, не хорош, он никакой, пустое место. Но природа не терпит пустоты, заброшенной церковью, как известно, завладевает черт. Где нет места настоящему выбору, поселяется «доброе зло» или «злое добро», что в общем-то одинаково чревато последствиями. Более всего желавший остаться в стороне, Никуша логикой обстоятельств оказался в самом центре трагических событий. Жалкий, он стал поводом кровавого бедствия, захватившего судьбы многих достойнейших людей.

Грузинская историческая проза утверждает как наиболее достойную человека нравственную норму то состояние духа, при котором «причина действия» заключена в короткой формуле «не мог иначе». Иными словами, подразумевается тот склад личности, при котором неуклонное следование велению нравственного закона становится органической сущностью человека. Нетерпимость ко злу и подлости привела в абраги Дату Туташиа — он «не мог иначе». Не отрекся от своих убеждений, погиб на каторге в Сибири, другой герой романа Чабуа Амирэджиби, известный ученый, — он тоже «не мог иначе». Прикрыл грудью грузинского друга — «не мог иначе» — русский парень Юрий Орлов в повести Григола Чиковани «Февраль», не променял на офицерские эполеты правое дело восставших одиш-

цев герой его же рассказа «Рядовой Ряшенцев». Летит навстречу пуле — ни за что не уклонится — неистовый Шалва Хетэрели («Ветер, которому нет имени»). Под прицелом убийца не сможет забыть о добре, любви, сострадании, милосердии, изменить своей человеческой природе брат Шалвы — сельский врач Элизбар. Пусть рушится все вокруг, пусть весь мир охвачен безумием и ужасом, остается верен себе, своему гражданскому долгу и не утративший убеждений Давид. «Народ ищет выхода, и чем бы вы ни послужили народу — вы политический деятель», — так считает этот герой Отара Чхеидзе и так он живет. Если есть хоть малейшая возможность совершить нужный другим поступок, следует его совершить, пусть даже за минуту до собственной гибели. Ведь и смерть не освобождает от верности себе, от ответственности перед жизнью и временем, перед своим поколением. Самое лучшее наследство, которое можно оставить потомкам: пример для подражания. Так не убейте же в себе фиалку!

Любовь — чувство щедрое и широкое. Конечно, тот, чье сердце не болит заботами родины, кого не тревожат раздумья о счастье родного народа, недостоин называться человеком. Не любя как следует своего, он вовек не полюбит и чужого. Из сыновнего чувства к отчей земле вырастает любовь и уважение к другим народам, и чем истиннее патриотическая струна, тем надежнее и вернее порожденный ею, направленный во вне отзвук. Кто сумел стать достойным гражданином своей страны, тот и все человечество представит достойно. Именно так, через интернационализм, от национального — к общечеловеческому, восходит нравственный поиск грузинских писателей, чьими произведениями представлена сегодня историческая проза республики. Ее отличают большая внутренняя честность, страстная, мужественная гражданственность.



Читатели нашего журнала уже знакомы с трудами ленинградского ученого, доктора исторических наук, лауреата Государственной премии СССР И. П. Лейберова. Его документальный очерк «Ясочка — почтовый ящик революции» был напечатан в «Литературной Грузии» в 1976 году (№№ 2, 3, 4). Этот очерк явился составной частью его интересной книги «Цебельдинская находка» (Политиздат, М., 1976).

И. П. Лейберов не расстается с архивами. Сейчас он выявил новые материалы о неоднократном пребывании в Грузии и Абхазии легендарного революционера-народовольца, друга К. Маркса и Ф. Энгельса — Г. А. Лопатина, о жизни и деятельности в Сухуми родного племянника Лопатина — замечательного революционера, социал-демократа, большевика Б. Н. Захарова. О них и пойдет речь в его новом документальном очерке.

Игорь ЛЕЙБЕРОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЯДЯ И ЕГО ПЛЕМЯННИК

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРОШЛОГО СУХУМИ

1. ИЗ РОДА ЛОПАТИНЫХ

Ранней весной 1902 года с палубы маленького парохода выгрузился в Сухуме помощник присяжного поверенного Борис Николаевич Захаров. Он переехал сюда по совету врачей из Саратова, имея на руках тяжелобольную туберкулезом жену Е. В. Владимирову-Захарову (курсистка Петербургского женского медицинского института), пятилетнюю дочь и годовалого сына. Сухой причерноморский климат, море и фрукты продлили жизнь этой мужественной и терпеливой женщине ровно на одиннадцать лет.

Некоторое время они скромно жили в маленьких гостиницах, снимали квартиры в разных частях города. Через год-два Б. Н. Захаров — человек талантливый, высококультурный и энергичный — стал известным адвокатом в Сухуме, Абхазии, позже и в Грузии. Появились деньги, определенный материальный достаток. В течение четырех лет построили свой добротный двухэтажный дом, который разместился по бывшей Екатерининской улице, 24. На втором эта-

же находились комнаты членов семьи, спальня, гостиная, рабочий кабинет Бориса Николаевича. На первом же этаже разместились адвокатская контора, начальные классы частной школы, организованной усилиями Евгении Васильевны. С годами здесь же появилась богатая библиотека, проходили занятия одного из лучших в городе литературно-музыкального кружка.

Адвокатская и общественно-культурная работа Б. Н. Захарова в Сухуме составляла как бы внешнюю сторону его жизни. Не менее важной стороной была его подпольно-революционная деятельность активного социал-демократа ленинско-искровского направления. Вот эта-то — вторая линия жизни преуспевающего адвоката — и не была до поры до времени известна сухумским военно-полицейским и административным властям.

Борис Николаевич Захаров родился 14 марта 1876 года в Тифлисе в состоятельной дворянской семье. Отец его был директором Тифлисской мужской гимназии и дослужился до действительного статского советника (генеральского чина по табелю о рангах). Мать Бориса Николаевича — Вера Александровна Лопатина-Захарова была родной и любимой сестрой выдающегося русского революционера-демократа и народовольца Германа Александровича Лопатина.

В семье Захаровых были сильны традиции демократизма и свободомыслия и прежде всего они объяснялись влиянием на Веру Александровну двух ее братьев-революционеров Германа и Всеволода. Последний был народовольцем и проходил по судебному «процессу 193-х». После тюремного заключения В. А. Лопатин был поселен в Саратове под гласным надзором полиции. Здесь в его семье почти десять лет рос и воспитывался Борис Захаров, который рано лишился отца, а его мать — Вера Александровна — вынуждена была в тяжелых условиях воспитывать еще четверых детей в Тифлисе.

В. А. Лопатина-Захарова очень любила своих братьев, и особенно Германа. Незвирая на то, что он был «опасным государственным преступником», она (как и ее сестры Ольга и Людмила) помогала брату как могла, морально и материально. Нередко при встречах она рассказывала своему сыну Борису о его мужественном дяде — борце против самодержавия.

И племянник пошел дорогой своего легендарного дяди. До 1894 года Борис Захаров учился в Тифлисской, а затем в Саратовской гимназиях. Став студентом естественно-математического факультета Московского университета, он приобщился к чтению народовольческой и марксистской литературы. В университете он познакомился с молодыми марксистами, студентами — юристом Александром Цуликидзе, математиком Иваном Теодоровичем и особенно подружился с математиком Михаилом Васильевым (позднее — Южиным). Пройдут годы, и все трое станут большевиками-ленинцами, видными деятелями РСДРП. Вместе с Васильевым-Южиным, Захаров принимает участие в студенческих волнениях, ведет революционную агитацию среди рабочих и студентов. Друзья вместе работали в ленинском московском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», в кавказском землячестве Московского университета. В 1897 году Борис Захаров был арестован полицией, судим и выслан на три года в Тифлис под гласный надзор полиции. Через два года начал сдавать государственные экзамены теперь уже за юридический факультет в Новороссийском (Одесском) университете. Став помощником при-

сяжного поверенного, Борис Николаевич работал некоторое время в Тифлисе, Саратове, затем переехал в Сухум.

Все эти годы он не порывал связей с революционным движением, с социал-демократией, читал ленинскую «Искру», переписывался с революционными друзьями по Москве и Одессе.

2. ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУХУМСКОЙ КОММУНЫ

Началась первая русская революция. В январско-февральские дни 1905 года волна мощных революционных выступлений захватила всю Грузию, Абхазию, как и Россию. Впервые в своей истории Сухум переживал крупные политические выступления рабочего и трудящегося населения. Город был наводнен революционными листовками. В одной из листовок Тифлисского комитета РСДРП, крупная партия которых была переслана в Сухум и там распространена, говорилось: «Товарищи!.. Наши петербургские товарищи начали всеобщую стачку: работа прекратилась повсеместно. Петербургский пролетариат сотнями тысяч направился на улицы и площади, чтобы там во всеуслышание заявить о своих потребностях... Московские, виленские, ковенские и рижские наши товарищи поддержали петербуржцев и революционная волна перебрасывается из города в город. Смелее же вперед, товарищи! Наши петербургские братья строят уже баррикады — мы должны их поддержать».

Данная листовка была выявлена недавно в архивах департамента полиции в Москве.

Массовыми действиями трудящихся Абхазии (абхазцы, грузины, русские, армяне, греки, турки) руководила Сухумская группа РСДРП, организационно оформившаяся еще летом 1903 года. С начала революции в группу входили большевики Леван Готосия, студент Владимир Гобечия, Борис Захаров, Северьян Кухалейшвили, Элеонора Махвиладзе (позднее примкнула к меньшевикам-жорданиевцам). Позже в группу вошел и пламенный сын грузинского народа Серго Орджоникидзе, возглавивший большевистскую ячейку в Гудаутах. С мая 1905 года в Сухуме работала опытный большевик-конспиратор Людмила Воронова, разъездной агент Центрального и Петербургского комитета РСДРП.

Из воспоминаний дочери Б. Н. Захарова — Евгении Борисовны Захаровой, журналистки, проживающей ныне в Москве:

«Отец был высокого роста, сильный. Был очень непритязателен в быту, не обращал внимания на одежду, его трудно было заставить переменить костюм. Хорошо плавал, любил ходить в горы, любить природу. Очень был бескорыстен и щедр... Отец был смелым и великодушным. Прекрасно был образован, знал естественные и общественные науки, иностранные языки. Принимал активное участие в революционном движении 1905 — 1907 годов, сам участвовал в вооруженных боях, когда восставшие массы в Сухуме брали правительственные учреждения. После поражения восстания был арестован, сидел в сухумской тюрьме в одной камере с Г. К. Орджоникидзе. Я хорошо помню Серго, тогда он был молодой, стройный, с черными кудрями, очень ласковый и приветливый. До конца дней своих сохранял он уважение и дружбу к моему отцу, нашей семье».

Осенью 1905 года революция резко пошла на подъем. Рабочие Абхазии непрерывно митинговали и бастовали, крестьяне захва-

тивали помещичьи земли. Активизировали деятельность сухумские большевики. Большевистская организация Сухума (по воспоминаниям члена КПСС Л. Н. Вороновой) насчитывала в эти месяцы не менее 150 членов партии, число активно сочувствующих большевикам достигало 3—4 тысяч человек. Сухумский комитет РСДРП поддерживал надежные связи с большевиками и передовыми пролетариями Тифлиса, Баку, Батума, Поти, Кутаиса, Гудаут. Через Л. Н. Воронову («Тамара») был налажен прочный контакт с руководящим ядром Кавказского союза РСДРП—Миха Цхакая, Степаном Шаумяном, Иосифом Сталиным, Шалвой Элиава. По указанию «красного губернатора» Кутаиса В. А. Старосельского из районов Гурии и Батума в Сухум были переправлены небольшие партии оружия и боеприпасов. Как и вся Грузия, Абхазия готовилась к вооруженной схватке с царизмом.

Не покладая рук работал на дело революции и Борис Захаров. За эти месяцы он осунулся. Десятки выступлений на митингах и собраниях перед рабочими и молодежью, многочисленные поездки в села, аулы и выступления на крестьянских сходах. Руководство Сухумской группой РСДРП и выработка революционной программы действий.

Недавно в материалах департамента полиции удалось обнаружить интересное дело под заголовком: «О революционной деятельности в гор. Сухуме и его округе Бориса Захарова, Левана Готошия и других», дата — 1906 год. Новые архивные документы проливают яркий свет на мужественную деятельность Бориса Николаевича Захарова, Левана Ивановича Готошия, Владимира Павловича Гобечия и их боевых друзей в Сухуме и близлежащих городах. Приведем строки из жандармского доклада от 30 ноября 1906 года:

«Беспорядки на политической почве в Сухуме начались и быстро развивались с начала 1905 года под влиянием волнений в Гурии и Мингрелии. Разгар же революционного движения относится к периоду октябрь—декабрь 1905 года. Командированные из этих мест агитаторы (а также из Петербурга, Тифлиса, Кутаиса и Батума — И. Л.)... нашли в Сухуме достойных сотрудников. Под их руководством (т. е. приезжих агитаторов-большевиков — И. Л.) образовали Сухумскую группу РСДРП, которая сначала тайно, а потом явно забрала в свои руки руководство всем революционным движением. Заправилкой в местном комитете РСДРП был присяжный поверенный Борис Николаев Захаров... Деятельность комитета выразилась в выпуске прокламаций, устройстве митингов, ... попытках к захвату в свои руки казначейства и всех правительственных учреждений».

Это была упорная борьба за создание революционной Сухумской коммуны по типу и подобию Кутаисской коммуны. И если у истоков первой стоял племянник легендарного Германа Лопатина—Борис Захаров, то у второй — выдающийся ученый-агроном и революционер Владимир Старосельский и их революционные друзья большевики-ленинцы М. Г. Цхакая, Ш. З. Элиава, С. Г. Шаумян, Н. Н. Мростосердов, Л. И. Готошия, Г. К. Орджоникидзе, Л. Н. Воронова, С. И. Кавтарадзе.

Всероссийская Октябрьская всеобщая стачка привела в движение народные массы Абхазии и Грузии. С 15 октября 1905 года в Сухуме была объявлена политическая стачка, а через три дня она стала всеобщей. В листовке городского комитета партии говорилось: «Объединимся же с бастующими, докажем, что и у нас много уг-

нетенных, жаждущих свободы и могущих постоять за нее! Будем помнить, что мы не одни, что с нами весь Кавказ, объятый пламенем протеста!»

19 октября на центральной площади Сухума состоялся грандиозный митинг. Призывом к свободе и к восстанию звучали звонкие голоса большевистских ораторов Левана Готошия, Бориса Захарова, Владимира Гобечия. Если большевики звали массы к борьбе за вооруженное свержение монархии, то грузинские меньшевики и федералисты, армянские дашнаки и абхазские автономисты считали, что борьба должна закончиться всеобщей стачкой, ибо, дескать, «высочайший манифест» 17 октября «гарантировал» демократические свободы.

В октябрьско-ноябрьские дни 1905 года в Сухуме всеобщая стачка начала перерастать в вооруженное восстание. По инициативе Левана Готошия и Серго Орджоникидзе поднятые в город боевые дружины рабочих с Кодорского лесопильного завода и красные сотни гурийских и абхазских крестьян-бедняков приняли участие в захвате городской думы, казначейства, порта, почтамта и телеграфа. Спротивление местной полиции и небольшого воинского гарнизона было быстро парализовано.

Буржуазно-помещичья дума была отстранена от власти и создан революционно-демократический орган — Народная комиссия. Ее возглавил Б. Н. Захаров. Большевик Леван Готошия стал во главе военной комиссии, которая начала организацию народного правосудия и милиции. В различных пунктах Сухумского округа создавались крестьянские комитеты, красные сотни вооруженных рабочих и крестьян. Они конфисковывали помещичьи леса, земли, делили скот. Повстанцы нападали на банки, арсеналы, цейхгаузы и добывали деньги и оружие для революции, ее бойцов. При содействии большевиков-питерцев Шалвы Элиава (студент Петербургского университета) и Людмилы Вороновой (слушательницы Высшей вольной школы П. Ф. Лесгафта в Петербурге) была установлена связь с руководством Кутаисской коммуны: В. А. Старосельским, Н. Н. Простосердовым (бывшим студентом Петербургского университета), Ф. Е. Махарадзе (бывшим студентом Петербургского университета), С. И. Кавтарадзе (будущим студентом Петербургского университета).

Над Сухумской коммуной почти два месяца реял красный флаг свободы. Старая власть в Сухуме распалась и не могла противодействовать революционным массам и их органу — Народной комиссии. В ноябре 1906 года жандармские власти признали: «...Сухумские революционеры организовали Народную комиссию, взявшую в свои руки фактическое управление городом... Местная администрация почувствовала себя не способной бороться с политическим движением и отказалась вообще от какой-либо деятельности. Благодаря чему в Сухуме и его округе всцарилась полная анархия».

Народным массам не удалось одержать победы. Наступила черная реакция. Руководители Сухумской коммуны Б. Н. Захаров, Л. И. Готошия, Г. К. Орджоникидзе были арестованы и заключены в местную тюрьму, представитель партийного центра Л. Н. Воронова была выслезена и арестована в Петербурге.

Царский суд обвинял руководителей Сухумской коммуны в ел-

БОРИС ЗАХАРОВ — «был организатором Народной комиссии и суда... выступая на митингах и совещаниях в качестве оратора проповедуя уничтожение самодержавия, частной собственности, призывал немедленно ввести новое государственное управление на основах демократической республики».

ЛЕВАН ГОТОШИА — «...начальник боевой дружины, производивший нападения с целью получения для (партийной) организации денег и оружия, яркий агитатор, призывавший к мятежу и вооруженному восстанию».

ГРИГОРИЙ ОРДЖОНИКИДЗЕ — «является агитатором проповедей в народе за вооруженное восстание».

Царские власти всячески издевались над арестованными большевиками. В тюрьме было голодно, холодно, грязно. Мать большевички Л. Н. Вороновой, хозяйка легендарной «Ясочки» Александра Константиновна Прогульницкая-Воронова возглавила общественную комиссию по сбору денег, продуктов, одежды и топлива для политических заключенных в сухумской крепостной тюрьме.

14 февраля 1906 года А. К. Воронова писала своей дочери Вере в Петербург:

«...Сухумские политические содержатся в общей тюрьме, и есть добрые люди, которые заботятся о них. И я передала туда к масляной 60 яиц, а на днях пошло несколько кур и опять яиц, Юрия платье (сын А. К. Вороновой — ученый-биолог — И. Л.), брюки, жилеты, пиджаки я вымыла, выгладила, поштопала, полатала, пришила пуговицы и хочу отдать в руки тем, которые передадут их по назначению в тюрьму... И если я увижу, что вещи действительно попали кому следует, то попытаюсь при помощи нескольких добрых знакомых организовать постоянную поддержку выдачей платья и продуктов, денег нуждающимся...»

В мае 1906 года Серго Орджоникидзе и Борис Захаров были выпущены из тюрьмы под крупные денежные залого, собранные сухумской прогрессивной общественностью, и расписку о невыезде за пределы города. Орджоникидзе вскоре скрылся и выехал на партийную работу в Тифлис, оттуда в Берлин. Суд над Серго состоялся лишь в октябре 1908 года в Сухуме. Борис Захаров вновь был арестован через несколько месяцев и после суда провел в тюрьмах около двух лет. 22 июня 1906 года большевик Леван Готошиа был зверски застрелен стражником в своей тюремной камере. Так власти расправлялись с борцами за свободу.

3. ГЕРМАН ЛОПАТИН НА СВОБОДЕ!

Только под влиянием нарастающей революции 21 октября 1905 года Николай II издал указ об освобождении узников Шлиссельбургской крепости. Через неделю из одиночной камеры под номером 27 на волю вышел на шестьдесят первом году жизни Герман Александрович Лопатин. Он просидел ровно двадцать один год в Петропавловской и Шлиссельбургской (в последней — восемнадцать лет) крепостях.

Мрачные царские застенки разрушили его могучее здоровье. От вечной сырости и холода в камерах у него болели руки и ноги. Мертвящая тишина ослабила слух, глухой мрак и отсутствие света в камере — навсегда испортили зрение.

Очевидно, надо считать чудом, что этот мужественный человек сумел остаться в живых, как и восемь его друзей по крепостному заключению (Н. А. Морозов, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, М. В. Новорусский, И. Д. Лукашевич и другие). От верной смерти сумасшествия спасли его две формы необычной человеческой активности: непрерывное — кроме сна — хождение по камере (кто-то из шлиссельбуржцев подсчитал, что за двадцать лет заточения он обошел 12 раз землю по экватору) и непрерывное «писание» в мыслях — воспоминания о жизни и борьбе, о былых встречах с друзьями и разговорах с ними, о будущей жизни и посещении новых городов, представления о природе. Уже в заключении Г. А. Лопатин изучил греческий и латинский языки, тренировался в английском, французском и немецком языках, писал много стихов. Но все это произошло уже после первого десятилетия его заточения, когда узникам разрешили перестукиваться, получать бумагу, чернила, перья и писать родным по два письма в год!

Неудивительно поэтому, что незадолго до освобождения Лопатин писал с сарказмом своему брату Всеволоду из крепости: «Для старика с неотвязным хроническим ревматизмом всего оплечья пропитательно не завидовать лаврам Ф. Нансена (полярный исследователь — И. Л.) и не восхищаться замачливой перспективой... переселения, чуть ли не в семидесятилетнем возрасте, в какой-нибудь приполярный городишко «Людоморск», либо в живописный улус «Пропалую падь», центральный пункт «Замерзайковой волости». А если еще у этого старика, уже в настоящую минуту, осталось в верхней челюсти всего только три (да и то не очень надежных) зуба, то удивительно ли, коли он не особенно прельщается мечтами даже о самых соблазнительных якутских «чукотских» кушаньях... и не тешит своей фантазии картинками будущего... И ровно ничего не имею против: «непостыдной» и мирной кончины здесь (т. е. в Шлиссельбургской крепости — И. Л.)...»¹.

Такие или подобные этому были иногда настроения у этого удивительного человека.

И вот на свободу вышел тот легендарный Герман Лопатин, который был личным другом К. Маркса, и последний подметил у русского друга «очень живой критический ум, веселый характер, стойкий, как у русского крестьянина». Личный друг Ф. Энгельса, который говорил — «Наш смелый, до безумия смелый Лопатин»². Тот человек, который буквально из-под носа жандармерии помог бежать из Вологодской ссылки известному революционеру П. А. Лаврову и через некоторое время предпринял (не без согласия К. Маркса) отчаянную по смелости попытку освободить из Вилюйского острога Н. Г. Чернышевского. Герман Александрович был близок к идеям К. Маркса и поэтому последний рекомендовал его представителем от Русской секции в Генеральный совет Первого Интернационала. Лопатин первым начал в Лондоне переводить «Капитал» Маркса с

¹ Письмо цитировано по книге Харченко Л. И., Винклер А. В. Мятая жизнь. Материалы о революционной деятельности Германа Лопатина. Изд. 2. С. Урополь, 1979, с. 267.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. XXIV, с. 347—349; Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951, с. 187—188.

немецкого на русский. А в дни смерти основоположника марксизма писал его младшей дочери — Элеоноре: «(Маркса) я любил как друга, уважал как учителя и почитал как отца»¹. Сам Лопатин трижды совершал побеги из иркутской тюрьмы, из Ставропольской и Вологодской ссылок, трижды отбывал заключение в страшных казематах Петропавловской крепости, приговаривался к смертной казни через повешение, замененной в последний момент пожизненным крепостным заключением, и отдавший ровно треть своей жизни тюрьмам, ссылкам и крепостям.

А в конце ноября 1905 года в большом зале Петербургской консерватории Герман Лопатин, Николай Морозов, Вера Фигнер и их друзья по заточению сидели в центральной ложе и слушали музыкально-литературный концерт. Он давался лучшими прогрессивными артистическими силами в честь шлисельбургских узников. На концерте присутствовали представители революционно-демократической интеллигенции, питерские пролетарии, студенческая молодежь. Зал стоя бурно приветствовал борцов за свободу. Незабываемый момент жизни!

И все же царские власти боялись даже старого и больного Германа Лопатина, его огромного авторитета и влияния среди революционной молодежи. Власти собирались Германа Александровича выслать на поселение в Сибирь. Но бурные протесты общественности, болезненное состояние здоровья революционера не позволили этого сделать судебно-полицейским властям. Ему разрешено было выехать к родному брату Всеволоду в Вильно, где за Лопатиным устанавливалась полицейская слежка. «За Германом Лопатиным надлежит по прибытии в Вильно установить бдительный и неослабный надзор полиции, — говорилось в письме директора департамента полиции виленскому генерал-губернатору, — для чего следует назначить двух специальных надежных полицейских, которые бы сменили один другого».

В Вильно состоянии здоровья Г. А. Лопатина ухудшилось. С большим трудом ему удалось получить в августе 1906 года разрешение и пропуск департамента полиции «на временную отлучку в Одессу» к сестре для лечения. В конце августа Герман Александрович выехал тайно на пароходе из Одессы в Сухум и Тифлис.

4. ЛОПАТИН В СУХУМЕ

Молва о приезде выдающегося революционера в курортный город (невзирая на его нелегальный характер) опередила его прибытие. Следует заметить, что тогдашние газеты довольно широко освещали пребывание Г. А. Лопатина в Одессе, его желание навещать родных сестер в Тифлисе, а попасть в него быстро можно было только морем — через Сухум.

К одесскому пароходу, ставшему на рейде Сухума в один из последних солнечных дней августа 1906 года, устремились до десятка лодок с представителями от профсоюзных и общественно-культурных организаций. На многих лодках виднелись большие букеты ярких цветов, кое-где над лодками были подняты лоскуты

¹ Смольников И. Ф., «Г. А. Лопатин», Л., 1968, с. 30.

красного кумача, несколько голосов запели «Марсельезу». Представители сухумских рабочих, демократической молодежи и интеллигенции по-своему — красными флагами и революционной песней встречали Германа Лопатина, как неумолимого борца за свободу.

Евгения Борисовна Захарова вспоминает: «Мы — наша семья — во главе с Борисом Николаевичем — сели в шлюпку и выехали к пароходу. Он уже остановился и бросил якорь, пассажиры устремились к трапу.

— Смотрите! Вон дедушка Герман! — вскричал отец. В совершенном одиночестве на верхней палубе стоял статный старик в широкополой шляпе и в накидке. Очень он, тогдашний Герман Александрович, был похож на тот фотопортрет, где он снят вместе с А. М. Горьким в Италии, на острове Капри. Ветер слегка шевелил его густую седую бороду, а он, как-то с грустью (так мне казалось тогда), смотрел вниз на нас. Мы быстро поднялись по опустевшему трапу на палубу. Обнялись — дедушка Герман знакомился с нами. Обе стороны страшно волновались, Лопатин и отец прослезились. Тут же появились представители демократических организаций и торжественно приветствовали Германа Александровича.

Потом мы поехали к нам домой. Помните, что дедушка пробыл у нас недолго, он торопился в Тифлис к родным сестрам (Ольге Александровне и Вере Александровне — моей прямой бабушке). Все эти дни, пока Герман Александрович пробыл у нас, в доме не стихала суматоха. То и дело приходили делегации, отдельные люди, которые сердечно его приветствовали (среди них были рабочие, молодежь и даже крестьяне). Я так и запомнила его, сидящим в центре нашего обеденного стола, за которым то и дело чередовались гости и одна трапеза переходила в другую. Много было разговоров о судьбах революции в Абхазии, Грузии, о наступлении новой реакции».

По утрам, когда Лопатин просыпался и отдыхал от всех приветствий и визитов, он подолгу наедине беседовал с племянником, Борисом Николаевичем. Его интересовало все: материальный уровень жизни грузинских и абхазских крестьян и рабочих, события революции в Грузии и Абхазии, деятельность Сухумской коммуны. И, наоборот, много рассказывал о себе, о встречах с К. Марксом, Ф. Энгельсом, о своем заключении в Шлиссельбургской крепости. Революционер вживался в российскую действительность — революция еще продолжалась, хотя и отступала.

В дни пребывания Лопатина в Сухуме полиция не беспокоила ни его, ни его племянника. Очевидно, власти боялись нового взрыва общественного возмущения в Грузии и Абхазии.

Затем Г. А. Лопатин уехал в Тифлис, где торжественно был встречен трудящимися города.

Второй раз Герман Александрович приехал в Грузию и Абхазию только через девять лет, в апреле 1915 года. В этот промежуток времени бывший шлиссельбуржец в течение пяти лет (1908 — 1913 годы) проживал и лечился в Италии, в живописной деревушке Кави, близ Генуи, на берегу Средиземного моря. Бывал в Париже, Лондоне, Риме, Неаполе. В начале декабря 1909 года Лопатин по приглашению Горького посетил его на Капри и некоторое время был гостем великого пролетарского писателя. Летом 1913 года Герман Александрович вернулся на родину, поселился в Петербурге в Доме

для престарелых писателей (Набережная реки Карповки, дом 21). Летом 1914 года все четыре брата Лопатиных — Герман и Всеволод — оба бывшие революционеры-народовольцы, Сергей и Николай — оба генералы русской армии (!) встретились в Киеве. К чести братьев-генералов они никогда не отказывались от своих братьев-революционеров и нигде и официально и неофициально не поносили. Братья на память сфотографировались. Г. А. Лопатин любил этот снимок и нередко комментировал его: «У меня два брата — военные генералы, а я генерал от революции». Таковы были парадоксы российской истории.

Незадолго до второго приезда Германа Лопатина в Сухум, в январе 1915 года, российская революционная и прогрессивная общественность отметила 70-летие революционера. В широком потоке адресов, телеграмм и писем в адрес юбиляра поступило скромное приветствие и от большевистских депутатов IV Государственной думы. Это было тем более знаменательно, что пятеро думских большевиков-ленинцев, представлявших честь и гордость пролетариата России и его партии, в то время находились под арестом, следствием и пребывали в одиночных камерах Дома предварительного заключения. В своем адресе от имени питерских и российских рабочих они писали Г. А. Лопатину:

«Вспоминая Вашу яркую и самоотверженную борьбу за торжество в нашей жизни начал братства и свободы, представители рабочего класса считают своим долгом с чувством глубокой признательности отметить, что в среде русских мыслителей, посвятивших себя изучению и разработке проблем социализма, Вы один из первых обратили мысль русского рабочего движения к научным источникам европейского и международного социализма».

И дальше шли подписи: «А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, М. К. Муранов, Н. Р. Шагов».

Герман Александрович был тронут до глубины души и этим подвигом рабочих-депутатов, которым, как и ему в свое время, угрожала смертная казнь. Он оставил свою запись по этому поводу:

«Остались, значит, депутации, адреса, депеши, присылки цветов... Наиболее трогательным было то, что эсдекская (т. е. социал-демократов большевиков — И. Л.) фракция Думы, сидящая целиком в тюрьме, проведая как-то об этом деле (т. е. о юбилее — И. Л.), ухитрилась доставить мне свой адрес и в таких выражениях, которые проняли меня до слез, взяв во внимание время и обстоятельства».

Шла первая мировая война. Но пролетарские борцы даже в условиях тюремной изоляции, в ожидании приговора царского суда, выполняли свое дело — от имени рабочего класса чтли память легендарного революционера и друга К. Маркса.

...Во второй раз в Сухуме Г. А. Лопатин прожил у своего племянника около месяца. Солнечная весенняя погода благоприятствовала отдыху. Герман Александрович с членами семьи Бориса Николаевича, а нередко в сопровождении своей 19-летней внучатой племянницы Евгении много гулял по морской набережной и берегу, знакомился с достопримечательностями города, наносил визиты. Даже попытался, и не без успеха, учиться кататься на велосипеде.

Не обошлось без путешествий в горы. Особенно запомнилась поездка в Цебельду и в Захаровку, бывшее имение графа Бобрин-

ского. Ехали на пароконном фэртоне. На вершинах гор горели отблески солнца. И вдруг Лопатин начал читать на французском языке с настроением стихи Верхарна «Человечество»: «О, вечера, распятые на сводах небосклона». Несколько часов Герман Александрович лазил по горам, заночевал в маленьком домике в Захаровке, где его ждал отличный кавказский ужин. На следующий день в разговоре он заметил:

— Какая тут красота, какая мощь и свобода в этих горах. Как хорошо, что наш Кавказ «непричесан», как юг Франции. А главное, что тут нет туристов...

В один из дней навестили вместе с Б. Н. Захаровым в Цебельде хозяйку «Ясочки» А. К. Прогульбицкую-Воронову. Вороновы дружили с семьей Захаровых, иногда бывали друг у друга в гостях, к тому же прошлое Сухумской коммуны прочно связывало Бориса Николаевича и Людмилу Николаевну Воронову. В «Ясочке» Герман Александрович вспомнил, как свыше шестидесяти лет тому назад, когда он еще учился в младших классах Ставропольской гимназии, его учителем по родной речи и латыни был молодой учитель Николай Ильич Воронов, в будущем друг А. И. Герцена и сопроцессник Н. Г. Чернышевского. Здесь революционер узнал об интересной судьбе своего бывшего учителя.

Тогда Лопатин несколько часов провел вместе с племянником в «Ясочке», близко познакомился с членами семьи Вороновых. Большое впечатление на него произвели беседы с учительницей Людмилой Вороновой и ее мужем Тарасом Мясоедовым, петербургскими большевиками.

...Наступила весна 1917 года. Герман Лопатин в Петрограде, а Борис Захаров в Сухуме восторженно встретили известие о победе Февральской революции и свержении самодержавия. Лопатин был непосредственным участником революции, бывал на митингах, шествовал в колоннах демонстрантов. 28 февраля он записал в своем дневнике:

«Я весь день и вечер (т. е. 27 февраля 1917 года — И. Л.) провел в толпе восставших рабочих и передавшихся на их сторону солдат, присутствую при их подвигах и поражениях... Мои глаза теперь ведь очень плохи. Попадал, конечно, не раз под обстрел из винтовок и пулеметов, оставаясь стоять даже тогда, когда мои случайные товарищи временно разбегались, ибо быть сраженным пулею в такой торжественный день, на склоне жизни, я счел бы за счастье...»

...В начале мая 1917 года Б. Н. Захаров по своим адвокатским делам выезжал в Петроград. (После 1911 года Борис Николаевич отошел от активной политической деятельности и возглавлял адвокатскую коллегия в Сухуме). Обратившись в Сухум, он вернулся вместе с Лопатиным. Опять были торжественные встречи, цветы, речи, музыка, рукопожатия. Целый месяц Герман Александрович был в центре внимания грузинской и абхазской обществности. В один из вечеров в сухумском доме Б. Н. Захарова на чаепитии присутствовали в числе многих других и местные большевики Северьян Кухалейшвили, Людмила Воронова, Тарас Мясоедов. В ответ на вопрос вертлявого местного эсеровского вожака Николая Доценко о роли различных политических партий в революции Лопатин ответил:

— Товарищи, я стар и болен и, очевидно, далек от реального анализа политической обстановки в России. Но мне кажется, что будущее в революции за Лениным, рабочими и крестьянами...

Это было третье и последнее посещение Г. А. Лопатиным Абхазии и Грузии.

Легендарный революционер встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию уже тяжело больным. Старость, слепота, болезнь желудка убивали его последние силы, но он всей душой принял революцию, ибо верил в дело К. Маркса, поверил в дело В. И. Ленина. Е. Б. Захарова записала в дневнике:

«Революция была желанным венцом его прекрасной жизни. Всю жизнь, все личное благополучие и счастье он отдал делу революции. Ему ли было не признать завоеваний Великого Октября».

Умер Г. А. Лопатин в конце декабря 1918 года и был с почестями похоронен на Литературных мостках Волкова кладбища в Петрограде.

После революции племянник Лопатина — Б. Н. Захаров привлекался как опытный юрист с богатым революционным прошлым к составлению Конституции Абхазской Советской Социалистической Республики, Земельного кодекса Абхазии и Грузии. Долгие годы был председателем коллегии адвокатов Абхазии. Дружил и сотрудничал с Серго Орджоникидзе, Нестором Лакобой, Ефремом Эшбой. Скончался Борис Николаевич в 1938 году.

Олесь СИНИЧЕНКО

ЛЕТОПИСЕЦ ГЕРОИЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ

Константин Лордкипанидзе — старый знакомый украинских читателей. Еще в 1930 году в Харькове вышли его роман и повесть — первые прозаические книги писателя. А сегодня лучшее из созданного им читают также на белорусском, азербайджанском, молдавском, армянском, эстонском, абхазском, осетинском и других языках народов СССР. Украинский читатель берет в руки уже пятую книгу Лордкипанидзе, а на русском языке осуществлено двадцать восемь изданий общим тиражом свыше полутора миллионов экземпляров. Произведения писателя издаются и за границей — на английском, немецком, французском, словацком, чешском, венгерском, польском, болгарском, арабском языках и на языке урду, включаются в зарубежные антологии.

Чем же объяснить такой большой успех этого художника? Что побуждает читателей снова и снова перечитывать его книги, входить в мир их героев и сопереживать вместе с ними?

Чтобы понять это, нужно окинуть взглядом жизненный и творческий путь одного из основоположников грузинской советской литературы.

Константин Лордкипанидзе мог бы вслед за Владимиром Маяковским сказать о себе: «революцией мобилизованный и призванный».

«Революция» — это, наверно, было одним из первых слов, услышанных будущим писателем, потому что родился он за полмесяца до «Кровавого воскресенья» (7 января 1905 года по новому стилю), а волны первой русской революции прокатились и над его колыбелью. От села Диди-Джиханши, нынешнего Самгредского района, где Коция родился и где прошли его детские годы, было около двухсот пятидесяти вёрст до Тифлиса, где в начале февраля полиция учинила расправу над участниками революционной демонстрации («лужи человеческой крови стояли на тротуарах до вечера», — писала об этих событиях Леся Украинка в письме к матери), и совсем рядом была Гурия, где в октябре вспыхнуло вооруженное восстание крестьян...

Юноше пошел тринадцатый год (он был уже учащимся кутаисской классической гимназии), когда произошла Октябрьская

социалистическая революция, положившая начало национальному и национальному освобождению грузинского народа, и исполнилось шестнадцать, когда в Грузии победила Советская власть. Незабываемое впечатление произвело на Лордкипанидзе вступление в Кутаиси в марте 1921 года частей Красной Армии. Романтически настроенный юноша записался добровольцем в ее ряды, ничего не сказав ни родным, ни друзьям, и прослужил в ней почти целый год — пока его не разыскала мать... «Я в то время еще не был комсомольцем, — вспоминает писатель, — но всем своим существом стоял на стороне пролетариата».

Духовное возмужание Лордкипанидзе приходится на годы становления грузинской советской литературы. В создании ее принимали участие писатели трех поколений, но решающую роль в идейном ее обновлении сыграла революционная творческая молодежь, и одним из ее вожаков — вместе с А. Мирцхулава, К. Каладзе и другими пролетарскими поэтами — становится К. Лордкипанидзе, который начал писать стихи еще в младших классах гимназии и по инициативе которого в ее стенах создается литературный кружок «Феникс», объединяющий также творческую молодежь из других учебных заведений. Восемнадцатилетний Константин — один из основателей кутаисского отделения Ассоциации пролетарских писателей Грузии. Переехав после окончания социально-гуманитарного техникума, в который превратилась гимназия после установления Советской власти, в Тифлис (1924 год), он становится одним из самых активных членов литобъединения при комсомольской газете «Спартак».

Своим главным учителем в литературе К. Лордкипанидзе назовет Илью Чавчавадзе, в прозаических произведениях которого «впервые почувствовал соль грузинского языка и рельефную лепку характеров». А среди непосредственных, современных ему наставников был, в частности, В. Маяковский. Вспоминая о своей первой встрече с ним весной 1926 года, Лордкипанидзе писал, что эта встреча оказала решающее влияние на его творческое развитие. «Тогда я буквально накинулся на его стихи, не пропустил ни одного его выступления в Тбилиси, и долгие годы Владимир Маяковский незримо сопровождал меня в моей творческой работе».

Но не только собственным творчеством и литературными проблемами живет писатель. Он стремится быть на передовых рубежах новой жизни: в первые годы индустриализации заводит рабочим клубом, во время коллективизации (1930—1931 гг.) работает специальным корреспондентом газеты «Коммунисти» в селах Западной Грузии.

В первый же день Великой Отечественной войны К. Лордкипанидзе заявляет о своем желании пойти на фронт добровольцем. С начала 1942 года писатель в действующей армии — как и многие его братья по перу. С блокнотом военного корреспондента он прошел в рядах защитников Отчизны от берегов Терека до легендарной Сапун-горы под Севастополем. О его личном мужестве и самоотверженности свидетельствуют боевые награды, среди которых два ордена Красной Звезды.

В послевоенные годы К. Лордкипанидзе много сил и энергии отдает труду на издательской ниве. Он первый редактор журнала «Литературная Грузия» (1957—1962), затем редактор молодежного журнала «Цискари» («Утренняя заря»), с 1966 года директор издательства детской и юношеской литературы «Накадули» («Ручеек»), с 1975 года редактор альманаха мировой литературы «Саундже» («Сокровищница»), а с 1978 года двухмесячного журнала «Гантиади» («Рассвет»). Грузинские читатели обязаны неутомимому К. Лордкипанидзе многими интересными публикациями и изданиями.

Немало времени уделяет писатель общественной работе. Он член правления Союза писателей СССР, исполняет нелегкие обязанности депутата Верховного Совета республики.

«Все это и есть жизнь», — говорит писатель. Постоянное общение с народом помогает ему глубже познавать ту действительность, которую он отображает в своих книгах.

Первое печатное произведение Константина Лордкипанидзе появилось в 1924 году в газете «Спартак». Это было стихотворение, посвященное вожаку грузинского комсомола Борису Дзиеладзе. Спустя два года выходит первая книга молодого автора «Стихи», а вслед за ней — сборники «После первого», «Улыбка» (1927), «Новые стихи» (1929). Тематический диапазон поэта довольно широк — пишет он о революции и Ленине, о труде и классовой борьбе, о дружбе и любви. Считая себя трибуном революции, активно откликается на события, воспекает новую жизнь, новые отношения между людьми и дает бой всему, что мешает идти к счастью. Служение народу — высшая цель поэта.

Проникнутые пафосом утверждения социалистической действительности поэтические произведения К. Лордкипанидзе завоевали благосклонность широких читательских кругов и оставили заметный след в литературе. «Некоторые из тех стихотворений, — писал несколько лет назад известный литературовед Бесо Жгенти, — например, «Работник-виноградарь», в котором впервые грузинская поэзия нарисовала образ молодого героя современности — строителя социалистической индустрии, до сих пор не утратили своего места и назначения в истории гражданской поэзии нашего времени».

Издав в 1932 году свои избранные стихи и поэмы, К. Лордкипанидзе больше не выпускал поэтических сборников, если не считать нескольких детских книжечек, однако до сих пор он остается подлинным поэтом, и об этом свидетельствуют не только его поэтические переводы, не только поэтическая взволнованность его прозы, но и стихи, включенные в книги «Один удачный год» (1970) или «Без тебя» (1976).

В литературе К. Лордкипанидзе выступает, во существу, во всех жанрах. Пробуя силы в драматургии, писатель еще в 20-х годах переделывает свою повесть «Третий путь» на стихотворную драму. В 1942 году он вместе с драматургом И. Моса-

швили по своему рассказу «Одной ночью» пишет пьесу и киносценарий, по которому снят фильм «У сторожевой башни». Первой работой К. Лордкипанидзе в кино был художественный совместно с режиссером С. Долидзе сценарий художественного фильма «Дружба» (1941), посвященного дружбе украинских и грузинских колхозников. Фамилию писателя кинозрители увидели в титрах фильмов «Тень на дороге» (1957) — о послевоенной деревне и «Прерванная песня» (1960) — о боевой дружбе советских и чехословацких воинов.

Много внимания уделяет К. Лордкипанидзе публицистике. Яркое представление о нем как публицисте дает книга «Любовь заставила сказать» (1974). Собранные в ней статьи и выступления свидетельствуют о широких гражданско-литературных интересах писателя, об его активной позиции в общественной жизни. Молодежь и высшее образование, молодежь и село, уровень культуры в современном селе и роль местной интеллигенции, проблемы градостроительства — таковы главные вопросы, поднятые в статье, давшей название книге. Среди материалов сборника — размышления о необходимости связи писателя с жизнью, о литературе для детей, исследование о грузинско-германских литературных связях, ряд портретов мастеров слова — Г. Табидзе, К. Гамсахурдиа, Т. Разикашвили, М. Горького, В. Маяковского, И. Франко...

Слово о Каменьяре, датированное сентябрем 1940 года, начинается фразой: «Этой ночью закончил переводить поэму Ивана Франко «Моисей» и не могу молча отойти от этого блистательного писателя, в плену монументальных образов которого я был целых два месяца...»

Переводы поэтических произведений — неотъемлемая составная часть творческих созданий К. Лордкипанидзе. Кроме «Моисея» Франко (первых десяти глав), он переводит поэмы Шевченко («Тарасова ночь», «Тополь», «Кавказ», «Большое подземелье»), часть армянского эпоса «Давид Сосунский», сборник стихов Л. Дмитрирка, танки (пятистишия) японского писателя Такубоку Исикава, стихотворения В. Маяковского, А. Суркова, Л. Первомайского, А. Исаакяна, Х. Абовяна, А. Мицкевича, П. Элюара, Н. Хикмета и др.

Писатель требователен к качеству перевода, о чем свидетельствует и его обстоятельная статья «Другая жизнь слова» (1976), где он называет плохой перевод самым большим врагом языка. Его собственные переводы осуществлены подлинно мастерски.

Мастерством отмечено, можно сказать, все, к чему прикасается рука зрелого художника, однако с наибольшей силой проявился талант К. Лордкипанидзе в жанре прозы и особенно малой прозы, за десять произведений которой в 1971 году писателю присуждена Государственная премия Грузинской ССР имени Ш. Руставели.

Прозаическим дебютом К. Лордкипанидзе был рассказ «На набережной» (1925). В нем автор обратился к теме интернационализма, характерной для советской литературы. Главный герой рассказа — мальчик Пей, сын бедного китай-

«ского крестьянина, убитого плантатором, — после тяжелых скитаний находит счастье в Советской стране, где становится пионером...»

По-видимому, поняв, что писать нужно о том, что лучше всего знаешь, молодой писатель обращается к комсомольской жизни. И вот в 1927 году выходит роман «Мох», который становится заметным событием в литературной жизни республики. В нем автор воссоздает современную грузинскую действительность, борьбу за утверждение социалистического строя. В центре романа — трагедия юноши, выходца из мелкобуржуазной семьи, Гуги Гугава, который ради любви к княжне Мери предает революцию. Несмотря на свои недостатки, это произведение засвидетельствовало, что в литературу пришел талантливый прозаик.

В том же году в журнале «Пролетарули литература» («Пролетарская литература») появилась повесть Лордкипанидзе «Третий путь». Новую жизнь можно принимать или не принимать, а третьего пути не существует, — такова основная мысль произведения. Для его героини — бывшей жены контрреволюционера, которая вышла замуж за инженера-большевика, — поиск третьего пути кончается трагически. Писатель как бы мимоходом поднимает и такую актуальную в то время проблему, как супружеские отношения в условиях новой жизни.

В повести «Первая мать» (1928) эта проблема становится центральной, и, наверно, поэтому в свое время это произведение вызвало так много споров. В первом варианте повести (по которой осуществил Г. Наморадзе украинский перевод) ее героиня комсомолка Гаянэ Майсурадзе считала мужа, семью помехой в общественной работе. Наконец, поняв, что партийные обязанности не должны убивать в комсомоле материнские чувства, Гаянэ решает стать матерью...

В прозаических произведениях Лордкипанидзе 20-х годов отмечается схематизм, художественное несовершенство, еще недостаточное знание жизни. По-видимому, по этой причине писатель не включил их в свой четырехтомник. Перепечатывает он только повесть «Первая мать», существенно доработав ее.

Тогдашнюю прозу писателя критик В. Джибути назвал революцией на пути к выходу на широкий творческий путь. Благодаря хорошей литературной практике, приобретенной в эти годы, Лордкипанидзе смог приняться за роман о коллективизации, который назовут шедевром и включат в школьные и вузовские программы; который будет издан в нашей стране (отдельно или вместе с другими произведениями) больше трех десятков раз, в том числе и на украинском языке; который, наконец, понесет великую правду о нашей стране трудящимся капиталистического мира. Роман из номера в номер будет печататься с иллюстрациями популярная французская литературная газета «Летр франсез», потом он выйдет отдельной книгой, и «Юманите» напишет: «Этот чудесный роман воскрешает один из наизначительнейших периодов истории Советского Союза, и

тому, кто хочет эту историю понять, прочитать его ^{необхо-}димо».

Окончательное название этого романа — «Заря Колхиды».

А началось с того, что Константин Лордкипанидзе поехал на место событий. Близко познакомившись с первым в Грузии колхозом — Земокедской сельскохозяйственной артелью, он создает серию публицистических очерков «Новые крестьяне» (1929). Это была, так сказать, разведка темы. В 1930 году писатель поселяется в имеретинском селе Парцханакеви и, работая здесь секретарем сельсовета и заведующим избой-читальней, сам принимает активное участие в коллективизации. А уже в первых номерах журнала «Мнатоби» за 1931 год была напечатана значительная часть романа «Долой кукурузную республику», который составил три части будущего романа «Заря Колхиды» (1931—1932; 1948—1952); четвертой стала выпущенная перед самой войной книга «Водоворот».

Роман этот занимает почетное место среди таких выдающихся произведений многонациональной советской литературы, как «Поднятая целина» М. Шолохова, «Ацаван» Н. Заряна, «Гвади Бигва» Л. Киачели и других.

Перед нами одно из сел Западной Грузии, которую тогда иронически называли «кукурузной республикой», подчеркивая этим чрезвычайную отсталость народного хозяйства края, где основными культурами были кукуруза и фасоль. Видим здесь и бедняков, как, например, Марта Гордадзе, в чьей избе на правах члена семьи жил голод; и середняков, среди которых выделяется Аслан Маргвеладзе — влюбленный в землю трудолюб; и кулаков, например, Барнаб Саганелидзе — хитрый и коварный мироед, действующий в совхозе с другой сельской пиявкой — духанщиком Эремо Пиртахия, который ради выгоды «покинул бы сына при смерти»; и деклассированные элементы (могильщик Дахундара Турабелидзе — бездельник и пьяница).

Уже в начале романа встречаемся с главным его героем — сиротой Меки Вашакидзе, батраком Пиртахия, забитым, придавленным, бессловесным. Чтобы этот добродушный, трудолюбивый парень духовно выпрямился, стал полноценным человеком, нужен был новый социалистический строй. Лишь после вступления в артель бывший батрак начинает жить по-новому. Радость свободного человека переполняет ему грудь, когда он ведет в село первый трактор и поет без слов. А когда тяжелораненый Меки спас машину, он, можно сказать, сдал экзамен на звание Человека. И наконец он одерживает самую трудную победу над собой — вырывает из своего сердца любовь к кулацкой дочери — красавице Талико, которая его ослепила, заслонила не только влюбленную в него прекрасную девушку Допину Гордадзе, но и весь мир.

Счастье Меки было бы немислимо без таких людей, как секретарь земоцихской партячейки Тарасий Хазарадзе — инициатор создания колхоза и его председатель. Именно благодаря мудрости и бесстрашию этого верного сына партии, после-

довательного проводника ее политики, артель выстояла, несмотря на все козни кулаков. Сила Тарасия в глубоком знании жизни, человеческой психологии, в кровной связи с народом, которому он верно служит. Привлекает Тарасий не только своей самоотверженностью, мужеством, которое особенно проявляется в поединке с бандитом Двалишвили, но и исключительной человечностью, — он по-отечески заботится о Меки, нежно любит жену и детей и глубоко переживает, что у него не остается времени помочь им.

К образу коммуниста грузинские прозаики обращались и раньше, однако живой, полнокровный образ большевика впервые встал перед читателями на страницах романа «Долой кулацкую республику».

Проработав над романом с перерывами свыше двадцати лет, требовательный художник снова и снова обращается к нему, совершенствует, шлифует. Он принадлежит к тем писателям, которые, по его собственным словам, «до смерти не расстаются ни с одним из своих произведений», с годами лучше замечая, «где какое слово ослабло, где какой краски не хватает картине».

В последнее время автор дважды возвращался к «Заре Колхиды», и после этих посещений своих героев 30-х годов родились два рассказа, которые фактически представляют собой новые главы романа — «Старые знакомые» (1976) и «Дождливой ночью» (1977). В первом из них мы снова встречаемся с молодыми героями романа — «безгрешной, как солнечный луч» Допиной и спесивой, духовно нищей красавицей Талико, секретарем комсомольской ячейки Бачуа Вардосанидзе, который ни за что не изменит своим революционным убеждениям, и только что принятым в комсомол Меки, у которого еще никак не укладывается в голове, что та, которую он обожествляет, — классовый враг. Новые штрихи к портрету главного героя добавляет автор и в рассказе «Дождливой ночью», который переносит читателя в те дни, когда рухнула надежда Меки выбиться в люди, обзаведшись собственным хозяйством. Чтобы утешить друга, Дахундара привозит его пьяного к «мамзелям». На какую-то минуту батраку показалось, что можно и без быков быть счастливым. Но здоровое, человеческое одержало над ним верх, ибо не через забытье проходит путь к настоящему человеческому счастью...

Оба рассказа свидетельствуют о расцвете таланта писателя, об его изумительном умении рисовать словом.

Первый перерыв в работе над романом о коллективизации обусловлен был тем, что писателя властно увлекла новая тема.

В 1935 году для обмена творческим опытом и установления культурных связей между республиками в Грузию выехала бригада белорусских писателей, а в Белоруссию прибыли грузинские мастера слова и среди них — автор «Зари Колхиды».

Впечатления от увиденного и услышанного во время этого путешествия нашли свое художественное воплощение в

цикле белорусских рассказов «Бессмертие» (1937—1938), который стал украшением творчества Лордкипанидзе.

Цикл небольшой по объему — каких-нибудь ^{сорок} четыре десятка страниц, — но как много сумел сказать в нем писатель! Он воссоздал жизнь народа в переломный период истории, показал бессмысленность империалистической войны и возвеличил борьбу народа за свою свободу во время гражданской войны, нарисовал яркие, колоритные образы белорусских крестьян, глубоко и тонко передал их психологию, мастерски выписал картины белорусской природы.

Каждый из рассказов можно рассматривать как отдельное произведение, и вместе с тем они неотъемлемые части целого. Объединяет их любовно нарисованный образ старого крестьянина Рухло, который воплощает лучшие черты белорусского народа — трудолюбие, бесстрашие, человечность, природный юмор. Уже в начале первого рассказа («В корчме») мы проникаемся уважением к этому бедняку: в его сказке — извечная мечта крестьян о земле.

Два следующих рассказа автор, должно быть, не случайно назвал «Конь» и «Снова о коне». Слишком много значил для крестьянина этот незаменимый помощник. Любовь Михася к коню сильнее даже ревности. Дрожая за коня, дед Рухло поначалу идет даже против своей совести — отказывается приютить раненого партизана. Потеря коня была огромным ударом и для отца, и для сына, но этот удар, как справедливо замечает критик Г. Маргвелашвили, «не убил их, а воскресил, а если и убил кого, то только собственника в их душах, окончательно разбудил и позвал к жизни скрытого в них человека». Руки, оторванные от сохи, потянулись к оружию.

В заключительном рассказе — «Бессмертие» — автор прослеживает путь своего героя к бессмертию. Дед Рухло просто счастлив, когда может сделать что-то для того, чтобы он и его односельчане могли свободно трудиться на земле. Героизм простого белорусского крестьянина перерастает в бессмертие, когда он ради спасения партизана жертвует своей жизнью. Исследуя прозу Лордкипанидзе, К. Имедадзе в своей книге «Человек и время» (1967) подчеркивает, что дед Рухло убивает не только четырех жандармов, но и свою смерть.

Если цикл «Бессмертие» стал яркой страницей в летописи белорусско-грузинских литературных взаимоотношений, то в рассказе «Путник» (1940) писатель коснулся истории дружбы русской и грузинской литератур, и в частности пребывания молодого Горького в Грузии, где состоялся его литературный дебют. В основу этого произведения, которое переводилось под названием «Горькая повесть», лег подлинный исторический факт — казнь в 1892 году в Гори двух крестьян, которые, защищая человеческое достоинство, убили князя. Рассказ проникнут пафосом революционного гуманизма и этим как бы перекликается с «Подарком на именины» М. Коцюбинского. Но путник из России, случайно ставший свидетелем казни, увидел больше, чем классик дооктябрьской литературы, увидел не только ужас казни невинных людей, но и величие

человеческого подвига, увидел силу любви, побеждающей смерть.

В грозные годы Великой Отечественной войны К. Лордкипанидзе — корреспондент фронтовой газеты Отдельной Приморской армии «Вперед, за Родину!», выходявшей на русском и грузинском языках, — пишет художественные очерки, в которых «чувствуется горячее дыхание войны». Работает писатель и над рассказами.

Новелла «Как умер старый рыбак» (1942) раскрывала звериное лицо немецкого фашизма и возвеличивала героизм простого советского человека. Кубанский рыбак Василий Жига, можно сказать, повторяет подвиг белорусского деда Рухло. Когда оккупанты поставили крестьян в шеренгу, чтобы расстрелять каждого пятого, и одним из них оказался советский разведчик, Жига меняется с ним местом. Этот подвиг тем более величествен, что рыбак не был обречен, как дед Рухло. В основу новеллы лег эпизод из жизни.

Еще в большей степени документален рассказ «Майское утро» (1944—1950) — о неожиданной встрече на поле боя двух братьев-грузин: танкиста и рядового пехотинца, прошедшего нелегкий боевой путь. Почти всегда образы Лордкипанидзе имеют свои прототипы, а в этом рассказе автор сохраняет даже подлинную фамилию героев, которых после войны будет принимать у себя дома как своих дорогих гостей. Как бы желая подчеркнуть документальность произведения, писатель даже печатает копию письма, полученного от одного из братьев.

Яркие, полноценные образы защитников Родины нарисовал Лордкипанидзе в начатой еще в годы войны большой новелле «Клинок без ржавчины». Главные ее герои — сержант Красной Армии Ладо Вашаломидзе и девушка из осетинского села Светлана Вершинина. Объединяет их бесстрашие, душевное богатство. Разведчик Ладо особенно располагает к себе общительностью, искренностью, остроумием. Он твердо верит в победу над врагом и, веря в будущее, в часы отдыха изучает трактор. А красивая казачка Светлана, кажется, излучает внутреннюю красоту. Романтическая девушка живет мечтой о подвиге на поле боя, когда она, санитарка, под ураганным огнем вынесет раненого бойца. Совсем не таким, как она себе представляла, оказалось ее поле битвы, но на нем, в оккупированном гитлеровцами селе, она совершает настоящий подвиг, до конца оставаясь верной Родине.

Если это произведение можно назвать прекрасной поэмой о великой, чистой любви, то новелла «На безымянной высоте» (1949), которую автор раньше печатал как третью часть «Клинка без ржавчины», — это вдохновенная поэма о подвиге. Получив от командующего задание удержать высоту, Ладо вместе с тремя бойцами удерживает ее до последнего дыхания. Стреляет он и мертвый — заочневшие пальцы не выпускают автомат...

Один из основных мотивов новелл о разведчике Вашаломидзе, как и других произведений на тему Отечественной войны, — боевое содружество советских народов. Искренняя

фронтальная дружба связывает, например, Вашаломидзе с русским Голиковым. Ради воина-грузина рискует мать Светланы и жертвует своей жизнью рыбак Жига. Чувства уважения и братства соединяют людей разных национальностей к плечу защищающих Советскую Отчизну.

Спустя два десятилетия после победы Константин Лордкипанидзе писал: «Три года был я в действующей армии. Прото, что я там увидел и пережил, читатель уже в какой-то мере знает из моих повестей и рассказов. Кое над чем работаю теперь и, наверное, еще долго буду работать, ибо, очевидно, видения той войны не скоро покинут человека. Не хочу, чтоб пропала слава тех, кто добросовестно исполнял наиважнейший в человеческой жизни долг — долг солдата».

Писатель работает над циклом «Правдивых рассказов», в которых как он сам отмечает, «ничего не изменил, ничего не добавил и не приукрасил».

В 1958 году появилась «Цабуна» — быть может, самый популярный рассказ Лордкипанидзе. Эта жемчужина беллетристики пленяет и богатством содержания, и необычайной поэтичностью, и совершенством художественной формы. Казало бы, ничего особенного не рассказал писатель в этом небольшом рассказе, где одиннадцатилетняя Цабуна ходит на станцию и расспрашивает привезенных с фронта раненых, не видели ли они ее отца. Но как глубоко волнует нас судьба этой девочки, которая так самоотверженно ищет отца. Вместе с тем восхищает душевное благородство советских людей, и в частности сержанта Арчила, который, сочиняя все новые героические истории о Валико Абуладзе, очень боится что-то перепутать или обмолвиться и этим разрушить счастье девочки, ее надежду.

Через два года читатели познакомились с новеллой «Голубой Дунай». Это волнующая страница боевого содружества советских и словацких воинов в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Бывший словацкий учитель Яно Янига становится сознательным борцом против фашизма. Рискуя своей жизнью, он агитирует солдат-словаков за переход на сторону Советской Армии. Кульминационная часть произведения, где словацкие солдаты спасают Янигу, убив фашиста, построена на действительном факте, о котором рассказали писателю в Словакии.

Почти одновременно с «Голубым Дунаем» пришел к читателям рассказ «Когда человек один», названный солдатской балладой, основой которого стала одна из глав романа о тружениках села «Волшебный камень». Герой его, сапер Надибаидзе, в трудных фронтовых условиях оказывается наедине со своей совестью. Когда началась артподготовка, он мог выйти из обстрела, не кончив обезвреживать внезапно обнаруженное минное поле, но его останавливает мысль о товарищах, которые могут погибнуть от мин. Конечно, никто не узнает, как он здесь вел себя. «Но что скажет твоя совесть? От нее ты никуда не сбежишь!» И Леван оконеченными от мороза пальцами снова разминировал поле...

В трех новых произведениях о Великой Отечественной войне («Мамия Джаиани», «Вечность одной ночи», «Смерть еще подождет»), вошедших в книгу правдивых рассказов «Смерть еще подождет» (1966), писатель как бы продолжает начатый в рассказе «Когда человек один» разговор о моральном долге человека, о стойкости и героизме советского солдата.

Величайшие испытания выпадают на долю героев двух последних рассказов — разведчиков Георгия Мумладзе и Ионы Мебуке, однако они не только не сломили их, но еще больше закалили. Пережив за одну ночь столько, что хватило бы на целый век, потеряв самого дорогого человека, Мумладзе рвется выполнять новые опасные задания. А Мебуке, этот «самозванный батька», который так трогательно заботится о молодых солдатах, выдерживает, можно сказать, две атаки смерти. Он предпочитает умереть, но не предать товарища.

Художественно раскрывая природу героизма советских людей, в рассказе писатель показывает, что это сознательный акт, результат всей предыдущей жизни Мебуке: «все его сорок четыре года были только подготовкой к этой минуте». Важное художественное открытие выражается в афористических словах Ионы, который просто чудом выжил: «Смерть всегда немножко подождет, если человек ее не испугается». Если раньше герои произведений Лордкипанидзе, побеждая смерть, гибли, то теперь смерть отступает перед их мужеством.

О верности писателя военной теме свидетельствует и подаренный читателям к 30-летию Победы рассказ «Место возле огня». Сердцевина произведения — гимн благородству солдат. Потерпела крушение старая баржа. Оказалось, что один из «искупавшихся» — женщина. И пока она сушится перед огнем, десять мужчин устраивают дикий шашаб на ледяном ветре. Чудесным заключительным аккордом звучит финальная фраза: «И мы не только сами раскисли, но и согрели все вокруг себя — и землю, и небо, и эту неудачливую ночь».

Вот так и герои писателя теплотой своей души согревают читателей.

Особенно плодотворным стал для Лордкипанидзе 1969 год, наполненный впечатлениями от Декады грузинской литературы на Украине, которая прошла как большой праздник дружбы народов. Свой годичный урожай писатель издал отдельной книгой, назвав ее «Один удачный год». Кроме стихов, статей и переводов, в сборник вошли две повести: «Мой первый комсомолец» и «Ортачалские рыбаки». Они, как и все шесть произведений цикла «Смерть еще подождет» и рассказ «Когда человек один», отмечены Руставелевской премией.

Первая из этих повестей — автобиографическая. «Несколько слов о себе» для своего четырехтомника превратились в искреннюю исповедь художника слова о своем становлении в жизни и литературе, в блестящее художественное произведение. Критик Г. Гвердцители писал, что эта небольшая повесть «своей романтической напряженностью, силою худо-

жественного воздействия, точностью исторически верных деталей, своей раскрытой в этих деталях жизненной правдой для грузинской литературы исключительно значительное явление. Это произведение привлекло внимание и всесоюзного читателя, было удостоено премии имени А. Фадеева.

На страницах повести ожили события 1921 года — бегство из Кутаиси меньшевиков и установление Советской власти. В первый ее день шестнадцатилетний Коция, чье сердце было «полно мечтаний и еще не написанных стихов», встретился со своим первым комсомольцем — красноармейцем Бичоиа Пурцхванидзе, и эта встреча перевернула всю его жизнь. Своей пламенной верой в человеческое счастье, в торжество справедливости Бичоиа, этот, можно сказать, грузинский Павлик Корчагин, пленил Коцию, и тот, не раздумывая, пошел за ним. Хотя юному романтику в красноармейской шинели вместо «разжигания пламени мировой революции» пришлось восстанавливать мост, укреплять берег Риони, заготавливать дрова в болотистых лесах, тот незабываемый год был для него хорошей жизненной закалкой.

Комсомольцам 20-х годов посвящена и повесть «Ортачальские рыбаки» из цикла «Моя Гаянэ». Комсомолка Гаянэ Майсурадзе — активистка, ударница, однако и в новой редакции повести «Первая мать» она занимается главным образом семейными проблемами, борется против унижения в семье, порывая с первым своим мужем — Гидоном Цамалашвили, который хочет сделать из нее служанку, потом со вторым — инженером Коридзе, который терзает ее своей беспочвенной ревностью. Очевидно, чувствуя, что и сейчас этот образ дает современной молодежи недостаточное представление о комсомолках 20-х годов, писатель снова возвращается к нему и жизни Гаянэ до замужества посвящает две новые повести, каждая из которых почти в два раза больше первой.

В «Ортачальских рыбаках» мы видим Гаянэ служанкой в доме товарища министра снабжения меньшевистского правительства Гочи Калмахелидзе. Рассказывая, казалось бы, обыкновенную историю с принесенными в дом прокламациями, которая сыграла важную роль в формировании взглядов героини, писатель показывает ожесточенную классовую борьбу между двумя непримиримыми лагерями. К которому из них примкнет Гаянэ? Пойдет с революционной молодежью или будет верой и правдой служить старому строю? Ослепленная «добротой» господина Гочи, Гаянэ настойчиво ищет его «врага» — комсомольца, принесшего листовки. Не выдав его, девушка делает важный шаг навстречу новой жизни.

Распростившись с героиней в тот момент, когда она ранила насильника и убежала из дому, мы с интересом читаем ее дневник, писанный спустя три года, которым открывается повесть «Квасцы в мутной воде» (1972). Теперь она комсомолка и вместе с другими девушками овладевает в фабрично-заводской школе искусством ткачества. Несмотря на материальные лишения тех лет, комсомольцы живут интересной, полноценной жизнью. Морально-этические проблемы стоят в центре произведения. Дневниковые записи Гаянэ обнаруживают ее при-

родную душевную чистоту. Только дневнику поверяет девушка свою любовь к Алекси Тотиаури. А он — секретарь комсомольской ячейки — непоколебим в борьбе за коммунистические принципы. В самой ячейке нашелся проповедник «свободной» любви, пропагандируемой буржуазными идеологами. Это — Мангва Нозадзе. Поняв, что именно из роскошного зала литературной группировки «Аметист» наносится в ячейку грязь и мусор, Алекси бросает вызов «апостолам Ницше». И хотя последние жестоко избили Алекси, он не падает духом, понимая, что это «настоящая классовая борьба».

Наши духовные ценности, наши святые моральные принципы необходимо активно отстаивать — таков лейтмотив повести.

Актуальных морально-этических проблем касается писатель и в рассказе «Да здравствует Дон Кихот» (1970), действие которого происходит в наши дни. Это произведение высокого публицистического звучания тоже отмечено республиканской Государственной премией.

В конце рассказа писатель предлагает своим читателям дать оценку поступку своего адресанта Джаба Гургенидзе, который не защитил от хулиганов знатного — Отиа Бодокия, проповедующего «стояние в стороне». Но суть произведения — в диалоге между Джаба и Отиа. Поводом к бескомпромиссному спору послужила фраза, пренебрежительно брошенная Отиа своему брату Шота, который отказывается от места ординатора в столичной клинике, чтобы поехать туда, где он больше нужен: «А ты, оказывается, безнадежный романтик! В век атома и кибернетики, — говорит Отиа, — романтикам нечего делать». Сначала можно подумать, что перед нами человек, ослепленный успехами научно-технического прогресса, который просто забывает, что и целину и космос осваивали романтики; но когда Отиа выставляет в качестве своего идеала ловкача и развратника Бучулу Бегоидзе, читатель уже не сомневается, что это разошелся воинствующий мещанин, который громкими словами прикрывает свое духовное убожество, свое подлое эгоистическое нутро.

В пылу полемики Джаба прославляет ламанчского рыцаря, но защищает он не донкихотство, а высокие моральные принципы. Его слова: «Я ненавижу людей с холодным сердцем, у которых один закон: сначала я, а потом остальные!» — выражают активную гражданскую позицию и самого автора. Хотя Бодокия в нашем обществе — единицы, они пытаются распространять заразную мещанскую идеологию, и писатель не мог не вынести им свой суровый приговор.

Не изменяет Лордкипанидзе и теме колхозного села. Не одно десятилетие работает он над большим романом «Волшебный камень». До настоящего времени опубликованы две его части (некоторое представление о их содержании дают всесоюзному читателю повести «Калотубанская невеста» или «О лемех моего плуга, ты зеркало весны...» в украинском сборнике «Цабуна» (1968), и «Высокий потолок») и несколько глав из третьей.

Краткий пролог, отнесенный к 1918 году, объясняет название произведения. Между погонщиками скота, сидящими вокруг костра в Ширакской степи, заходит разговор о волшебном камне, исполняющем все желания человека, и один из погонщиков говорит, что если бы он нашел этот камень, то пожелал бы столько упряжек быков и буйолов, чтобы вспахать и засеять всю эту нетронутую степь.

Сам писатель говорил, что в его романе рассказывается о том, как коммунистическая партия воплотила в жизнь мечту об освоении степи, о том, как она дала ширакским плугарям и жнецам тысячи железных быков и комбайнов, о том, как трудятся хлеборобы-переселенцы и как этот труд делает человека красивым и благородным, укрепляет старую дружбу грузинских крестьян и русских хлеборобов — бывших военных поселенцев.

Действие произведения начинается незадолго до Отечественной войны, однако основные события происходят в послевоенные годы. Перед читателями встают, как живые, люди современного колхозного села со всеми их проблемами — не только экономическими, хозяйственными, но и психологическими, социальными. Это — хлеборобы старшего и младшего поколения, интеллигенция, партийные работники. За судьбами семей Надибаидзе и Угрехелидзе, Николая Дубова и других вырисовывается широкая панорама жизни.

События в романе только разворачиваются, но яркость, широта и глубина изображения действительности в опубликованных главах дают основание надеяться, что в творческих муках рождается одно из лучших произведений Лордкипанидзе.

Писатель пребывает в расцвете творческих сил, не стареет душой, хотя разменял восьмой десяток. Это подтверждает и его самая последняя публицистическая книга «Что произошло в Абаше» (1977), благосклонно встреченная читателями и отмеченная недавно установленной премией Союза писателей Грузии как одно из лучших произведений года.

«Хочу воспеть героинку наших дней, — говорил Константин Лордкипанидзе в день своего семидесятилетия, — отобразить в своих произведениях атмосферу творческой приподнятости и трудового энтузиазма, которыми живет мой народ. Эта задача необычайно важна, но писательское дело никогда, тем более сегодня, не было легкой работой. Она родная сестра работе кузнецов, виноградарей, хлеборобов... И я всем сердцем люблю свою работу». В этих словах весь Лордкипанидзе — неутомимый исследователь и вдохновенный певец современности.

«К. Лордкипанидзе — хороший романист, — писал известный французский писатель, журналист и критик А. Вюрмсер, — достаточно нескольких фраз из его книги, чтобы в этом убедиться». К этому можно добавить, что автор «Зари Колхиды» также хороший новеллист и что достаточно нескольких его фраз, чтобы сказать, что это Лордкипанидзе.

Лордкипанидзе незаурядный мастер выразительной художественной детали; мастер диалога, который не только движет действие, но и характеризует действующих лиц; мастер пейза-

жа, который несет в его произведениях большую смысловую нагрузку; мастер рельефной лепки образов; мастер композиции, позволяющей без «закручивания» сюжета владеть вниманием читателя. Язык писателя классически прост и прозрачен, естественен и выразителен, ритмичен и поэтичен.

За всем этим стоит огромный труд над языковым материалом. «Каждую строчку, — писал литератор Э. Елигулашвили — он взвешивает, выверяет — на слух, на глаз, даже наверно на цвет, на вкус и на ощупь». В повести «Квасцы в мутной воде» писатель отмечает, какого тяжелого труда требует ткань ковра. Так же нелегко ткёт Лордкипанидзе языковую ткань своих романов, повестей, рассказов. Но то, что выходит из-под пера талантливого художника слова, не может оставить читателя безразличным.

Пленяет писатель, наверное, не столько совершенством внешних элементов произведения, сколько большой правдой жизни, стоящей за этими элементами. Картины, нарисованные рукой Лордкипанидзе, — это исключительно доходчивые, убедительные уроки жизни, из которых читатель выходит сильнее, богаче и красивее душой.

Большая притягательная сила произведений Лордкипанидзе и в том, что автор отдаёт своим героям всю любовь своего сердца, и в том, что он поднимает значительные, актуальные проблемы.

От начала литературного пути и до сегодняшнего дня писатель чувствует себя бойцом литературного фронта. «Всю жизнь, — пишет он в «Моем первом комсомольце», — я был «солдатом в окопе». Из окопа, конечно, не все можно увидеть, зато, как замечает Г. Гвердцители, из него очень хорошо видно поле битвы. Перед пристальным взглядом писателя всегда стояло большое поле борьбы народа за новую жизнь, и, идя по горячим следам событий, отразил он в своих произведениях основные этапы этой борьбы. Расположенные по времени действия произведения Константина Лордкипанидзе, помещенные в этой книге, являются как бы художественной летописью героических свершений советского народа.



Юрий ЗЫЦАРЬ

ВВЕДЕНИЕ В БАСКСКУЮ СОВРЕМЕННОСТЬ

(О СОСТОЯНИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ)

Посвящается академику Ш. В. Дзидзигури.

Будучи одним из самых малочисленных народов Западной Европы, баски обращают на себя внимание неожиданной значительностью, так сказать, «непропорциональностью» того вклада, который они вносят в развитие современной западно-европейской культуры (начиная, скажем, с эпохи великих географических открытий). Первые китобои Европы и предшественники Колумба, сподвижники Магеллана, христианские мученики-миссионеры в Японии, первооткрыватели Исландии, конкистадоры, воины, иезуиты, кораблестроители и металлурги, они не остались в стороне и от таких областей культуры, как музыка (Сарасате), изобразительное искусство (Сулоага), литература (Пио Бароха и Унамуну), философия и публицистика (тот же Унамуну) и т. д. В истории Испании, Франции и особенно Латинской Америки немало и государственных деятелей баскского происхождения — таких, как Боливар, канцлер Испании Айяала, также Мендоса и др. В Южной Америке баскскую фамилию носит сейчас руководитель уругвайских коммунистов Родней Арисменди, президент Мексики Эчеверрия и др. Баском был отец Долорес Ибаррури.

Все эти немаловажные сами по себе заслуги баскской национальности, тем не менее, меркнут перед одним капитальным, полным особого значения фактом — фактом самого существования этой национальности и ее языка. Дело в том, что с этнической точки зрения баски в Западной Европе представляют собой нечто совершенно особое, а их язык — это настоящий лингвистический феномен, относительно которого мы вместе с норвежским ученым профессором Х. Вугтом можем с полным правом сказать, что «если он исчезнет, то будущие поколения окажутся лишенными сокровища, содержащего ключ ко многим тайнам самого отдаленного прошлого».

«Баскский язык, — по другому удачному замечанию, — был и остается единственным средством к тому, чтобы надежно установить, какими были самые старые слова Европы». Профессор Сарагосского университета А. Бельтран Мартинес

5520
110333

пишет: «То, что в других частях Испании и иных стран существует только в виде некоторых остатков, в самой Стране Басков сохраняется как некое целостное живое единство, и это беспримерно и поразительно, это какое-то чудо, которое приводит в радованное изумление и, не оставляя никого равнодушным, заставляет многих иностранных ученых, восполняя нехватку рук, со страстью и увлечением работать в области баскского языка». Называя баскский язык «вечным баловнем историков и лингвистов», ту же мысль подхватывает Г. В. Степанов и утверждает американский ученый Т. Г. Уильбур, говоря, что баскский язык «всегда как бы околдовывал западноевропейских исследователей, которые, видя его в центре своего континента в окружении хорошо известных романских и др. индоевропейских языков (и принадлежащим, к тому же, всего полумиллиону людей с совершенно особенной культурной традицией и историей), одновременно сталкивались с фактом поразительных отличий данного языка от индоевропейских; в то же время они хорошо понимали, что в отличие от финнов или венгров присутствие на своем месте басков не поддается объяснению за счет таких исторических факторов, как миграции или нашествия: баски всегда как будто сидели там, где они есть, и все это вместе взятое не могло не «ошарашивать» и не «ставить в тупик». Поэтому-то проблема происхождения баскского языка всегда была и остается столь притягательной»*.

Чтобы убедиться в этой необыкновенной популярности баскского языка, достаточно, между прочим, одного только взгляда на список тех выдающихся лингвистов прошлого и настоящего, которые так или иначе связаны с его исследованием, ср. действительно: А. Шлегель, М. Мюллер, А. Гримм, Л. Бонапарт, Г. Габеленц, А. Шаранси, Ф. Диц, В. Мейер-Любке, В. Асколи, Г. Винклер, Г. Шухардт, А. Тромбетти, К. К. Уленбек, Н. Я. Марр, Р. Менендес Пидаль, В. Ф. Шишмарев, Т. *Арансади, П. Боск-Джимпера, А. С. Чикобава, Х. М. Барандиаран, В. Георгиев, В. Пизани, А. Товар, Х. Каро Бароха, Л. Мичелена, Н. Хольмер и др. Здесь стоит вспомнить также о том, что у истоков научной баскологии стоит Вильгельм Гумбольдт.

* Цитирую по Z. Michelena, op. cit., pp. 323. См. также А. С. Чикобава предисловие к книге: Р. Лафон «Баскский язык и баскско-кавказская гипотеза», Тбилиси, 1977 (на груз. языке), Ш. В. Дзидзигури «Баски и картвелы» — «Литературная Грузия», 1977, № 1 сл., отдельным изданием на груз. языке под тем же названием — Тбилиси, 1978. При современном состоянии наших знаний приведенное высказывание Т. Уильбура, конечно, вряд ли следует понимать в том смысле, что баски вообще являются в Западной Европе автохтонами: речь может идти о них скорее всего как о представителях древнейшего неолитического населения данного континента (хотя также одновременно и об их связях с его палеолитическим населением и т. д.), т. е. лишь об их большей древности в Западной Европе по сравнению хотя бы с теми же финнами, венграми или индоевропейцами, но не об автохтонности вообще.

Особо должен быть отмечен тот факт, что к баскской проблеме обращались в свое время Гексли и Ф. Энгельс*.

В общем можно без всякого преувеличения сказать, что мимо баскского языка не прошло буквально ни одно исследование, затрагивающее глобальные вопросы западноевропейского этно- и глоттогенезиса.

Спрашивается, как же все это объяснить? В чем же состоит все-таки в конечном счете та особая ценность баскского языка, которая так притягивает к нему научный мир, ставит его на особое место среди многих других языков? Как это подчеркивает и Т. Уильбур, здесь, очевидно, все начинается именно с того, что баскский язык не появился в Западной Европе в результате какого-либо позднего импорта, а, наоборот, существовал до сложения всех остальных ее современных языков. Иначе говоря — и в этом состоит, как мне кажется, главное — баскский язык непосредственно продолжает в себе тот целый мир народов и языков, который предшествовал в Западной Европе современному, являясь к тому же единственным целостным живым продолжением этого мира. Как такое продолжение баскский язык является, следовательно, и единственным живым ключом к самым корням, к местным истокам западноевропейской цивилизации. (Конечно, было бы наивно видеть в баскском языке продолжение всего отдаленного мира Западной Европы, всех его частей, массивов и т. п., как нелепо было бы и думать, что научный путь к реконструкции этого мира пролегает только через язык басков (ведь существует целый посвященный этому комплекс наук: антропология, археология Западной Европы и т. д.). Но в то же время — повторяем — у нас нет других целостных системных единств — языковых свидетелей соответствующей эпохи или ряда эпох, а каждый такой свидетель, конечно, незаменим, его отсутствие не может быть восполнено за счет каких-либо методов, путей исследования и даже целых наук).

В той или иной степени (и так или иначе) тайна происхождения баскского языка вместе с тем является, таким образом, тайной происхождения многих других (в частности, многих ныне не существующих уже) языков и народов, как и вообще всего того, что так или иначе связано с отдаленной древностью западноевропейского континента.

Даже при такой глобальной постановке вопроса ценность баскского языка не ограничивается, однако, пределами самой науки: до тех пор, пока этот язык жив, он будет составлять особое достоинство всей западноевропейской культуры, будет без преувеличения гордостью западноевропейской цивилизации. (Поэтому если бы баскский язык исчез, то грядущие поколения оказались бы лишенными чего-то гораздо большего, нежели «ключ ко многим тайнам самого отдаленного прошло-

* К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения», т. XIX, стр. 445, 446. См. также В. П. Алексеев «Теоретическое наследство Энгельса и антропологическая наука» — Советская этнография, 1971, № 2, стр. 11. Ф. Энгельс видел в басках реликт западноевропейского населения эпохи неолита — ср. наше предыдущее примечание.

го», и это произошло бы не потому, что они лишились бы баскского языка как «хранилища информации», а как именно (целостного языкового единства, или просто живого языка).

Это последнее положение, как можно видеть уже из дитированных высказываний А. Бельтрана и хотя бы из только что приведенного замечания Х. Вугта, тоже все более осознается современным просвещенным человечеством, просвещенной частью западноевропейского общества от Карела Чапека (писавшего: «уже потому, что горстка басков сумела кажим-то чудом выжить, нельзя допустить, чтобы она исчезла»), испанского короля Альфонса XII, не видевшего для басков «более высокой и священной миссии, чем сохранение и передача последующим поколениям сокровища своего языка», и до государственных деятелей современной Франции, которые, по их словам, «не мыслят себе французских басков без их языка, как они не мыслят самой Франции без ее басков».

Учитывая головокружительную (для западного континента) древность баскского языка*, решающее значение в этом последнем (общекультурном) смысле имеет именно то обстоятельство, что этот язык просто жив, что он звучит до сих пор в устах части населения Испании, Франции и Америки, т. е. само присутствие его в нашем современном мире, живая пульсация этого древнего лингвистического организма, составляющего как бы живой прорыв из глубины (а для ученого также и в глубины) тысячелетий. Этот «эффект присутствия» и делает баскский язык тем (не только научным, но и общекультурным) достоянием, которое — тем более — незаменимо какими-либо археологическими или антропологическими памятниками или памятниками древней письменности, которое не может быть заменено ничем.

Пожалуй, лучше всего сумел это все выразить известный испанский историк древности, профессор археологии Барселонского университета Л. Перикот Гарсия, сказавший следующие замечательные слова: «Единственный язык, уцелевший от доистории (имеется в виду, конечно, доистория Западной Европы, а не всего мира — Ю. З.), чудо, дарованное Испании стечением (исторических) судеб... Какой язык! Ничто в Европе не может перенести человека XX века, скажем, на 5 или 10 тысяч лет назад, вернуть ему ощущение реальности тех времен. Нам же в Испании достаточно только пойти куда-нибудь на рынок, на праздник баскских крестьян, послушать, как они импровизируют там на своем языке свои песни, стоит при этом закрыть на минуту глаза, и вот... Бог ты мой, что это?.. Да ведь мы же слышим неолитических пастухов, мы слышим, может быть, тех, кто разрисовывал Альтамиру!».

* Как в этом, так и в других случаях, когда мы говорим здесь об особой («феноменальной») и т. п. древности баскского языка, мы имеем в виду, конечно, его особую, так сказать, местную древность, т. е. только его древность по отношению к другим языкам Западной Европы, а, конечно, не всего мира, в котором среди «неэвклидовых» языков существует немало таких же древних реликтов, как язык басков. В Восточном Средиземноморье, в частности, подобный реликтовый мир образуют в целом кавказские языки.

Громадным значением баскского языка (а ведь в научном плане мы даже не затронули многих других аспектов этого значения, в частности, мы ничего не сказали о том, эксперименте, который был поставлен историей под названием «проблема сохранения баскского языка») никак не устраняется, однако, тот беспощадный факт, что этот язык в настоящее время находится в критическом положении, само его существование находится под вопросом, что он может погибнуть.

Вызывая тревогу, становясь все более вопросом боли и совести людей, будущее баскского языка одновременно все более приковывает к себе внимание западноевропейской общности, широко обсуждается в печати, в чем наиболее активное участие принимают, естественно, ученые, выступающие и с обращениями (соответствующими) к правительствам Испании и Франции.

Никогда еще за всю свою историю баскский язык не нуждался в поддержке в такой степени, как сейчас, и, по моему глубокому убеждению, люди будущего, наука будущего не простит и нам, если мы останемся в стороне от обсуждения жизненно важных для этого языка проблем*.

В настоящее время на баскском языке продолжают в той или иной степени и форме говорить в Западной Европе около 600 тыс. человек — из 2,5 миллионов населения испано-французской Басконии, т. е. всего лишь примерно одна пятая этого населения (четыре пятых говорит только по-испански, или только — в меньшей мере — по-французски).

Такое соотношение является следствием в первую очередь имевшего место в последние десятилетия притока переселенцев из Испании и Португалии в западные баскские провинции Бискайю и Гипускоа, сосредотачивающие в себе наиболее важный промышленный комплекс всей современной Испании. Как раз на данные провинции, на данную часть Басконии, и приходится, правда, подавляющая в своем большинстве часть всего ее современного баскоязычного населения, т. е., примерно, 600 тысяч, но в результате указанного притока эти 600 тысяч оказываются ныне как бы развороненными среди более чем миллионного количества иноязычных жителей, что и составляет главную опасность для баскского языка на всей его западноевропейской территории.

* Независимо от его научной или культурной значимости, конечно, всякий язык, как и всякий народ, имеет равные права на существование, и, с другой стороны, жизнь любого языка, каким бы ни было его значение, не может быть против воли его носителей продолжена в искусственном заповеднике. Решающее слово в вопросе сохранения баскского языка остается, таким образом, за волей самого баскского народа, однако, во-первых, волю к самостоятельности, к продолжению своего существования как национальности баски достаточно продемонстрировали, в частности, в плане сохранения своего языка (см. ниже), во-вторых же, воля баскского народа (в том же смысле) не снимает исторической ответственности за решение данного вопроса с остальных его современников.

Указанное соотношение (600 тыс. из 2,5 млн.), во вторую очередь, является следствием массового «переучивания» на испанский язык, которому подверглись дети наваррских крестьян, бывших ранее часто одноязычными и к 30-м годам нашего века в условиях испанского государства новых времен и все более растущей коммуникабельности часто (особенно вне своего дома и села) оказывавшихся как бы просто немыми. Этот фактор ударил, повторяю, по восточной части Басконии — по Испанской или Верхней Наварре, которая всегда была самой большей по площади и по числу баскоязычного населения провинцией Басконии и ареал которой вследствие этого теперь полностью утрачивается для баскского языка. В результате он несет самые чувствительные территориальные и, так сказать, «геостратегические» потери, т. к. Испанская Наварра не только больше всех остальных баскских территорий по своей площади, но и является основной связующей их зоной, следовательно, с падением наваррского бастиона само территориальное языковое единство западноевропейских басков ликвидировается, и западно-баскская область оказывается «отключенной» от французской части Басконии. (соединяющим остается, в основном, лишь общее побережье Бискайского залива и сам залив; правда, в настоящее время западная окраина Наварры еще продолжает связывать французских и кантабрийских, т. е. западных басков, и, в частности, баскоязычной остается крайняя западная из больших пиренейских долин испанской Басконии — долина Бастан).

Как в Испанской Наварре, так и, особенно, в провинциях (Бискайе и Гипускоа) баскский язык до недавних времен был буквально загнан в подполье, можно сказать, физически истреблялся, за что особую ответственность несет франкизм, который, начиная с Герники, сводил с баскской национальностью особые счеты (запрещение под угрозой тюремного заключения употреблять баскский язык в общественных местах, запрещение и закрытие всяких связанных с баскским языком изданий и организаций, переименование улиц и даже вытравливание баскских надписей на могилах и т. п.)

На этом фоне судьбы баскского языка во Франции должны, казалось, были бы складываться идиллически, и отчасти эта надежда как будто оправдывается, т. к. считается, что из 130 тысяч жителей баскского района Франции ныне 130 тысяч же продолжают быть баскоязычными, т. е. что этот язык так или иначе знаком здесь подавляющему большинству населения. В действительности, однако, вряд ли так уж идиллически дело обстоит и в данном баскском районе — в силу уже крайней малочисленности басков (и глубокой провинциальности, глухости их уголка в такой большой и быстроразвивающейся стране, как Франция. Что баскский язык знаком здесь подавляющему большинству населения, в этом-то не приходится сомневаться, но все дело в том, **в какой степени** он сейчас знаком этому большинству: если не говорить о знании отдельных фраз и слов, то, особенно среди молодежи Французской Басконии, знание баскского языка сейчас, как правило, оставляет желать много лучшего, а нередко и вообще, видимо, сводится к пассивному лишь владению.

С одной стороны, например, известен факт государственного школьного обучения (уже не нового) на баскском языке во Французской Басконии, а в Бордосском университете преобладает и сейчас (после смерти Р. Лафона) работа в отделе баскского языка и литературы, бывшее до последнего времени единственным в мире*. С другой стороны, известно и то, что большинство баскской молодежи во Франции вынуждено уходить из родных мест в связи с отсутствием работы, что, в свою очередь, объясняется исключаящими развитие промышленности законами по «курортизации» соответствующей зоны департамента Атлантических Пиренеев, включающей и баскский уголок. (На широкую «курортизацию» с ростом туризма как на фактор дебаскизации указывают также, когда говорят о районе Сан-Себастьяна и других местах баскского побережья Испании, да и вообще Испанской Басконии; даже высокогорное пастушеское население Испанской Наварры в настоящее время быстро дебаскизуется и уже дебаскизовано, в чем большую роль играют постоянные сезонные перекочевки, перегоны стад из высокогорий в долины).

Таким образом получается, что в тех местах, где баскоязычного населения достаточно много и район имеет перспективы промышленного развития (Бискайя и Гипускоа), там возможности дальнейшей жизни баскского языка скованы многочисленностью иноязычного, в основном переселенческого элемента. Напротив, в тех местах, где нет этого элемента и само баскоязычие района могло бы быть достаточно однородным (Французская Баскония), там этот район лишен возможности промышленного роста, его население крайне малочисленно, подвержено поэтому подавляющему культурному и языковому влиянию со стороны Франции и к тому же оторвано от кантабрийского (западного) ядра своего народа как политически, так теперь (в связи с падением Наварры) и в языковом отношении. Наконец, там, где баскский язык имеет свою коренную и наибольшую территорию (та же Испанская Наварра), там не остается больше самого языка, и речь должна здесь идти скорее о его восстановлении, нежели о сохранении и развитии. Вот первый комплекс проблем, который стоит перед теми силами современного баскского общества, что стремятся обеспечить дальнейшее существование баскского языка. Мы видим — это невероятно сложный комплекс и в то же время это комплекс таких проблем, без решения которых существование данного языка вряд ли мыслимо.

Основным прибежищем баскского языка из типов поселения является в настоящее время, как это ясно уже из предыдущего, нечто наименее городское, т. е. прежде всего хутор, затем деревня и мелкий поселок и лишь в последнюю очередь некоторые городки, как Бермео, составляющие по своему баскоязычию скорее исключение, чем правило. Поэтому прав, ко-

* В настоящее время только в США и Канаде баскский язык изучается в шести университетах и исследуется в двух специальных научных центрах (штатов Невада и Айдахо), где имеются баскологические библиотеки, насчитывающие по 10—14 тысяч названий.

нечно, Л. Пенья, когда он характеризует нынешний баскский язык как второй язык меньшей части населения соответствующих областей, сведенный к домашне-сельскому обиходу, в первую очередь — к хутору, но даже и здесь используемый не систематически и насчитывающий все меньшее число носителей.

Такая характеристика баскского языка как сведенного к домашне-сельскому обиходу не является неожиданной, правда, и в плане истории баскского языка, т. к. по сравнению с другими языками он в общем и ранее всегда был сведен в большей степени к домашне-сельскому обиходу, хотя нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в определенный период прошлого баскский язык достаточно широко обслуживал и нужды городской жизни басков, их церковь, суд, администрацию, а также промышленность, имея в виду прежде всего добычу угля, металлургию, кораблестроение, не говоря уже о мореходстве и рыболовстве. И все это, конечно, не могло не отложиться в баскском языке, не могло не развить его терминологию и вообще словарь. Беда, однако, в том, что, например, те же подъязыки угледобычи, металлургии и кораблестроения, в свое время получившие неплохой старт, впоследствии, с превращением этих отраслей в ветви современной крупной баскской промышленности не развились, а, наоборот, захирели, уступив место соответствующим подъязыкам испанского, так что баскский язык оказывается, так сказать, «недоспевшим» в этом смысле до необходимого уровня, не достигшим его в своей естественной эволюции. Он, как известно, никогда не был также инструментом школьного обучения (по крайней мере, в Испании), науки и высшей школы, кино, радио и телевидения, и все это, естественно, ставит перед современной патристически настроенной баскской интеллигенцией, да и вообще перед баскским обществом второй комплекс проблем, который состоит в необходимости преодолеть отставание баскского языка во всех указанных сферах, создать соответствующие подъязыки и т. д.

Если теперь обратиться к баскскому, как языку беллетристики (в старом добром смысле этого слова), да и вообще письма, т. е. языку деловой и частной переписки, газеты и журнала, то можно констатировать, что и в данной сфере положение является достаточно противоречивым: с одной стороны, баскский язык имеет и в этой сфере определенные немаловажные традиции использования, с другой стороны, эти традиции не привели к появлению вполне, так сказать, благополучных, вполне завершающих результатов — таких, которые обычны для многих других языков современности.

Баскская письменность восходит, действительно, к XVI веку, и в XVII в. она представлена уже такими высокосоввершенными образцами, как религиозно-дидактическая проза трактата «Сего» — «Что будет потом» П. де Ашўлара, бывшего буквально великим по баскским масштабам прозаиком, которым все зачитывались, и великим мастером языка. Показателен в данной связи и тот факт, что на протяжении трех веков, с XVII по XIX, на баскском языке вышло в стране этого языка 516 произведений.

Однажды возникнув, поток баскской литературы уже не прерывался (если не считать периода «долгой ночи», т. е. франкизма), и какими бы ни были темпы его роста, он дал такую баскский язык, который в любой из его нынешних конкретных литературных форм достаточно развит, чтобы выразить, как это обычно говорят, «все порывы души или движения мысли» (а, может быть, и наоборот — «порывы мысли и движения души»). Особенно высокая «разрешающая способность» для всякого рода неологичности, вариантности, окказиональности, оттеночности и т. п. делает баскский, — в частности, и как литературный, — языком **громдных, далеко не исчерпанных возможностей**. Сама эта способность вытекает, в свою очередь, из тех глубинных типологических особенностей строя баскского языка, которые мы пытались определить как в конечном счете особую **лабильность** строя этого языка.

Все это, однако, лишь с одной стороны. С другой же стороны, уже та «незрелость» баскского языка в сфере промышленности, а также науки, философии, знания вообще, школы, всей современной городской культуры, о чем мы только что говорили, не может не сказываться достаточно отрицательно на уровне обработанности, отточенности, гибкости и т. д. письменно-литературной формы этого языка (как, впрочем, и наоборот), т. к. наличие самой по себе литературы здесь еще не является окончательно решающим, и различные сферы любого языка, соответствующие различным сферам его общественного использования, не могут не зависеть друг от друга и не определять общий уровень его обработанности и его варьирования*.

Еще более важно учесть в этом же плане, что с самого своего зарождения литературно-письменный процесс, как и вообще вся тенденция к унификации, столкнулись в баскских областях, применяя известное положение и выражение К. Маркса, «с материалом, по самой своей природе не поддающимся централизации», поскольку при всей «микроскопичности» своей территории** баскский язык, принадлежа **старейшим горцам** Европы, не может не являть неизживаемого упорства и разнообразия диалектов, а во-вторых, потому, что на территории этих диалектов никогда не было собственной баскской государственности***, но зато она достаточно рано оказалась разделенной между государствами Испании и Франции. Возникнув поздно, в XVI веке, т. е. будучи еще и крайне кратковременным, указанный унифицирующий процесс, конечно, не мог по всем этим причинам не породить достаточно единую в языковом

* При этом мы лишь в самую последнюю очередь имеем в виду те возможности, которые развитие, скажем, подязыков техники дает для поэтических метафор типа «Я — синхрофазотрон», столь типичных для современности (хотя и это не может быть сброшено со счета).

** По полету стрелы с севера на юг от Байонны до Памплоны всего 60 км., с запада на восток от Бильбао до Молеона — 170 км.

*** Речь идет, разумеется, только о централизованной государственности для всех баскских территорий Европы.

отношении литературу, т. е. быть в самой уже литературе достаточно эффективным, не привести тем более к глубокой унификации диалектов такого языка, как баскский — этот процесс оказался неспособным ни низвести большую часть территориальных разновидностей баскской речи до уровня па-туа, лишить их престижа, ни противопоставить им единую для испанской и французской частей страны литературно-письменную форму речи или хотя бы две такие формы: одну достаточно общую для французской, другую аналогичную — для соответствующих разновидностей испанской части страны.

(Во всем этом, помимо позднего характера зарождения баскской литературы, всегда играло роль, конечно, и само качество ее воздействия на читателя, т. е. глубина и сила идей и образов и т. п., неспособное выдержать какое-либо сравнение с испанской и французской литературами, которые постоянно отбирали поэтому у баскской литературы ее читателей, не говоря о писателях. Кроме того, надо учесть, что вообще баскской литературой прошлого мы обязаны, в основном, духовенству, а последнее, будучи трезвым, трудолюбивым, грамотным, далеко не всегда, конечно, обладало веселым нравом таких поэтов, как Р. Перес де Ита, и поэтому светское, «сеглярное» течение в баскской литературе отнюдь не всегда оказывалось преобладающим над душеспасительным и дидактико-энциклопедическим. Учтем еще и крайнюю неравномерность самого складывания и жизни баскской литературы во времени и в пространстве: ведь то, что было так успешно начато Ашүларом и так хорошо развивалось его последователями в XVII и XVIII веках, все это составляло литературу всего лишь, в сущности, одного из уголков Басконии — Лабура и Западной Нижней Наварры, в какой-то степени, может быть, также и остальной Французской Басконии, но уж, во всяком случае, не Басконии Испанской, которая по ряду причин (наличие гос. границы и таможен, малые тиражи, диалектные различия и т. д.) не могла пользоваться лабурдинской литературной традицией и в XVII, XVIII веках своей литературы по существу не имела (почти не имела). Только в XVIII в. и только в Гипускоа число произведений, вышедших у испанских басков, начинает приближаться к тому, что имело место в Лабуре. Таким образом получается, что достаточно длительная и ровная литературная традиция и на достаточно высокой художественной основе питала далеко не всех басков, а лишь лабурдинских и др. французских, т. е. небольшое их число, а испанское их большинство, которому, казалось, бы, и книги в руки, построило свою литературу по существу лишь в XIX веке.

Итоги, с которыми баскское общество в результате всего этого подошло к нашему веку, достаточно видны или вообра-зимы из следующей таблицы (взята из Ibar, op cit., p. 101), где первая из каждой пары цифр показывает по векам количество изданных на данном диалекте произведений, а вторая — количество изданий каждого произведения:

Диалект		Век XVI	Век XVII	Век XVIII	Век XIX
Франция	Лабурдинский*	2,9	17,41	35,172	114,155
	Сулетинский	нет	2,4	11,37	27,45
	Нижне-наваррский (восточный)	1,1	1,1	1,1	7,8
Испания	Гипускоанский	нет	1,1	22,92	190,318
	Бискайский	1,1	1,1	3,17	52,80
	Верхне-наваррский	1,1	3,4	9,11	18,22

Мы видим, что: 1) на наваррских диалектах как Испании, так и Франции литературы, по существу, никогда не было, 2) четыре других баскских диалекта (лабурдинский, сулетинский, гипускоанский и бискайский) складывались параллельно как литературные, но при этом сулетинский сильно отставал всегда от лабурдинского, а бискайский в общем безуспешно пытался угнаться за гипускоанским, 3) этот последний, приблизившись к лабурдинскому лишь в XVIII веке, в следующем XIX веке, однако, сильно обогнал его, что отнюдь, впрочем, не остановило самой лабурдинской традиции, 4) примерно равное и наибольшее развитие лабурдинского и гипускоанского (в одном случае более старое и ровное, в другом — более позднее скачкообразное, но стремительное) сделало их ведущими литературно-письменными диалектами и достаточно равноправными, поскольку один (гипускоанский) является ведущим в испанской, а другой (лабурдинский, теперь, точнее, «наварро-лабурдинский литературный») — во французской части Басконии.

Как ведущие эти литдиалекты в итоге не только заняли соответствующее место у самих лабурдинцев и гипускоанцев, но и стали определенным ориентиром для носителей остальных диалектов в общении их между собой: какая-то часть, например, сулетинцев (в общении особенно с наиболее далекими от них бискайцами) прибегает, насколько может, к лабурдинскому, а какая-то часть бискайцев — к гипускоанскому**, однако количество таких бискайцев и сулетинцев ограничено, как и степень знания ими указанных литформ, а сами эти литформы выступают в таком общении не как обычные, а как нечто среднее между койне и, так сказать, «бюнен-баскским» (поскольку те же сулетинцы и бискайцы меньше говорят на

* Точнее, лабурдинский с западным нижне-наваррским, давшие так наз. наварро-лабурдинский литературный.

** С известными трудностями и пробелами, иногда очень значительными, сулетинец и бискаец все же могут, правда, добиться взаимопонимания и в том случае, если каждый из них будет пользоваться своим говором.

этих литформах, а больше читают на них); отсутствие надбаскским, сулетинским и т. д. чего-либо более общebasкского, чем такое «бюнен-койне», а отнюдь не степень литературности этих диалектов и сохраняет за ними до сих пор их «престижность» и самостоятельность.

В данном аспекте баскский язык тоже «незрел», следовательно, до необходимого уровня, что ставит на пути его дальнейшего развития третий комплекс проблем, третью задачу, сводящуюся к тому, чтобы создать и внедрить единую для всех басков литформу, имея в виду как их письменную, так и устную речь. Незачем говорить о сложности этой задачи, вытекающей уже из обрисованного равноправия, равноценности ведущих лабурдинского и гипускоанского литдиалектов, из которых последний, кстати сказать, имеет преимущество по числу говорящих, по перспективам экономического развития своей зоны, по своему центральному положению во всем ареале, но уступает лабурдинскому по степени совершенства, т. е. по качеству и глубине литературной традиции и степени обработанности. Если учесть также и серьезные лингвистические различия этих литдиалектов, то при таком положении вещей просто невозможно отбросить один из них, чтобы принять другой за цементирующее начало: речь может идти только об их дальнейшем сосуществовании с проведением такой длительной «политики» или «стратегии» языкового нормирования, которая бы сглаживала различия между данными литдиалектами.

На гипускоанской, конечно, основе, но все-таки форма, не полностью равная литературному гипускоанскому, достаточно отличная от него, должна быть развита и с целью объединения баскских диалектов Испании, т. е. третья после лабурдинского и гипускоанского диалектов особая общая форма баскского языка.

В расчете на всю массу тех басков, которые утратили родной язык и пожелали бы восстановить его, такая третья форма уже как форма общего обучения должна быть, разумеется, достаточно единой, нормированной, и она может быть в той или иной (даже значительной) степени результатом, так сказать, «монтажа», т. е. искусственного отбора и соединения разнодиалектных фактов (слов, форм и т. д.) из числа наиболее распространенных или удобных в каком-либо ином отношении; основным каналом внедрения такой формы (в том же расчете) должны быть, понятно, сфера обучения, школа, учебник и т. п.

С продолжающими свое существование локальными и иными разновидностями хотя бы той же Гипускоа результат такого монтажа, т. е. искусственный набор разнодиалектных вариантов в большей своей части не оказался бы, однако, совпадающим, а при той вариантности, которая характерна для баскского языка вообще, для всех его разновидностей это означало бы довольно существенный их отрыв от той третьей формы, о которой идет речь, т. е. отрыв вновь обученных басков от всех или большей части остальных. Впрочем, почти так же трудно было бы избрать и внедрить и нечто третье (среднее) для одних лишь естественных разновидностей баскской

речи в Испании (т. е. нечто, не рассчитанное вообще на изучение басков новой формации), т. к. любой вариант этого третьего (среднего) мог бы совпасть в лучшем случае лишь с одной из указанных реально существующих разновидностей, которых, не говоря уже о бискайском или наваррском, вполне достаточно в одной и той же Гипускоа с ее очень разными Гойерри и Беерри («Верхняя Земля» и «Нижняя Земля»), где далеко не везде над местными говорами господствует гипускоанский литдиалект. Эти трудности соединения искусственного и естественного письменного и устного нормативно-единого и диалектного, эускэра берри т. е. «новобаскского», и эускэра са́р — «старобаскского», а также трудности всякого «усреднения» баскских естественных диалектов и составляют, конкретно, проблему построения указанной третьей формы, а вместе с тем и всего данного (третьего в нашем перечислении) комплекса проблем.

Лингвисту или филологу, не знакомому с самими реалиями, с конкретным характером баскской диалектности, очень трудно, правда, представить себе все эти сложности и, в частности, всю опасность того отрыва (одной разновидности баскской речи от другой), о котором мы только что говорили. Мы здесь не допускаем, однако, никаких преувеличений: все дело в том, что «преувеличенной», т. е. повышено избыточной является сама вариантность баскского языка, имея при этом в виду как его факультативность, т. е. вариантность, характерную для любой локальной или иной разновидности, так и собственно вариантность, т. е. ту, которая наблюдается при сравнении между собой различных разновидностей (локальное варьирование идет у басков не только от района к району, но и от села к селу).

К счастью, в настоящее время баскские глаголы, за исключением вспомогательных, не имеют собственного (синтетического) спряжения, во всяком случае почти никогда не имеют **полного** собственного спряжения, и это настолько снижает вариантность в баскском глаголе и во всем баскском языке, что открывает саму принципиальную возможность для снятия вариантности в какой-либо из функциональных разновидностей будущего баскского языка, без чего соответствующие трудности были бы неизмеримо большими, может быть даже непреодолимыми.

Здесь совсем не лишне будет отметить, что в современном баскском языке глагол *izan* — «иметь» только в одном из своих времен одного из наклонений (в любой локальной или функциональной разновидности) насчитывает около 600 форм, и среди них, в частности, такие, как *duk* «имеет его — для него — он — о, мужчина», *dup* «имеет его — для него — он — о, женщина», где «о, мужчина» и «о, женщина» являются обращениями к собеседнику или собеседнице, включенными в личную форму спряжения в виде элементов **к** и **п** (*du-k*, *du-n*).

При количестве форм этого спряжения, не говоря уже о структурных сложностях, один лишь факультативный или локальный вариант всей данной парадигмы поставил бы нас перед набором в 1200 единиц, два таких варианта — перед на-

бором в 1800 единиц и т. д. Из этого видно, насколько грозным при подобной системе становится наличие уже **какой бы то ни было** вариантности, поскольку последняя оказывается способной сообщить подобной системе необъятность стихии. А между тем, как уже сказано, баскский язык характеризуется **повышенно избыточной вариантностью**, которая превосходит не только все, что нам известно по этой части о любом из европейских языков, но, например, и о грузинском с его двенадцатью диалектами, носителями которых тоже являются горцы*.

Из приведенных только что фактов, между прочим, видно, что уже сама сложность баскского спряжения не может не быть большим препятствием для овладения баскским языком через любой вид обучения. Наличие же в этом спряжении апеллятивно-аллокутивного ряда (т. е. ряда форм, подобных только что приведенным *dik, dip*) делает попытку такого овладения вообще практически безнадежной, в силу чего те баски, которые в наше время овладевают своим языком через обучение того или иного вида, как правило, просто игнорируют этот ряд. Последний не удержался и в американском варианте баскского языка, который уже давно и стихийно сложился как койне экспортированных в Америку баскских диалектов Испании и Франции, многое при этом опустив или упростив, приводя к единству и став в этом смысле даже определенным образцом для баскского языка Старого Света (американский баскский, кстати, существует и до сих пор не только как устный, но и как письменный язык газет, журналов и художественной литературы различных объединений американских басков); Академия Баскского Языка, существующая в Бильбао, также не предусматривает в настоящее время апеллятивно-аллокутивного ряда форм в спряжении будущего баскского языка и не дает по нему никаких рекомендаций.

Количество баскских глаголов с собственным спряжением, каждый из которых столь резко повышает вариантность баскского языка (уже в силу количества форм спряжения), еще в XVI веке достигало нескольких десятков. В настоящее время полное такое спряжение с общим числом форм в несколько тысяч имеет, однако, только один баскский глагол (вспомогательный глагол «иметь»), у нескольких других глаголов оно сохраняется еще в достаточно обширном виде, но в неполном, а за их пределами носит вообще реликтивный характер. Такое ограничение собственного спряжения, понятно, сильно ограничивает и всю вариативность баскского языка, не позволяя ей превратиться в тот безбрежный бушующий океан, который исключил бы, как об этом говорилось выше, саму при-

* Ср. выше характеристику баскского как языка по самой своей природе не поддающегося унификации. В глазах лингвиста эта черта, поскольку речь идет особенно о старом глаголе, сообщает баскскому языку особенно высокую (дополнительную) ценность, в частности в плане всякого рода реконструкций. Парадоксальным образом она же является одновременно самым большим внутренним препятствием на пути превращения баскского в один из развитых высокоорганизованных языков современности.

ципиальную возможность построения единой функциональной разновидности баскского языка.

Даже при таком ограничении сведение всей баскской вариантности* в рамках подобной разновидности до необходимого минимума без потери при этом качества языка и числа говорящих может быть осуществлено, может мыслиться лишь как нечто глубоко радикальное, как выполнение задачи, уникальной по своему характеру и масштабу. И, конечно, такое сведение, то есть создание и успешное внедрение единой — третьей — функциональной разновидности баскского языка возможно лишь в результате очень большого и длительного языкового строительства, к которому баскское общество, однако, уже приступило и сейчас ведет его самым активным образом.

Неудовлетворенность тем состоянием функционального варьирования баскского языка, с которым он подошел к XX веку, понимание опасности этого состояния для его дальнейшей жизни возникло в баскском обществе уже давно, и в начале того же XX века оно уже, безусловно, имело место. Собственно, эта-то неудовлетворенность в основном и породила, судя по всему, ту известную мысль, что баскский язык, так сказать, «неконкурентоспособен» (якобы) в сравнении с испанским и французским языками, и, очевидно, эта-то мысль и обуревала в свое время М. де Унамуну, который с неподдельной душевной скорбью, понимая всю ценность своего языка, тем не менее сзывал соотечественников на его похороны.

С другой стороны, та же мысль породила в 1918 году проект Луиса де Элейсальде, предлагавшего ускорить унификацию баскских диалектов, «надстраивая» над общебаскским стержнем типускоанского литдиалекта нечто, так сказать, наиболее подходящее для всех, и делая это путем специального отбора, порученного Академии Баскского Языка, а также посредством ее рекомендаций, должностяующих внедрить результаты этого отбора в языковой узус, в практику повседневной речи.

По существу этим предлагалось ускорить появление той третьей функциональной разновидности баскского языка, о которой говорилось выше как о столь необходимой, и само такое намерение или желание, сам поиск в данном направлении мог, разумеется, заслуживать только одобрения. Однако вместе с тем это был проект чисто **искусственного** построения указанной разновидности **сверху** при отсутствии какого-либо ускоряющего движения в **самом баскском обществе**; проект был рассчитан только на лиц, **владеющих** баскским языком (да на какой-либо другой контингент лиц тогда подобные проекты и не

* Теперь уже речь идет главным образом о вариантности, лежащей вне области глагола. Чтобы дать о ней какое-то представление, скажу, что даже солнце и луна имеют в баскском языке различные названия.

приходилось рассчитывать), для них он предусматривал все рекомендации, но такие рекомендации не могут иметь обязательной силы — силы, например, грамматического правила для лиц, овладевающих языком; необязательные же рекомендации внедряются чрезвычайно медленно и мало что ускоряют. Проект Элейсальде был, таким образом, мало жизнеспособным (как и все подобные предложения), и не удивительно, что он не был осуществлен; он утонул в спорах членов Академии Баскского Языка о целесообразности и праве лингвистов на проскриптивное вмешательство в жизнь языка.

Катастрофически ускорив процесс денационализации басков, франкизм вслед за этим ставит их перед гамлетовским вопросом. Возникает массовое движение в защиту баскского языка, появляется все больше дебаскизованного населения, стремящегося вернуть себе родной язык, овладеть им практически, чтобы говорить на нем, читать, писать и т. д. Появляется не меньшее количество басков, плохо знающих свой язык, но тоже не желающих примириться с этим положением. Учебники для них, журналы, литература, газеты и т. п., естественно, уже не могут составляться и выпускаться на том гипускоанском литдиалекте, который всегда более или менее удовлетворял басков, с детства хорошо владеющих своим языком, т. е. на литдиалекте с определенным общим стержнем, но и с большой вечно «зыблющейся», «перетекающей» добавкой вариантности. Эта «добавка» в письменной речи, рассчитанной на указанные новые контингенты населения, начинает поэтому и несколько уменьшаться, и одновременно как-то внутренне модифицироваться — стихийным прежде всего образом и преимущественно в связи с тем, что авторы различных письменных материалов проявляют все большую заботу об употреблении таких форм и слов, которые были бы наиболее просты и общепонятны (то же относится, впрочем, и к синтаксическим конструкциям) и, если не освящены достаточно широким употреблением, то хотя бы «устраивали всех» в каком-то другом отношении.

Та же «добавка» претерпевает соответствующие изменения еще и в связи с тем, что теперь, в новых условиях, указанные авторы в своей практике начинают все более прибегать и к рекомендациям Академии Баскского Языка (что было нереально во времена Элейсальде), теперь принявшей на себя и успешно выполняющей задачу составления таких рекомендаций. У авторов учебников и в устах преподавателей, особенно близких к академии, эта добавка вариантности оказывается наименьшей, а прошедшие их школу баски новой формации получают возможность понести в жизнь, в общую массу речи в стране наиболее «усредненные» ее образцы.

Все это в целом, несомненно, создает условия для укоренного построения столь необходимой баскскому обществу третьей разновидности его языка и даже фактически полагает начало такому построению, однако нельзя не учитывать, что эти условия являются экстремальными. В самом деле, речь идет, как видим, о таких условиях, в которых процесс унификации вопреки тому, что обычно бывает, не дает опору, а сам зависит от возрождения языка, от сферы обучения и фигуры

обучаемого, сильно, так сказать, сфокусирован на ^{фигуру} баска новой формации, призванную не только изучить и возродить свой язык, но и прочно утвердить его и в конечном счете возвысить.

Идущая по такому руслу ускоренная унификация, однако, не может не затормозить весь процесс развития языка обязательным снижением качественного уровня речи, следовательно, и всех аспектов культуры, непосредственно зависящих от языка (не говоря уже о надвигающейся общей его стандартизации и, значит, неизбежной потере им столь притягательной его мощной самобытности, колорита не в дешевом туристском, а в гораздо более глубоком смысле этого слова). Впрочем, какие-то жертвы этого рода при сложившемся положении вещей, очевидно, все равно неизбежны. Хуже другое — что всё (все перспективы) в конечном счете «повисает» опять на той же фигуре баска новой формации, все оказывается в зависимости от ее процента в Басконии и степени общественной активности. Но возникает вопрос, достаточен ли сам этот процент и эта степень, чтобы обеспечить будущее баскского языка? Например, я лично не в состоянии ни ответить на этот вопрос, ни даже попытаться построить какой-либо чисто предположительный прогноз, причем весьма вероятно, что такой прогноз и вообще не может быть построено.

Опираясь на информацию, почерпнутую летом 1978 года от члена Академии Баскского Языка Шабьера Кинтана, я могу, однако, указать в этой связи на следующие факты. Еще по состоянию на то же лето 1978 года, когда в Испанской Басконии не существовало государственных школ с преподаванием на баскском языке, в данном районе имелась, однако, сеть частных школ с таким преподаванием, охватывавшая 20 тысяч детей, а в одном лишь Бильбао аналогичная сеть обучения взрослых охватывала тогда же 30 тысяч человек, главным образом — рабочих.

В Государственном Баскском Бильбаосском Университете, самый факт существования которого знаменует и завершает собой целый этап усилий народа, была к этому времени развернута подготовка кадров баскской технической, медико-биологической и педагогической интеллигенции в расчете на владение родным языком с подъязыком специальности.

Об объеме выходящей в наше время литературы на баскском языке говорит тот факт, что число писателей, выпускающих на этом языке свои произведения, превышало в 1968 году четыре сотни.

Наконец, что особенно важно, имеются сведения о том, что баскский язык находит поддержку и опору не только в среде дебаскизованного населения, но и (все более) среди тех многочисленных, в частности переселенческих, слоев, которые натурализованы в Стране Басков.

Судя по всему, решающая фигура баска новой формации, действительно, становится сейчас в Гипускоа и Бискайе достаточно частой, а главное — **все более частой**. Одним из самых поразительных «живых примеров» (если здесь вообще уместно такое выражение) является в этом плане сам уже упоминавшийся Шабьер Кинтана, который, будучи одним из таких бас-

ков (он овладел баскским языком путем самостоятельного изучения на месте), великолепно говорит по-баскски, является автором ряда художественных произведений на этом языке свободно ориентируется в сложнейших вопросах баскской и общей лингвистики.

Многое говорит также об имеющей громадное значение решимости современного баска во что бы то ни стало вернуть себе язык предков, говорить на нем, читать, стараться сделать его инструментом высокой культуры. Ведущий баскский лингвист нашего времени Л. Мичелена в этой связи подчеркивает, что «в конечном счете ни один язык не исчезает и не продолжает жить сам по себе — его либо покидают, либо продолжают употреблять, держаться за него и, следовательно, сохраняют живым всегда только его носители». И судя по всему, эта бесспорная истина крепко усвоена, взята сейчас на вооружение баскским народом.

Как бы резюмируя достигнутое и предлагая программу будущего, тот же автор делает одно замечание, очень важное для уяснения нынешнего положения баскского языка. Он говорит, что если до недавнего времени этот язык был у себя дома «гонимым, то теперь он терпим, и задача состоит в том, чтобы сделать его как можно более необходимым и желанным».

В качестве важной складывающейся предпосылки для выполнения этой задачи Л. Мичелена отмечает не развитие в стране литературы на баскском языке, как это следовало ожидать (хотя такое развитие тоже имеет место), а распространение так называемой «безличной служебной прозы» («утилитарной прозы» и т. п.), областью которой являются не только учебники и учебные пособия, но и такие средства «массовой коммуникации», как газеты и журналы, а также всякого рода служебная и личная переписка. Именно эта проза является, в частности, и тем основным каналом, по которому в жизнь внедряются всякого рода нормативы и образцы, выработанные и рекомендованные Академией Баскского Языка, в целом составляющие сейчас уже довольно обширный свод — костяк того «эускэра батэа», — «единого» или «унифицированного» баскского языка, который в конечном счете и должен по плану академии стать общей формой письменной и устной речи всех испанских басков (выше мы называли эту форму третьей функциональной разновидностью), а затем и всех вообще европейских басков. Известное представление об этом своде или костяке дает словарь «эускэра батэа», составленный и изданный недавно авторским коллективом во главе с Ш. Кинтана и рекомендуемый академией. Работа последней в данной области вовсе не ограничивается, однако, словарем: идя широко навстречу жизненной для их народа необходимости, баскские лингвисты предпринимают сейчас поистине самоотверженные усилия по унификации и во всех других областях баскского языка, включая и глагол со всеми его сложностями; особым аспектом их работы является реконструктивный (восстановление языка там, где он полностью утрачен), который сейчас стоит главным образом в освоении по этой части зарубежного опыта.

В соответствии с изложенным сам термин «эускара батúa» сейчас применяется в первую очередь для обозначения как раз указанного свода рекомендаций или прескрипций академии, вообще всего того, что лишь **должно** укорениться в баскском языке, но еще не укоренилось в нем, а также для обозначения любой из **будущих** общих разновидностей баскского языка. Вместе с тем тот же термин употребляется уже и применительно к той **современной** разновидности баскской речи, которая представлена в «безличной служебной прозе» и в устной речи особенно басков новой формации и других горожан.

Такое употребление данного термина тоже, возможно, имеет под собой почву, однако оно не должно заслонять от нас того обстоятельства, что самого-то «эускара батúa» как чего-то действительно единого, как уже построенной общепринятой разновидности еще нет и до этого еще очень далеко: по существу то, что называют сейчас «эускара батúa» (применительно к современности) — это лишь **начало** того, что должно быть построено.

И действительно, не говоря уже о том, что ничего похожего на «эускара батúa» сейчас нет во Франции (здесь господствует по-прежнему один лишь лабурдинский литературный — из общих форм), можно отметить, что даже в Гипускоа и Бискайе он лишь пускает сейчас свои корни, притом больше в письменной, чем в устной речи. К сожалению, даже в новейших учебниках баскского языка, выходящих в Испании, и даже в выборе форм основных глаголов наблюдается все еще чрезмерный разноречивостью, т. к. эти учебники часто составляются авторами, опирающимися в основном на ту или иную знакомую им локальную разновидность и не учитывающими прескрипций академии.

С другой стороны, нынешний реальный живой «эускара батúa», будучи лишь началом соответствующей общей формы будущего, отнюдь **не** является **искусственным** конструктом или сводом конструктов: он представляет собой — и в этом заключается основная гарантия его жизнеспособности — **естественное, стихийное** порождение общественной жизни современных баскских провинций Гипускоа и Бискайя, продукт естественного сложения, в частности, их «безличной прозы», естественной ориентации местных преподавателей и авторов на горожанина и баска новой формации, на личность, не способную воспринять, так сказать, классический баскский текст и т. д. Что же касается Академии Баскского Языка, то ее вклад в этот процесс является, конечно, искусственным, но не следует забывать, что **в конечном счете** и он тоже является плодом тех же стихийных процессов в жизни баскского общества. Последнее радикально изменилось со времени Элейсальде. И эти изменения в нем и в его отношении к языку и открыли путь в жизнь для прескрипций академии, а, значит, породили и сами данные прескрипции, и активность академии. Наконец, спецификой жизни самого баскского общества, естественно-стихийными процессами в нем обусловлен и тот факт, что «эускара батúa» развивается прежде всего через «безличную служебную прозу», которая (до известных, конечно, пре-

делов) будет и в дальнейшем больше унифицировать баскский язык, нежели литература.

Если судить по приведенным фактам (хотя бы только по ним), все происходящее в эти годы в Басконии трудно расценивать иначе, как массовое движение национального возрождения, происходящее преимущественно в тех областях, где имеются крупная промышленность, многочисленный пролетариат и национальная интеллигенция. Это движение непосредственно касается и судеб баскского языка, который сейчас представляет собой не только исчезающий язык, переживающий самый критический период своей истории, но вместе с тем — язык, не покинутый значительной частью своего народа, пытающегося его возродить. Пока это так, час баскского языка не пробил, он еще может выжить, выстоять, и было бы одинаково неверно как предрекать его гибель, так и излишне обольщаться относительно его будущего.

В заключение настоящей статьи стоит отметить, что ее автору было бы гораздо проще и легче рассказать о том, как исследуется баскский язык, а не о том, в каком состоянии он находится. Тем не менее, он написал сочинение не «на ту», а именно «на эту» тему — гораздо более от него далекую и, следовательно, гораздо менее благодарную. Он сделал это специально для того, чтобы привлечь у нас внимание к **судьбам баскского языка** — по причинам, которые читателю уже понятны: до тех пор, пока существует хоть один шанс в пользу того, чтобы этот язык продолжал свою жизнь, исследующий его ученый не может относиться к его судьбе с обычным для ученого беспристрастием, **он не имеет на это морального права**. В заключение позволю себе также привести следующее высказывание одного очень известного у себя на родине баска (общественного деятеля прошлого и начала нашего века): «Сделайте так, чтобы баскский язык служил для школы, для процветания, для растущего разнообразия жизни, для высшего образования, и тогда тот, кто им владеет, будет стараться сохранить его, а тот, кто от него далек, возможно, захочет им овладеть».

Как в плане жизни языка, так и самого баскского народа вопрос о современном состоянии, степени сохранности и т. п. баскской культуры в целом тоже является, конечно, далеко не праздным. Что же представляет собой сейчас эта культура, т. е. каковы ее самобытные черты, ее традиционный комплекс и насколько он сохранился?

Как уже можно было видеть выше, обычное представление о басках как о людях действия (или делового склада) во все не должно означать, что они лишены таких друг характера, как любовь к музыке или к поэзии и т. д. Другой, конечно, вопрос, **какого рода** музыка или поэзия им импонирует.

Собственно, сам деловой склад баска определяется прежде всего его особой эмоциональностью, свойственной ему кипучей энергией, темпераментом, неутомимостью и подвижностью, составляющими его основную отличительную черту. В искусстве же (как вытекающая из этой черты) для баска естественна тяга или склонность в первую очередь к **танцу** и

другим наиболее динамичным формам эстетического самовыражения, в частности — к импровизационной, так называемой берцоларной форме народной поэзии, т. е. к импровизации песен и стихов под музыку, обычно публичной и нередко протекающей как соревнование участников; отсюда же и баскский народный театр, по самой своей природе, «придумочный», затейный, импровизационный — театр мистерий и пасторалей, маскарадов и карнавальных шествий, т. е. того же, в сущности, действия, но только театрализованного.

Уже в таком театре и в самой берцоларности действие, танец, стихи и музыка или песня, «подаваемые» зрелищно и «спонтанно», предстают, разумеется, в **очень слитном виде** (такая слитность и вообще естественна, когда люди не только стремятся танцевать под музыку, но и в самой музыке ищут прежде всего сопровождение к танцу или действию). Подобная же слитность в еще большей мере должна была существовать, понятно, и в истоках баскского искусства, сначала представлявшего собой, вероятно, совместное ритуальное действие, т. е. коллективный круговой песню-танец, что можно вывести хотя бы из тех описаний, которые применительно к северным народам Испании нам оставил Страбон; впоследствии, однако, «баскская музыка, ее форма пережили настоящую ломку после III Толедского Церковного Собора Испании (в VI в.), на котором были приняты постановления как **против похоронных гимнов**, так и вообще **против тех форм, в которых баски предавались танцам**, что привело в конечном счете к **полной утрате единства, в котором находились некогда танцы и музыка или песни басков**, как и к **утрате возможности это единство восстановить**» (подчеркнуто мной — Ю. З.).

Неутомимость природы баска и вытекающую отсюда «действенность» всего склада его искусства, да и вообще всей культуры, в свое время уловил, между прочим, еще Вольтер, говоривший о басках как о «народе, веками танцующем на острове Пиренеев» (ср. также тот показательный факт, что весь французский балет, а с ним и вообще балет нового времени начался в XVII в. с группы баскских танцоров).

«Полагаемая на бумагу» художественная литература, не исключая и поэзии, по самой своей «молчаливой» и «неподвижной» природе, конечно, не может быть оптимальной, избранной, эстетической формой для такого кипучего, действительно народа, как баски, и это-то, возможно, и объясняет нам, почему **неписменная берцоларная поэзия сохранилась у басков до наших дней**, а записи произведений берцолари составляют основную часть всей поэтической продукции, выходящей сейчас на баском языке.

Такое сохранение до позднего времени берцоларной традиции не могло, однако, не создать и в самой письменной литературе Басконии определенных преимуществ для развития ее стихотворной части по сравнению с прозаической — **преимуществ прежде всего**, конечно, для использования баскского языка. Ведь, в самом деле, стихотворная письменная традиция в условиях развитой берцоларной просто не может не возникнуть и не быть производной от этой последней — на том

1959
11033

же, разумеется, языке (ср. тот факт, что не только многие берцо полагаются ныне на бумагу и издаются, но и, наоборот, нередко импровизаторы-берцолари сочиняют олерки, т. е. обычные неимпровизированные стихи, в то время как профессиональные поэты-олеркари часто прибегают к берцоларной форме стиха или выступают как берцолари).

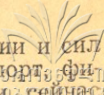
В результате, наиболее значительное место после берцо во всех современных художественных изданиях на баскском языке занимают, судя по всему, стихи (обычные стихи — олерки), а не проза (на том же баскском языке), причем характерно, что рядом с прозой на баскском языке существует подавляющая ее испаноязычная проза баскских авторов (и о баскской жизни), рядом же с поэзией на баскском языке почти нет испаноязычной поэзии баскских авторов. Это преимущественное баскоязычие стиха в современной баскской литературе должно быть обусловлено и обычными для подобных ситуаций причинами, т. е. большей органикой языка как первоэлемента в поэзии и меньшей — в прозе (ср. аналогичное положение в литературе других многоязычных регионов, где обычна проза, но не распространена поэзия на двух и более языках), однако вместе с тем это явление опирается, повторяю, и на старые берцоларные традиции Страны Басков.

Среди баскских поэтов нового времени (поэтов-олеркари) известны, между прочим, Орише, Габриель Арести, Лисарди; в плане того, что сказано выше о связи поэзии обычной и берцоларной (ср. также характерное название одной из новых книг стихов Гастелу «Молчаливая музыка»; редким поэтом (из баскских), пишущим по-испански, является Расуэрос.

Судя по некоторым изданиям, не остается без продолжения или во всяком случае, не утрачена полностью в современной Басконии и столь важная для нее традиция народного танца. Кое-где еще можно увидеть театрализованные представления (особенно в Суле), хотя они все более приобретают образцово-показательный характер в расчете на почетных гостей.

Как и везде, на смену народному театру давно уже пришел в Басконии театр обычный, получивший достаточное распространение и как будто располагающий и достаточным баскоязычным репертуаром. Еще Р. М. де Аскуэ, бывший не только великим лексикографом, лингвистом, вообще фольклористом, но и талантливым музыкантом, предпринимал попытки наряду с этим театром (драматическим с элементами музыки и танца) создать и баскский музыкальный театр — театр оперы, балета и музыкальной комедии, для чего написал оперу и одну музыкальную комедию с текстами на баскском языке.

Независимо от этого, народная жизнь Басконии, протекавшая всегда на фоне флейты (ср. название одного из романов баскского писателя А. Вальверде «На фоне флейты»), естественным образом привела и к появлению и расцвету в мире музыки довольно значительного числа баскских индивидуальных талантов (композиторов, музыкантов-исполнителей), иногда достаточно известных. Одним из таких талантов был Ипарагире — автор баскского национального гимна. Получило развитие также хоровое пение.



В силу той же «живости натуры», избытка энергии и сил в жизни баска всегда где-то рядом с танцем стояли спорт, физическое упражнение и соревнование, занимающие и сейчас главнейшее (традиционное) место в культурной жизни страны. Повышенная физическая активность, вероятно, является и причиной того особого внимания, которое баски уделяют пище, кулинарному искусству, издавна поставленному у них на большую высоту и, как это ни неожиданно, являющемуся тоже чем-то в роде спорта. Из видов спорта наиболее распространенным является игра в пелоту, с которой уже в новое время стал конкурировать футбол, к 1938 году уже достигший, как известно, очень высокого уровня. Важное место занимают также различные виды национальной атлетики камня (поднятие камней разной формы, перетаскивание глыб и колод по-одному, парами, группами, с помощью волов и без них и т. д.), метание камней и других предметов и т. д. Затем идут яхт-спорт и весельные гонки, бой баранов и игры с быками (в Наварре), а также очень популярные соревнования айсколари (дровосеков). Кулинарное искусство, по крайней мере по числу изданий, занимает не менее важное место, чем любой из самых популярных видов спорта, причем его любители тоже объединены в клубы и общества, снимающие, между прочим, специальные помещения для совместного приготовления пищи и т. д.

Как уже ясно из предыдущего, баскская художественная проза в силу существующего в стране двуязычия уже давно (с XIX в.) делится на баско- и испаноязычную, причем эта последняя адресуется именно баскскому читателю, но только плохо знающему родной язык или не знающему его совсем, и создается она писателями, которые нередко предпочитают испанский язык тоже по этой причине. Испаноязычная разновидность баскской прозы до последнего времени к тому же преобладала над баскоязычной, по крайней мере количественно, что в силу важности прозаического жанра даже для такого общества, как баскское (где данный жанр является наименее излюбленным), создает еще одну проблему для самого существования баскского языка, — на этот раз в аспекте его обеспечения со стороны наиболее близкого к нему (и одного из основных) элемента культуры.

Конечно, и среди баскоязычных оригиналов можно назвать прогремевшие и пользующиеся большим спросом произведения, например, «Жресала» Агирре (Оньяте, 1967), можно перечислить и целый ряд имен прекрасных романистов и авторов повестей и рассказов (Ициар-Агирре, Хауреги-Исета, Хауреги, Лоиди, Кирикиньо, Могель, Мухика, Пейлен, Уррусуно, Вальверде, Сабала), не говоря о юмористах (Лицасасоро) и литературных критиках (Уркису). На стороне баскоязычной разновидности баскской прозы оказывается также чрезвычайно обильная детская и юношеская литература со многими переводами с разных языков таких книг, как «Робинзон Крузо» или «Морган I», «Морган II», наконец, некоторая часть оригинальных художественно-прозаических произведений имеет как баскские, так и испанский варианты.

Все это, однако, лишь с одной стороны. С другой же стороны характерен, например, тот факт, что наиболее известным, читаемым и издаваемым баскским писателем является в сегодняшний день Пио Бароха, который, следуя за Унамуньо, писал только по-испански. За Пио Бароха идет очень популярный прозаик Л. Кастресана, который тоже испаноязычен, далее — Х. М. Ирибаррен (15 книг) и Х. А. Сунсуеги (не менее 8 книг, изданных в Барселоне, все на испанском), М. Пелай Ороско, Х. Артече, до сих пор широко переиздается на том же языке А. Кампбон, который писал в свое время по-испански, причем надо учесть, что в числе новых произведений этой литературы тоже рождаются бестселлеры, например, такие, как исторический роман Ф. Наварро Вильослада «Амайя или баски в VIII веке», М. Эсторнес Ласа «Золото Эски» и др., а также юмористические произведения (что очень важно для басков, поскольку они вообще очень высоко ценят юмор) и литературная критика.

Переводы в Басконии выходят, как и следовало ожидать, на баскском языке, однако их в общем мало, но зато необыкновенным спросом пользуется в этой стране жанр исторической биографии, вообще историографическая, «страноведческая», этнографическая литература, а ведь все это сочиняется и выходит почти целиком на испанском языке. Особенно читаемыми среди этих произведений являются, кстати сказать, книги крупнейшего баскского этнолога Х. Каро Бароха (пишущего по-испански), а также ряд произведений продолжающего успешно работать зачинателя и живого классика баскской этнографии Х. М. де Барандиарана.

Некоторый небольшой реванш баскоязычная проза берет, правда, за счет научно-популярных и близких к этому жанру книг, но их не так много; на баскском языке выходит также обширная религиозная литература.

В той же области художественного слова остается упомянуть еще о так называемой народной или устной прозе (сказках, легендах и т. д.), которая теперь уже почти уступила место прозе письменной, но еще в недалеком прошлом поражала собирателей своим обилием и разнообразием.

Большим достижением, укрепляющим, в частности, и позиции самого баскского языка, является издание переводов на этот язык произведений классиков марксизма-ленинизма, а также литературы, пропагандирующей их основные идеи. К числу известных мне изданий указанных переводов относятся «Манифест Коммунистической партии», «Наемный труд и капитал» К. Маркса и «Государство и революция» В. И. Ленина.

Некоторые баскских авторов привлекают также такие проблемы философии, как взаимоотношение языка и мышления; попытки обсуждать эти проблемы на баскском языке сталкиваются, правда, с большими препятствиями терминологического порядка. Аналогичные попытки делаются в области проблем индустриального и хозяйственного развития страны, медицины и биологии, орнитологии и т. д. Как мы уже знаем из предыдущего, соответствующие ответвления баскского языка в эти

и других специальных областях не развиты или недостаточно развиты, хотя какая-то традиция в этом смысле была заложена еще в XVIII веке, когда возникло и первое общество баскских естествоиспытателей.

Что касается издательского дела, то оно в баскской стране достигло поразительно высокого уровня. В самом деле, многочисленные издания в несколько тысяч страниц вовсе не являются сейчас здесь редкостью, и это особенно важно для изучения баскского языка, поскольку, например, обыкновенный «Испано-баскский словарь», составленный П. Мухика с учетом вариантности баскских диалектов (т. е. в стремлении отразить данную вариантность в этом словаре), насчитывает более полу-миллиона единиц и таковы же другие, точнее целый ряд других подготовляемых и уже вышедших в свет словарей баскского языка.

Издания репродукций изобразительного искусства нередко сами бывают шедеврами баскского полиграфического искусства. Таков альбом фотолитографий Зигфрида Коха с работами Нестора Бастеррече, подаренный баскским народом грузинскому в 1978 году и хранящийся в Музее истории искусства Грузии. Укажу, наконец, на тот поразительный факт, что издаваемая сейчас серия, посвященная г. Бильбао, состоит из 400 произведений.



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ГРУЗИИ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Кафедра журналистики ТГУ на протяжении многих лет ведет планомерное исследование актуальных проблем истории журналистики и литературы. Благодаря целенаправленной работе защищены диссертации, издана многообразная по тематике серия монографий и т. д., научная значимость которых отмечена специалистами. В этом ряду работ примечательным явлением следует признать двухтомник «Новые материалы к истории русской литературы и журналистики второй половины XIX века» (Изд. ТГУ, Тб., 1978), посвященный 175-летию присоединения Грузии к России.

В двух книгах собраны произведения русских литераторов, живших в Грузии или просто печатавшихся в Тбилисской русской демократической периодике в 1878—1897 гг. (в газетах «Тифлиссский вестник», «Обзор», «Новое обозрение» и др.). Речь идет о произведениях известных русских литераторов Н. Симборского, А. Пальма, Д. Минаева, А. Круглова, А. Плещеева, В. И. Немировича-Данченко, П. Вайнберга, И. и Н. Тхоржевских, В. Гаршина, В. Вересаева, М. Антоновича, которые после первой публикации (за редким исключением) не

воспроизводились. Собрал эти разнородные материалы, подготовил текст и снабдил научно-справочным аппаратом профессор Г. Д. Джавахишвили. Редактор этой книги — заведующий кафедрой журналистики ТГУ профессор Д. М. Гамезардашвили.

В настоящее время, когда исследование литературы ведется широким фронтом с участием академических институтов, кафедр вузов, «белые пятна» интенсивно стираются. По справедливому утверждению академика Д. С. Лихачева, «по всем ходким авторам и темам» появляется огромное количество работ, что создает реальную опасность возникновения «кризиса тем». Если учесть, что двухтомник составили произведения писателей, творчество которых относится к наименее, а то и вовсе неисследованным страницам русской литературы, появление книги можно рассматривать как частичное преодоление литературоведческой инерции, благодаря чему создается плацдарм для обновления репертуара и расширения фронта исследований.

Результативный научный поиск, в ходе которого были обнаружены произведения, малоизвестные исследователям русской литературы, велся в основном по печатным и рукописным источникам, книгохранилищам и различным архивам.

Как отмечалось, в двух книгах собраны произведения русских литераторов, печатавшихся в тбилисской русской демократической периодике в пос-

ледней трети XIX века. Этот материал, многообразный по тематике, объему, форме, а главное — по значению, организуется в духе сложившейся и оправдавшей себя традиции — по историко-хронологическому принципу и как публикация совмещает три момента: сперва даются библиографические статьи (о писателе и данном тексте), затем идут тексты, сопровождаемые краткими комментариями. Примечания — весьма обильные — вынесены в конец книги. Подобное построение позволяет легко ориентироваться в этом разнородном, пестром материале, в известном смысле тематически его организовать.

По характеру материалы можно разбить на три группы. Первый комплекс материалов составляют неизвестные и малоизвестные стихотворения Н. Симборского, А. Пальмы, Д. Миннаева и других поэтов второго эшелона русской литературы. Ко второму комплексу следует отнести остросоциальные очерки и театральные рецензии Симборского, фельетоны Гаршина и Вересаева. Среди материалов третьего цикла — и по значению, и по объему — важное место занимают статьи и переписка знаменитого М. А. Антоновича. Все эти материалы, как уже говорилось, были разбросаны в различных, малодоступных изданиях и, как правило, после первой публикации не воспроизводились и были неизвестны специалистам.

Выбор объектом изучения истории сотрудничества русских литераторов в тбилисских изданиях последней трети XIX века обусловлен рядом причин. Во-первых, тбилисская пресса, выделяясь высоким профессионализмом, никогда не замы-

калась местными интересами, не отставала от прогрессивной столичной периодики в постановке и разрешении злободневных проблем времени. Во-вторых, интенсивное сотрудничество русских литераторов в газетах Грузии объяснимо общественной — политической совместимостью прогрессивных слоев русского и грузинского обществ. Часто, не имея возможности высказывать мнение в России, русские деятели получали право голоса на страницах грузинских изданий, затрагивая в своих выступлениях не только «местные» вопросы, но и участвуя в главных спорах времени, ведущихся в центрах. Имеющийся в двухтомнике материал (статьи, тексты, примечания, комментарии) в соотношении с устоявшимися в литературоведении данными помогут уточнить, расширить и углубить принятые в настоящее время концепции, положения, факты.

Несомненным достоинством книг является наличие серьезного, тщательно подготовленного научно-справочного аппарата, приложенного к каждому тому. Он вносит много новых фактов, эпизодов, имен. Каждое имя — это биография деятелей разной ориентации — позволяет сопоставлять его с общественными веяниями времени, уточнять составы общественных группировок, их отношение к общественно-политической борьбе на Кавказе, в Грузии, в России.

Наличие подобного справочного аппарата способствует расширению знаний о состоянии общественной мысли, ведущих тенденциях литературного процесса и характерных проявлениях идейной борьбы последней трети минувшего столетия.

в России. Эрудиция автора, обстоятельное знание политической, журнально-литературной и общественной жизни в России и на Кавказе, умение «выудить источники» позволили расшифровать ряд псевдонимов, криптонимов, прояснить глухие намеки, ссылки и упоминания, часто завуалированные по вполне понятным причинам.

Не менее важным является и другое положение. В текстах имеются упоминания, намеки на события времени, на определенных лиц. И если эти намеки и упоминания были вполне понятны в свое время, сегодня они требуют расшифровки. И решение этой задачи, не менее трудной и необходимой, было сделано на высоком уровне. Наконец, в соответствии с поставленными задачами издания, тексты снабжены точной и полной информацией: указываются исходные данные — источник публикации, сообщается библиография источниковедческого и историко-литературного характера, взаимоотношения автора с цензурой и т. д.

Двухтомник дает представление о неизвестных страницах творчества литераторов, предоставляет возможность проследить общественные и литературно-журнальные связи указанных писателей с грузинской общественностью. В этой связи большой интерес для науки представляют факты, свидетельствующие о дружеских связях Н. Б. Симборского с Н. Николадзе. Последний оказал поддержку «талантливому юноше», который «при благоприятных обстоятельствах мог принести громадную пользу родной литературе». Характер и содержание стихотворений Н. Симборского, не воспроизводящих

ся со дня первой публикации в «Обзоре» и «Фаланге», свидетельствуют о незаурядных способностях этого литератора, а в связи со стихотворением «Статуя» устанавливается вмешательство цензуры, изъявшей четыре строки, в которых заключался политический пафос стихотворения. Этот факт свидетельствует о трудном положении литераторов под игом «недремлющего ока» и в Грузии.

Можно с уверенностью сказать, что именно после выхода в свет двухтомника творчество Н. Симборского стало доступным для исследователей. Если с начала века и по сей день известны были лишь шесть стихотворений этого интереснейшего поэта, то сейчас мы располагаем 27-ю стихотворениями и стихотворными фельетонами, довольно обширным публицистическим наследием, куда входят фельетоны, книжные и театральные рецензии. Интересно, что в сборник вошли наиболее характерные для творчества Симборского материалы. А это значит, что исследователи на основании представленных материалов смогут точно определить место поэта в русской литературе второй половины XIX века.

Знаменательным представляется факт участия в тифлисской периодике известного русского поэта Д. Д. Минаева. Обращение к историко-литературным фактам дало возможность составителю заключить, что известный русский поэт и переводчик привнес в грузинские журналы «сатирические традиции «Искры». До сих пор считалось, что к моменту сотрудничества Д. Минаева в «Фаланге» и «Гусях» поэт «выдохся» и в значительной степени отошел от традиций 60-х го-

дов. Однако публикация внесит существенные коррективы в это положение, доказывая, что тифлисская серия стихотворений Д. Д. Минаева — особенно стихотворения «Современный вопрос», «В невском тумане», «Клевета», запрещенные цензурой — своим содержанием, тематикой и идейно-художественными особенностями не уступают самым ярким произведениям зрелого периода этого автора. Благодаря указанным коррективам создается возможность более точного определения места Д. Минаева в литературном процессе последней трети XIX века.

Выявляя общие закономерности развития грузино-русских литературных взаимоотношений, Г. Джавахишвили отдает должное издателям русской демократической печати Грузии, которые постоянно расширяли круг русских писателей, сотрудничавших в Тифлисе. Одним из отрядных итогов разысканий является подключение к теме русско-грузинских литературных взаимоотношений выдающегося русского писателя Всеволода Гаршина. Если учесть, что в силу сложившихся обстоятельств Гаршин написал не так много, творческий путь писателя не может быть понят без учета всех его произведений. Включенный в двухтомник фельетон «Новогодние размышления», подписанный псевдонимом «Гавриил Г.» и запрещенный цензурой (принадлежащий, как это установил Г. Джавахишвили, перу В. Гаршина), получил высокую оценку специалистов. Отныне ни один исследователь творчества выдающегося русского писателя не сможет дать целостного представления о Гаршине без учета этого фельетона.

Кстати, фельетон уже вошел в научный обиход; в частности, его высоко оценивает В. В. Шутенко, который в статье «Всеволод Гаршин — публицист» пишет: «По актуальности проблем, затронутых здесь, непримиримости идейных позиций автора, обличительному пафосу фельетон не имеет себе равных. Так мог писать в 80-е годы разве лишь М. Салтыков-Щедрин. Это был период глубокой политической реакции, и тем очевиднее непримиримость Гаршина-публициста. Содержание фельетона начисто опровергает все утверждения о снижении критического, обличительного начала в его творчестве 80-х годов» (см. сборник «Журналистика», Пресса, телевидение, радио, вып. 4, Киев, 1978, стр. 77—78).

Особо надо сказать о двух литераторах: петрашевце А. Пальме и поэте-переводчике И. Тхоржевском. «Кавказский» период творчества первого из них ограничивался лишь отрывком из повести «Ниночка», теперь же его наследие пополнилось еще семью фельетонами, причем диапазон их звучания широк — в сферу критики автора попадают как «местные», кавказские проблемы, так и злоупотребления «вершителей судеб» всей России.

Что касается И. Тхоржевского, то его обширное творчество практически незнакомо современному читателю. А между тем, как справедливо отмечает составитель, имя его связано не только с яркими страницами истории русской журналистики на Кавказе, но и истории русского стихотворного перевода. До настоящего двухтомника читатель мог ознакомиться лишь с несколькими переводами супругов Ивана и

Александров Тхоржевских, подписывавшихся поэтическим псевдонимом «Иван-да-Марья». Сейчас же вводится в научный обиход большое количество не только совместных переводов из Барбье, Гейне, Байрона, де-Мюссе, Гюго, но и оригинальных стихотворений И. Тхоржевского и переводы А. Тхоржевской.

Центральное место во второй главе занимают статьи известного публициста и критика М. А. Антоновича. Комплекс вопросов, связанных с сотрудничеством М. А. Антоновича в тифлисской прессе, дает исследователю право поставить и подробно разработать проблему «М. А. Антонович в «Тифлисском вестнике». На основе исследования выявлено, что тифлисский период творчества известного русского литератора проходил под знаком борьбы против реакционных сил в литературе, против либерализма, за развитие традиций великих революционных демократов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что М. Антонович, как и многие другие русские литераторы, вошел в тифлисскую прессу не без помощи Нико Николадзе. Дружба М. Антоновича и других русских литераторов с Н. Николадзе — не только свидетельство большого обаяния грузинского деятеля, которое неудержимо влекло к нему людей, но и свидетельство стремления Н. Николадзе поставить талант русских прогрессивных литераторов на службу своему народу. Кстати говоря, Н. Николадзе придавал очень большое значение русской газете, видя в ней эффективное средство для сплочения прогрессивных сил Грузии и России. Деятельность Н. Николадзе в этом направле-

нии продолжала славные традиции, которые десятилетиями складывались в Грузии и России и способствовали содружеству лучших сынов братских народов.

Кафедра журналистики много лет проводит большую работу по выявлению, систематизации, изучению и публикации громадного литературного и другого наследия Нико Николадзе. Приводимые в рецензируемых книгах (текстах и комментариях) данные, по нашему мнению, в каких-то чертах дополняют и уточняют наше представление об объеме деятельности Нико Николадзе, о его вкладе в русско-грузинские литературные взаимоотношения.

Для второй книги, как и для всего двухтомника, характерны высокая исследовательская культура, вдумчивый и диалектический подход к решению сложнейших вопросов. Особого упоминания заслуживает историчность подхода к произведению писателей. Не чувствуется стремления «улучшить» писателя и его произведение, выпятить его значение. Точность характеристик, умение видеть положительное и отрицательное выгодно отличают рецензируемый двухтомник.

Двухтомник «Новые материалы к истории русской литературы и журналистики второй половины XIX века» (тт. 1 и 2) — новое звено в исследовательской и издательской работе кафедры — привлек внимание и получил высокую оценку специалистов. Ценность изданий подобного рода, одинаково полезных для историков литературы и журналистики, краеведов, историков, студентов, несомненна.

Н. ПОРАКИШВИЛИ

ТРИУМФ НА РОДИНЕ ШЕКСПИРА

В ЛОНДОНЕ завершились гастроли Грузинского академического драматического театра имени Ш. Руставели, который показал жителям английской столицы трагедию Уильяма Шекспира «Ричард III».

Выступления грузинских актеров на сцене «Раунд-хауза» прошли с большим успехом. Восторженные отзывы о постановке появились на страницах ведущих английских газет «Таймс», «Панч», «Гардиан», «Дейли телеграф», «Санди телеграф»... Вот что писал, в частности, лондонская «Таймс»: «Мы несколько не оговорились, назвав грузинскую труппу одним из лучших актерских ансамблей мира, но, безусловно, ведущим актером этого театра является Рамаз Чхиквадзе. Глостер в его исполнении — почти наполеоновский диктатор, который сначала выходит на сцену из темноты, опираясь на металлическую трость, а в конце зрители видят его завернутым в мокрую от крови карту Британии: все это производит неизгладимое впечатление...»

Мы должны приветствовать дебют в Лондоне и актеров из Грузии и их большого режиссера-постановщика Роберта Стурюа.

А вот мнение известного английского драматурга, режиссера Королевского шекспировского театра Питера Брука: «Ричард III» в постановке Государственного академи-

ческого театра имени Ш. Руставели — это что-то необыкновенное. Я не видел ничего подобного на британской сцене. Я специально прилетел из Парижа, чтобы еще раз насладиться блестящей работой грузинского театра. Это превосходно. Несмотря на то, что спектакль поставлен не в традиционной манере, к которой мы, честно говоря, не привыкли, а также незнание языка, великолепное актерское мастерство и просто удивительная режиссура настолько захватывают зрителя, что не остается ни малейших сомнений — это один из лучших театральных коллективов мира.

ВСТРЕЧА С И. АБАШИДЗЕ

ШИРОКО отметила общественность нашей страны юбилей выдающегося грузинского поэта-академика, Героя Социалистического Труда Ираклия Абашидзе.

70-летний юбилей поэта отметили в Москве, Тбилиси и других городах нашей республики.

В Батумском государственном театре имени И. Чавчавадзе состоялся вечер, посвященный этой юбилейной дате. Вечер вступительным словом открыл кандидат в члены бюро ЦК КП Грузии, первый секретарь Аджарского обкома партии В. Папунидзе.

С докладом о жизни и творчестве И. Абашидзе выступил ответственный секретарь Аджарского отделения Союза пи-

сателей Грузии, лауреат Государственной премии имени Ш. Руставели, поэт Фридон Халваши.

Юбиляра приветствовали директор Батумского научно-исследовательского института Академии наук Грузинской ССР, доктор исторических наук Д. Хахутаишвили, директор издательства «Сабчота Сакартвело» писатель Г. Панджикидзе, проректор Батумского педагогического института имени Ш. Руставели Н. Вердзадзе и другие.

И. Абашидзе был избран почетным гражданином города Батуми и почетным членом колхоза села Чаисубани Хелвачаурского района.

В ответном выступлении поэт-академик тепло поблагодарил собравшихся за высокую оценку его деятельности и добрые пожелания.

На юбилейном вечере присутствовали заведующие отделами ЦК КП Грузии В. Карумидзе и В. Хинтба.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ЭТОМ году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося грузинского писателя Нико Лордкипанидзе.

Создана юбилейная комиссия под председательством секретаря правления Союза писателей Грузии, лауреата премии имени Ш. Руставели Н. Думбадзе.

Состоялось заседание комиссии, на котором принято решение отметить юбилей писателя в декабре 1980 года.

В Доме писателя будет развернута постоянная выставка,

посвященная жизни и творчеству Н. Лордкипанидзе. Будет восстановлен дом писателя в его родном селе Чунеши зоны г. Цхалтубо.

Институт истории грузинской литературы имени Ш. Руставели готовит к выходу в свет полное собрание сочинений писателя, выйдет также юбилейный однотомник избранных произведений Н. Лордкипанидзе. Издательство «Художественная литература» выпустит на русском языке сборник рассказов писателя.

Главная редакционная коллегия по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при Союзе писателей Грузии готовит новые переводы произведений Н. Лордкипанидзе на русский язык.

НОВАЯ СЕКЦИЯ

СОЗДАНО Горийское отделение Союза писателей Грузии. Этому важному событию в культурной жизни города было посвящено собрание общественности, которое вступительным словом открыл первый секретарь Горийского горкома партии Б. Макашвили.

На собрании выступили председатель правления Союза писателей Грузии, Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе, секретари правления Союза писателей республики И. Нонешвили и Дж. Чарквиани, главный редактор журнала «Цискари» М. Поцхишвили.

Ответственным секретарем Горийского отделения СП Грузии избран поэт Дж. Инджия.

649/43



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული მხატვრობის“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან. № 2 თებერვალი, 1980 წ.

Сдано в набор 29 января 1980 г. Подписано к печати 3 марта 1980 года. 7 печ. листов, усл. листов 11,76. Формат 84×108¹/₃₂.

Заказ 295

Тираж 10.000

УЭ 01527

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Леонидзе Г. Избранное. Стихи. «Волшебное дерево». «Воспоминания детских лет». Пер. с груз. Вступит. статья Г. Абашидзе. Москва, 1979. 503 с. 25.000 экз. 1 р. 80 к.

Абашидзе И. Избранное. Стихи и поэмы. Пер. с груз. Вступит. статья Н. Тихонова. Худож. Ю. Космынин. Москва, 1979. 343 с. с ил. 10.000 экз. 2 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Кахидзе М. «Разжигая костер». Стихи. Пер. с груз. Москва, 1979, 126 с. 10.000 экз. 40 к.

Чиковани Г. «Земля». Роман. Авториз. пер. с груз. У. Рижинашвили. Москва, 1979. 312 с. 30.000 экз., 1 р. 70 к.

«М Е Р А Н И»

Клдиашвили Д. Избранное. Пер. с груз. Н. Чхеидзе. Послесл. Б. Жгенти. Тбилиси, 1979. 390 с. 20.000 экз. 2 р. 10 к.

«Г А Н А Т Л Е Б А»

«Три солнца». Из грузинской нар. поэзии. Переводы Н. Гребнева. Предисл. Э. Ананиашвили. Тбилиси, 1979. 99 с. 5.000 экз., 30 к.

60 к

ИНДЕКС 7611

06036750

20800000